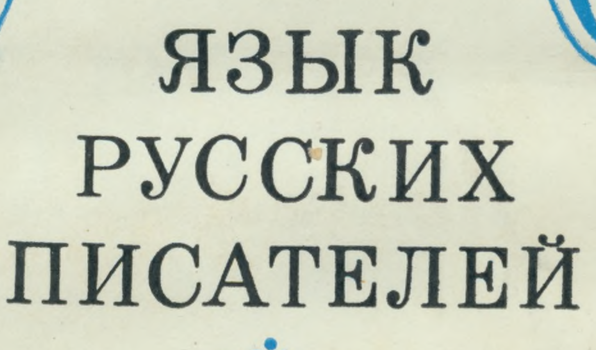


ЯЗЫК РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ



XVIII ВЕКА

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА

ЯЗЫК РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XVIII ВЕКА



ЛЕНИНГРАД
«НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1981

Ответственный редактор
доктор филологических наук Ю. С. СОРОКИН

Я $\frac{70102-566}{042\ (02)-81}$ 457. 81. 4602010000.

ОТ РЕДАКТОРА

Сборник объединяет статьи, написанные в основном сотрудниками группы исторической лексикологии русского языка (XVIII в.), существующей в Словарном секторе Института русского языка АН СССР. Основной задачей группы является подготовка исторического «Словаря русского языка XVIII в.» (см. Словарь русского языка XVIII века. Проект. Л., изд. «Наука», 1977, 164 с.). В ходе подготовки словаря и собирания картотеки цитат из различных документов и произведений литературы XVIII в. большое внимание было уделено лингвостилистическому изучению основных источников Словаря. Среди них важное место заняли источники, относящиеся к тому, что позднее получило наименование художественной литературы, и — шире — произведения, являющиеся сознательным результатом языкового творчества писателей того времени.

Язык писателей по самой своей природе и функциям может служить предметом многоаспектного исследвания. Это общий язык народа в специфическом применении его в зависимости от тех особых целей, которые ставит перед собой писатель в произведении определенного назначения и замысла с его особым понятийно-образным содержанием. Вместе с тем общий язык в употреблении писателя несет обычно на себе и следы сознательной обработки, стремящейся придать элементам общего языка бо́льшую силу и выразительность в акте письменного общения, по природе своей не однократного, преходящего и одностороннего, но рассчитанного на многих адресатов, стоящих не только в ряду одного поколения.

С изучением языка писателя тесно связаны вопросы языковой нормы; нормативно-стилистический аспект этого изучения является едва ли не главенствующим, во всяком случае таким он предстает при рассмотрении языка литературы XVIII в. В двуединстве язык писателя (литературных произведений) — литературный язык (кодифицированный, нормированный и стилистически дифференцированный) равно интересны обе формы отношения: и то, что писатель может получить и берет из общего употребления, и то, что он сам может дать последнему, — его

воздействие на общий литературный язык. В первом случае важнейшей оказывается проблема выбора и отбора наличных средств общеупотребительного языка, если в самом языке есть возможности такого выбора. Для литературы XVIII в., когда литературный язык во многих отношениях еще не получил вполне отчетливой и единой, «образцовой» нормы, эта проблема стояла неизмеримо более остро, чем для XIX в., начиная со времени Пушкина. Прежде чем стать законодателем литературного вкуса (сама категория вкуса еще только выходила в это время на передний план), писатель становился законодателем способа речевого выражения, языковой нормы. Авторитет писателя для многих читателей того времени определялся едва ли не прежде всего тем, чтó он сделал для общего языка и для отдельных его вариантов — его особых стилей, связанных тогда с определенными жанрами литературы, с определенными типовыми ситуациями социальной жизни, с определенным сословно замкнутым кругом носителей языка. Сами стилевые различия рассматривались прежде всего как обязательная норма, как набор принятых и авторитетом писателя узаконенных схем речевого употребления. Нечеткость нормы, недостаточная унифицированность языкового выражения сочетались с тяготением к речевым стандартам. Оригинальные стилистические варианты речевого употребления нередко осуждались как прямые языковые ошибки и нарушения нормы.

Вот причины того, что при изучении литературных произведений XVIII в. собственно стилистический аспект (выяснение своеобразия принципов выбора и отбора языковых средств, соединения и объединения, общей композиции их в составе литературного контекста) трудно отчленяется от более общей и формальной нормативно-стилистической оценки их, конечно теперь уже в плане истории сложения единой литературно-языковой нормы.

Не случайно такие ранние труды по истории русского литературного языка и его стилистики, как книга К. Аксакова «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка» (1846) и работа Я. К. Грота «Карамзин в истории русского литературного языка» (1867), были посвящены прежде всего тому, как определенный этап в развитии русской общественной жизни и литературы отразился на языке автора (в первом случае), каким образом языковой опыт одного писателя наложил решающий отпечаток на норму общего литературного употребления (во втором). Со времени появления этих первых монографических исследований, касающихся исторического развития языка XVIII в. и участия в формировании его норм отдельных писателей, число различных работ о языке авторов этого периода все нарастало, с особой интенсивностью — в последние два-три десятилетия. Однако общее направление этих работ оставалось преимущественно прежним, нормативно-стилистическим. Собственно стилистическому анализу речевых узусов отдельных ав-

торов и их произведений, а также анализу структурно однородных групп этих произведений было уделено сравнительно мало внимания. Это были чаще всего беглые экскурсы в область «индивидуального стиля» в связи с общими характеристиками творчества тех или иных писателей в историко-литературных обзорах и монографиях.

В этом же направлении стилистико-нормативного изучения продвигаются в основном и авторы данного сборника. Лишь в отдельных статьях имеют место выходы в более специфическую область изучения индивидуального стиля писателя или произведения, в «стилистику текста», отчасти соприкасающуюся с более широкими проблемами поэтики (см. статьи об особом эпическом стиле в «Тилемахиде» Тредиаковского, об эпитетах в поэтическом стиле М. Н. Муравьева, отчасти — в статье о языке и стиле «Бедной Лизы» Карамзина).

При выборе конкретных тем, посвященных месту и роли отдельных авторов или определенных литературных жанров в формировании норм литературного языка и его стилей, авторы учитывали прежде всего степень изученности языка авторов, сыгравших заметную роль в развитии нашей литературы и литературного языка. Несмотря на усиливающийся интерес к данной проблематике, некоторые из таких весьма активных и влиятельных авторов века оставались до сих пор без должного внимания со стороны лингвистов — историков русского языка. Недостаточно привлекали еще внимание и отдельные кризисные ситуации и переломные моменты в сложении литературной нормы национального русского языка XVIII в. Только в самом общем плане рассматривался, например, предломоносовский этап сложения новой нормы русского литературного языка, включающий Петровское время и примыкающие к нему полтора десятилетия, до появления трактата о российском стихотворстве и первой оды Ломоносова (1739). Между тем в этот период совершилось подготовленное усилиями ряда младших современников Петра I падение книжно-славянского типа как ведущей нормы литературного языка, практически начат пересмотр грамматического кодекса, установленного Мелетием Смотрицким, были сделаны смелые попытки создания литературных произведений различных жанров в границах живых норм собственно русского источника, а также решительного опрощения и русификации самого́ книжно-славянского языка. К числу наиболее влиятельных деятелей этого периода принадлежали А. Кантемир, Феофан Прокопович и молодой Тредиаковский. В одной из статей этого сборника и сделана попытка первой систематической обстоятельной оценки языкового опыта Феофана Прокоповича в таком общественно значимом тогда жанре, как жанр «Слова», церковной проповеди, широко вторгавшейся в круг самых острых и злободневных тем новой гражданской истории и социальной политики первой трети века.

Изучению такого оригинального по своему замыслу, по идейному содержанию и поэтическим формам труда, как «Тилемахида» Тредиаковского, первую выразительную оценку которого дали еще Радищев и Пушкин, также не было за последние годы, после статьи акад. А. С. Орлова, уделено серьезного внимания. Статья, публикуемая в сборнике, касается едва ли не центрального вопроса о своего рода героических попытках поэта заложить основы эпического стиля в русской литературе, «переложить» в русский гекзаметр отдельные элементы и формы гомеровской изобразительности, свободно опираясь при этом не только на славянскую архаику, но и на русское народное просторечие.

Литературные источники сложения столь характерного жаргона щеголей и щеголих, бывшего предметом непрерывного прицельного обстрела со стороны сатирической журналистики и комедии на протяжении почти целого полувека, продемонстрированы в третьей большой статье этого сборника.

Новые материалы и наблюдения содержатся и в статьях сборника, посвященных другим темам, — от сопоставительной характеристики синтаксического периода в «Словах» Ломоносова, у Сумарокова до языка и слога карамзинской повести.

В цитатах из текстов XVIII в. сохраняются все особенности орфографии; в графике приняты упрощения; буквы ѣ, і сохраняются в церковнославянских текстах Феофана Прокоповича, при воспроизведении специфического правописания «Тилемахиды» Тредиаковского, а также в грамматически значимых позициях. Славянская нумерация страниц передается арабскими цифрами.

Л. Л. Кутина

ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ. СЛОВА И РЕЧИ. ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВОГО ТИПА

ВВЕДЕНИЕ

Одним из ярких явлений политической и культурной жизни России в эпоху петровских преобразований была общественная и литературная деятельность Феофана Прокоповича. Богослов и философ, историк и политик, блестящий оратор — «публицист церковной кафедры», Феофан Прокопович был вернейшим помощником Петра и сторонником его реформ; он взял на себя труд идеологической подготовки и пропаганды петровских преобразований, он возглавил борьбу с внутренней оппозицией делам Петра — и прежде всего, борьбу со старомосковской партией и ее идейными вдохновителями и вождями — реакционным духовенством.

В идейной борьбе начала века важную роль играла церковная проповедь. Чрезвычайный расцвет церковного красноречия в Петровскую эпоху стоит в прямой связи с накаленной политической атмосферой этих лет. Слова и речи Ф. Прокоповича составляют бо́льшую и наиболее ценную часть его обширного литературного наследия. Историки русской литературы наших дней называют их «лучшим образцом передовой русской публицистики», политическими речами «в форме церковной проповеди».[1] Характернейшей особенностью Слов Прокоповича является живая связь их с современностью, чуткий отклик на умонастроения общества, поразительная злободневность, соединенная с высокой эрудицией писателя-ученого, логической стройностью и убедительностью аргументов, высоким мастерством слова.

Слава Феофана Прокоповича как оратора в XVIII в. была очень велика. В начале 60-х годов (через 30 лет после смерти Прокоповича) появляется первое собрание его «Слов и речей», подготовленное по инициативе С. Ф. Наковальнина.[2] Издатели расценивали этот свой труд как прямой долг перед потомками:

---

[1] *Прокопович Феофан.* Сочинения. Под ред. И. П. Еремина. М.—Л., 1961, 3.

[2] Феофана Прокоповича... Слова и Речи поучительныя, похвальныя и поздравительныя. Ч. I—IV. СПб., 1760—1774. Далее в тексте указываются том (римская цифра), порядковый номер Слова и страница. Разночтения первых изданий указываются (1-е изд.).

«Небезответны б ли мы были, предав забвению труды Феофана? Феофана перваго из наших писателей, который многоразличным учением столь себя прославил, что в ученой истории заслужил место между славнейшими полинсторами, Феофана красноречием столь великаго, что некоторые ученейшии люди почтили его именем Российскаго Златоустаго, и, что всех большее есть, Феофана поборника и провозвестника великих трудов и преславных дел обновителя и просветителя России Петра Великого» (Слова и речи I, Предисловие). Собрание Слов и речей представляет собой первый опыт научного издания ораторского наследия Ф. Прокоповича: тексты воспроизведены либо по первым печатным изданиям Петровского времени (с устранением типографских погрешностей), либо по наиболее исправным рукописным спискам; тексты св. писания приведены в соответствие с «новоисправленной Библией» (так называемая Елисаветинская библия 1751 г.); произведена некоторая правка языка и введено единообразное правописание, «употребляемое в новейших церковных книгах». Тексты расположены в хронологическом порядке. Не датированы собранные в конце III тома 13 проповедей, относящихся, как выяснили позднейшие исследователи, к ранним киевским, так называемым «аскетическим» проповедям Ф. Прокоповича, напечатанным первоначально на польском языке.[3] В конце I тома помещена библиография сочинений Ф. Прокоповича на русском языке — печатных и письменных, расположенная по трем рубрикам: богословские сочинения, политические (церковная и гражданская история, география, хронология и т. п.), стихотворческие; всего 75 названий (кроме Слов и речей).

Существенно отметить, что при жизни Феофана Прокоповича увидели свет многие его произведения, он был самым печатаемым из писателей-церковников. Особенно много опубликовано проповедей (21 текст из 56, приведенных в Собрании Наковальнина). Многие проповеди его печатались сразу же после их произнесения. По времени это активное печатание приходится на собственно Петровскую эпоху (1717—1725 гг.); в эти же годы увидели свет многие произведения Прокоповича: «политические» [4]

---

[3] См. *Морозов П. О.* Феофан Прокопович как писатель. СПб., 1880, 113—114. По мнению П. Морозова, эти проповеди и произнесены были на языке польском, русский текст их впервые появляется в «Словах и речах» изд. С. Наковальнина.

[4] Из 26 номеров по библиографии С. Наковальнина напечатано 14, в том числе: историко-правовой трактат «Правда воли монаршей» — два издания 1722 и 1726 гг., Духовный регламент (1722) с дополнением, Предисловие к Морскому уставу (1720), «Розыск исторический о понтифексах» (1721), «Рассмотрение повести о Кирилле и Мефодии» при «Историографии Мавроурбина» (1722). Предисловие на «Библиотеку Аполлодора грамматика Афинейского о богах» (1725), «О смерти Петра Великого краткая повесть» (1726).

(по терминологии С. Наковальнина), некоторые богословские[5] и даже одно — поэтическое.[6]

Во второй половине века усиливается интерес к богословским сочинениям Ф. Прокоповича. В IV томе издания С. Наковальнина помещено три богословских трактата. Были опубликованы также переводы отдельных частей (трактатов) латинского курса богословия («Cristianae orthodoxae theologiae..»), написанного в пору профессорства Ф. Прокоповича в Киево-Могилянской академии, а также рассуждение о происхождении библейской книги «Песнь Песней».[7]

В XIX в. благодаря трудам историков и литературоведов Н. С. Тихонравова, И. А. Чистовича, В. Н. Перетца, П. П. Пекарского и др. увидели свет литературно-художественные произведения Прокоповича: трагедокомедия «Владимир» — школьная драма киевского периода (1709) и его лирические стихотворения.

В XIX в. общественная деятельность и литературные труды Феофана Прокоповича стали предметом изучения историков и филологов. Здесь следует прежде всего назвать книги И. А. Чистовича, Ю. Ф. Самарина, П. О. Морозова,[8] в которых на основании широкого круга исторических документов были освещены жизненный и творческий путь Прокоповича, его деятельность в различных сферах общественной жизни (просветительская, политическая, церковно-административная), богословские воззрения (отношение к католицизму и протестантизму), правовые и политические взгляды (идеи естественного права, взгляд на абсолютную монархию и отношения церкви и государства), филологические теории (риторика и поэтика), педагогическая практика. Был дан общий очерк его проповеднической деятельности и проповеднической манеры, отличавшей его от ярких представителей «барочной» проповеди начала века (Стефан Яворский, Дмитрий Ростовский).

В наше время Ф. Прокопович привлекает внимание исследователей как деятель эпохи раннего Просвещения: начало просветительства как культурно-историческое явление в России XVIII в. по праву связывают с 30-ми годами этого столетия и с именами Ф. Прокоповича, В. Татищева, А. Кантемира.[9]

---

[5] 5 номеров из 23, в том числе «Первое учение отроком», выдержавшее в Петровскую пору 9 изданий.

[6] «Епиникион или песнь победная на преславную победу Полтавскую» (1709).

[7] О безбожии (М., 1774), О исхождении св. Духа (М., 1773), О состоянии неповрежденного человека (М., 1785), Рассуждение о нетлении мощей (М., 1786), Рассуждение о книзе Соломоновой нарицаемой Песни Песней (М., 1774).

[8] *Чистович И. А.* Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868; *Морозов П. О.* Феофан Прокопович как писатель; *Самарин Ю. Ф.* Стефан Яворский и Феофан Прокопович. — Соч., т. V. М., 1880.

[9] *Винтер Э.* Феофан Прокопович и начало русского Просвещения. — В кн.: Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. XVIII век. Вып. 7, М.—Л., 1966; *Петров Л. А.* Философские взгляды

Стали предметом внимательного изучения филологов теоретические курсы Ф. Прокоповича De arte poetica (1705) и De arte rhetorica (1706—1707), читанные им в Киеве. В 1961 г. был издан том избранных сочинений Ф. Прокоповича (под ред. И. П. Еремина), куда помимо Слов, трагедокомедии «Владимир» и лирических стихотворений вошел перевод латинской поэтики Прокоповича (разбор последнего труда был предпринят еще в XIX в. Н. И. Петровым, а в наши дни А. Н. Соколовым и Р. Лужным[10]).

Перевод некоторых частей теоретического курса риторики помещен в приложении к исследованию В. П. Вомперского,[11] где теория стилей Ф. Прокоповича рассматривается как звено в цепи предшествующих и подготовляющих Риторику Ломоносова учений о стилях.

В советском литературоведении поднят вопрос о месте Ф. Прокоповича в историко-литературном процессе XVIII в. и о соотношении его ораторской прозы с жанрами и стилистикой классицизма. Так, в статье Н. Д. Кочетковой «Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма»[12] Слова Прокоповича сопоставляются с классицистическими Словами (Ломоносов, Сумароков), одой и сатирой (А. Кантемир). По мысли автора, Прокопович — один из прямых предшественников классицизма: в его ораторской прозе, в недрах единого жанра «проповеди», зарождаются начала нескольких классицистических жанров. Но классицизм жанрово и стилистически разделяет то, что у Прокоповича объединено рамками единого целого. Это объединение высокого и низкого у Прокоповича определило оценку его слога писателями-классицистами (недостаток «правильности и чистоты слововыражения»).

Среди исследований творчества Прокоповича нет, как можно видеть, исследований собственно лингвистических. Между тем, писатель-публицист такого оригинального и смелого дарования, преодолевший (как отмечали исследователи XIX в.) «деспотизм формы» украинско-польского барокко, создатель нового стиля Слова-проповеди в России, не может не привлечь внимание

Прокоповича, Татищева и Кантемира. — Труды Иркутск. гос. ун-та, 1957. т. XX. сер. философ., вып. 1; *Tetzner I.* Theophan Procopovič und die russische Frühaufklärung. — Zeitschrift für Slawistik, 1958, Bd III, H. 2—4.

[10] *Петров Н. И.* Выдержки из рукописной риторики Феофана Прокоповича. — Труды Киевск. дух. академии, 1865. № 4; *Соколов А. Н.* О поэтике Феофана Прокоповича. — В кн.: Проблемы современной филологии. М., 1965; *Лужный Р.* «Поэтика» Феофана Прокоповича и теория поэзии в Киево-Могилянской академии. (Первая половина XVIII века). — В кн.: Роль и значение литературы XVIII в. в истории русской культуры. (XVIII век, вып. 7).

[11] *Вомперский В. П.* Стилистическое учение М. В. Ломоносова и теория трех стилей. М., 1970.

[12] См.: Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. XVIII век. Вып. 9. Л., 1974.

языковедов особенностями своего словесного мастерства. Ф. Прокопович был филологом-теоретиком; особый смысл поэтому получают наблюдения над реализацией его стилистических принципов, над реальным осуществлением стилистического распределения и комбинирования слов, форм, конструкций в его текстах в соответствии с выдвинутой им теорией стилей.

Исследователи литературы (Н. Д. Кочеткова) сравнивают стилистическую организацию Слов Прокоповича с принципами «сухой оды» Сумарокова; Ю. Ф. Самарин писал о том, что «художественный элемент в проповедях Феофана Прокоповича мало развит».[13] Особый смысл поэтому приобретают наблюдения над выразительными и изобразительными средствами его языка, над приглушенной языковой образностью, над семантическими и стилистическими эффектами совместной встречаемости слов и форм.

Особой большой проблемой для жанров такой сложной архитектоники как Слова-проповеди является изучение стилистического синтаксиса.

Но в основе всякого языкового и стилистического анализа, предполагающего выявление норм жанра и индивидуальных преломлений этих норм в стиле автора, лежит представление о системе и норме литературного языка. Именно с этим, как нам представляется, связан тот барьер, который затрудняет подступы к языковедческим исследованиям стиля Прокоповича.

Действительно, на каком языке писал Прокопович? Ю. Ф. Самарин называл язык проповедей Прокоповича «русским» (в отличие от «чистого» церковнославянского языка Ст. Яворского), но он же писал и о том, что у Прокоповича «формы языка — русские, смешанные с церковнославянскими».[14] Украинские филологи на текстах Прокоповича демонстрируют характерные черты украинского языка,[15] а Г. О. Винокур — черты русского просторечия.[16] В исследованиях последнего времени язык Ф. Прокоповича обычно определяется как книжно-славянский (церковнославянский язык позднейшего извода). Но для книжно-славянского языка XVI—нач. XVIII в. весьма существенна его локальная характеристика.[17] Прокопович — украинец

---

[13] *Самарин Ю. Ф.* Соч., т. V, с. 402.

[14] Там же, с. 442.

[15] См. *Спринчак Я. А.* К вопросу о взаимодействии русского и украинского национальных литературных языков в начальный период их формирования. — В кн.: Вопросы образования восточно-славянских национальных языков. М., 1962.

[16] История русской литературы. Т. III. М.—Л., 1941, с. 58.

[17] «В чистом виде церковнославянский язык к XVIII в. практически не существует. Его заменяют национализированные и опрощенные на народно-языковой почве разнообразные видоизменения». — *Белодед И. К., Ижакевич Г. П., Франко З. Т.* Взаимосвязи между украинским и другими славянскими языками в XVI—начале XVIII в. — В кн.: Вопросы образования восточно-славянских национальных языков. М., 1962, с. 88.

по происхождению, получивший первоначальное образование в Киевской академии и десять лет преподававший в ней; к киевскому периоду относится ряд его произведений, написанных на книжно-славянском языке: трагедокомедия «Владимир» (1705), Слова приветственные на встречу Петра I (1706) и Меншикова (1709), знаменитый «Панегирикос на Полтавскую победу» (1709) и «Епиникион» (1709), богословское сочинение «О неудобьносимом законном иге» (1712) и (недатированные) диалоги «Разговор гражданина с селянином и дьячком», «Разговор тектона с купцом». С 1716 г. начинается период его творчества, связанный с Россией, — петербургский период, в который было создано наибольшее число наиболее значительных его произведений. Отразилась ли смена географических координат и национальной среды на локальных приметах его книжно-славянского языка?

Книжно-славянский язык позднейшего извода не стабилен; на протяжении столетия (1619—1721) было три редакции славянской Грамматики М. Смотрицкого (последняя редакция принадлежит Ф. Поликарпову и сделана в Москве в 1721 г.). Стабилен ли в своих характеристиках язык Прокоповича?

Решение всех этих вопросов с необходимостью должно предшествовать исследованиям стилистическим. Решению этих вопросов и посвящена данная статья. Материалами для этого исследования являются тексты Слов и речей, произведений одного жанра, в котором Прокопович творил на протяжении всей своей жизни в Киеве и в Петербурге.

В этой работе, цель которой установление языкового типа, к которому может быть отнесен язык Прокоповича, рассматривается грамматика и (отчасти) синтаксис Слов, т. е. строевые характеристики языка. Рассмотрению лексики, которое тесно связано с проблемой стилистического распределения, целесообразно посвятить специальную работу, хотя показания лексики для суждения о типе языка также очень важны (мы включаем сюда лишь наблюдения над некоторыми разрядами служебных слов. Имея в виду характеристики языкового типа, мы касаемся далеко не всех языковых черт, а лишь тех, которые являются приметой типа (книжно-славянского, русского, украинского). Нас будет интересовать стабильность характеристик и момент эволюции, а в эволюции — ее направленность.

Как термины сравнения для книжно-славянских особенностей языка Прокоповича взяты показания двух кодификаций [18] славянского языка: Грамматика М. Смотрицкого [19] и грамматика

---

[18] О двух типах кодификации см.: *Толстой Н. И.* Взаимоотношение локальных типов древнеславянского языка позднего периода. — В кн.: Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V международный съезд славистов. М., 1963.

[19] В дальнейшем в тексте цитируется 3-е изд. (М., 1721).

текстов канонических книг (Острожская, Новая или Первопечатная, Елизаветинская библии), описанная С. К. Буличем.[20]

При исследовании использованы тексты первых печатных изданий Слов; Панегирикос — в киевском и московском изданиях 1709 г. (в дальнейшем Пнгр. Кв., Пнгр. Мс.); тексты, не воспроизведенные типографски при жизни автора, — по изданию Наковальнина.

Когда материалом исследования служит печатный текст, а не рукопись, естествен вопрос: в какой мере он соответствует оригиналу? Для украинца Прокоповича особенно важно установить, не является ли грамматика его текстов произведением русской типографской «справки». Косвенным доказательством авторитетности первых печатных изданий для изучения грамматики текстов послужило для нас сравнение двух изданий «Панегирикоса» — киевского и московского — и анализ московской правки. Эта правка не касается собственно грамматической структуры текста и характера форм. Исключение составляют лишь флексии прилагательных и система ударений (в московском издании она существенно иная). Типичное для книг западнорусской печати смешение графем *ы* и *и*, отражение на письме взаимной мены *ѣ* и *и*, постановка *ѣ* на месте старого *е* почти не затрагивают морфологически значимых частей слова. Исходя из этого, можно допустить значительную близость (если не идентичность) грамматических и синтаксических черт оригинала и печатных текстов Петровской поры.

I

1. Наблюдение над языком Слов и речей Прокоповича мы начнем с глагола. В грамматическом строе книжно-славянского языка, в том виде, как он был зафиксирован кодексом М. Смотрицкого, наибольшее своеобразие (в смысле несовпадения с системой живых славянских языков) представляет именно глагол. Грамматической нормой книжно-славянского языка является сохранение простых прошедших времен (аориста и имперфекта), которые в кодексе М. Смотрицкого, утратив свои исконные значения, поставлены в определенную связь с видовыми характеристиками глагола. Четыре прошедших времени М. Смотрицкого: преходящее (*чтох*), прешедшее (*читах*), мимошедшее (*читаах*) и непредельное (*прочтох*), сводятся фактически к двум простым временам, так как непредельное — это аорист от приставочных глаголов сов. вида, а мимошедшее — нестяженный имперфект (форма, практически в текстах не встречающаяся). 2 л. ед. ч. в парадигме прошедших времен представляет собой старую форму перфекта (причастие на *-л* без связки или — по кодификации 1721 г. — со связкой). Эта искусственная система совер-

[20] *Булич С. К.* Церковнославянские элементы в современном литературном и народном русском языке. Ч. I. СПб., 1893.

шенно точно воспроизведена Прокоповичем в его проповедях киевского периода. Так, в «Панегирикосе на Полтавскую победу» (I. 2) находим 254 случая употребления форм аориста и имперфекта. Строго в соответствии с нормой употреблены флексии всех лиц и чисел.

«Слово, еже в похвалу неописанной Твоей над войсками свѣйскими побѣдѣ .. проповѣдати *сподобихся*». 15. «Сиежде мое слово .. и на язык Латинский яко всѣй Европѣ общий *преведох*». 16. «*Стояху* возбрег Днѣпра многочисленныи полки Свѣйскии». 42. «На весь мир *блесну* слава Российских воев». 35. «Не *стерпѣша* вси вои свѣйскии, и забывше непобѣдимую свою титлу хребет на студныя язвы *обратиша*». 36. «На страшныя арматныя рыкания страшным рыком *отвѣщеваху* горы». 36. «Нѣсть похвала равная сему .. дѣлу, еже не токмо, егда первѣе *услышахом*, но и коль краты во ум приемлем, играет сердце». 48—49 и др.

Причастие на *-л* со связкой оформляет лишь 2 л. ед. ч. «Но совершая царственное, купно *совершил еси* и воинское дѣло». 37. «Сам на первыя мечи, и копия, и огни *устремился еси*». 37. «Что се есть? Крытися ли к нам *пришел еси* о супостате? .. Дерзско и гордо во отечество наше *вшел еси*». 34.

Совершенно аналогичный характер употребления прошедших времен находим в киевском «Слове приветствительном» (I.I), общая стилистическая тональность которого менее торжественна и высока: 28 аористов и имперфектов, 8 случаев употребления причастия на *-л* со связкой для формы 2 л. ед. ч. «Аще получаем нечто, егоже великим и долговременным *искахом* желанием, вельми радуемся». 3. «Спя же аз не к похвалению Твоему, .. но к явлению радости нашей *воспомянух*». 9. «Се очима зриши, Егоже умом токмо *разсматрѣвал еси*. Се лоном объемлеши, Егоже в сердцѣ *носил еси*». 1.

Однако в «Слове приветствительном» есть 5 случаев употребления бессвязочного перфекта. Но употребления такого рода были приняты в книжно-славянском языке того времени; они связаны со специфической синтаксической структурой текста: с наличием verbum finitum в соседних фразах, особенно в случае их взаимного сопоставления или противопоставления.[21]

«Пойдеши ли во Обитель, во Святую и чудотворную Лавру Печерскую? тую *созда* Великий князь Святослав. Пойдеши ли в монастырь Выдубицкий? той *воздвигнул* Всеволод. Пойдеши в Церковь Святаго Михаила Архангела? тую *воздвиже* Святополк, и неоцѣненным сокровищем тѣлом мученическим *обогати*». 5. «Видит ‹Киев в царе Петре› побѣды и ревность Владимирову. Той многии народы мечем *плѣнил*, и Россию евангелием *просвѣтил:* Ты многии грады Отческии от ига Оттоманскаго и от уз

[21] С. К. Булич, систематизируя типические случаи употребления перфекта без связки в библейских текстах, в качестве одного из типовых случаев отмечает тот, «когда рядом со сложными выражениями в соседних предложениях встречается verbum finitum» (с. 385—386).

еретических *свободил еси*. Видит любомудрие Ярославово. Той Писания божественная и инныя многия книги от языка Еллинскаго на Славенский *преведе*. Ты Академию в царственном твоем градѣ *воздвигл еси*». 5.

Первые «русские» проповеди, произнесенные в Петербурге в 1716 г., — «Слово похвальное в день рождения царевича Петра» (I.5) и «Слово в день Рождества Христова» (I.6) — весьма различны по своему характеру. В первой развивается мысль о преимуществе монархического правления (монархии наследственной, в особенности), и эта мысль проиллюстрирована примером «отрожденной» при Петре России; вторая посвящена толкованию текста из апостольского послания на сугубо богословскую тему о «немощи закона во плоти». Грамматическая же структура этих текстов в интересующем нас плане вполне подобна. В «Слове похвальном» 56 случаев употребления аористов и имперфектов, в «Слове на Рождество» — 98; перфектов со связкой в значении формы 2 л. ед. ч. в первом 2, во втором 3.

Бессвязочный перфект и в том, и в другом слове обусловлен определенными синтаксическими структурами. Одна из них, описанная выше (verbum finitum в соседних предложениях при сопоставлении, контрасте, подхвате мысли), для Прокоповича, с его манерой строгого логического развития мысли и установления всевозможных логических связок, очень характерна и встречается неоднократно.

Так, в «Слове похвальном» со сменой временных форм связан прием логического подхвата. «Едва не всѣм народом природна есть Монархиа, .. которой политики, не умствования философския, но самая вещь, самое искусство и нужда их *научила*. *Рѣх*, яко нужда *научи*. .» 1.5.104. Ср. вариацию времен при введении изъяснительной конструкции: «*Имѣяше* бо человѣк в самом создании своем влиянную себѣ премудрость яко и всѣм звѣрем имена *возможе* нарещи, сиесть *проницал* умом своим всѣх тварей естества, и послѣдователнѣ *вѣдал* создателя оных и своего бога». 1.6.127.

Другим типизированным случаем (также отмечаемым С. К. Буличем) было употребление бессвязочного перфекта в придаточных предложениях с относительным местоимением или наречием:

«Довлѣют сия свидѣтелства .. к познанию, каковы вси мы тѣлесным рождением *произошли* на свѣт, и каков *сотворился* грѣхом прародитель наш». 1.6.130.

Особенно часто прибегал Феофан Прокопович к своеобразной «игре форм», то ритмически чередуя их, то располагая однотипные формы по принципу рамочного обрамления, то собирая их в ударной позиции конца фразы. «Благополучна *была еси* <царица>, кто не исповѣсть, во введении твоем в Царский чертог, *усугубися* тебѣ оное благополучие в рождении сына Царева, тогда *была* тебѣ весна веселая, ныне лѣто плодоносное». I.5.118.

«Прият ‹Христос› истотнѣ вся наша немощы земныя, *взалкася* бо, и *возжадася,* и *утрудися* от пути, и *прослезися* над Лазарем и *требоваше,* гдѣ бы главу подклонити, и надходящу страданию своему *ужасался* и *тужил*». I.6.133 и т. п.

Но в дальнейшем, с каждой последующей проповедью, статус грамматических форм прошедшего времени неуклонно меняется. Формы бессвязочного перфекта приобретают все больший удельный вес, их введение перестает обусловливаться синтаксически (хотя следы такой обусловленности встречаются долго), число аористов и имперфектов все более сокращается. В 20—30-е годы нормой выражения прошедшего времени у Прокоповича становится бессвязочный перфект, хотя аористы и имперфекты продолжают существовать в качестве очень редких вкраплений даже в текстах аннинского периода (30-е годы). Ср.: «Умерший сей *умре*, или паче *успе* и *почи* о Господѣ». III.3.32. Се *увяде* цвѣт». III.1.3. «*Воскресе* от мертвых». III.3.32 и т. п.

Быстроту происшедших изменений могут иллюстрировать следующие цифры: «Слово похвальное о баталии Полтавской» (1717) — 38 аористов и имперфектов на 131 случай бессвязочного перфекта; «Слово похвальное в день св. Екатерины» (1717) соответственно —37 на 23; «Слово о власти и чести царской» (1718) — в тексте 19 аористов и имперфектов; «Слово в день Александра Невского» (1720) — 13 аористов и имперфектов; «Слово о великом деле божии» (1720) — 3 аориста; «Слово о флоте» (1720) — 1 аорист, «Слово на погребение Петра» (1725) — 2 аориста и т. д.

В процессе угасания простых времен намечалась было некоторая специализация употреблений в связи с темой. Так, в «Слове... в день св. Екатерины» основная часть простых времен приходится на религиозный сюжет — житие св. Екатерины, а речь о тезоименитой ей царице Екатерине — персонаже светском ведется в бытовых формах языка. Но «Слово о великом деле божии», где речь идет о том, как победила мир апостольская проповедь, выдержано в формах обыденной речи (3 аориста). В «Слове на погребение Петра I» — немногие аористы (2 случая) приходятся на тему о создании флота.

Подобная перестройка форм времени не может быть понята как стихийное явление изживания архаических форм; это сознательный отказ от архаики в целях большей действенности слова в широкой аудитории. Но фоном для него был процесс стихийного включения бессвязочного перфекта в книжно-славянские тексты и в Москве, и на юго-западе, ставивший эту форму в положение некодифицированного варианта книжно-славянской нормы. Нет сомнения, что перестройка форм времени находится в связи с мыслью Ф. Прокоповича об упрощении языка, которым толкуется религиозное учение, о создании простого славянского языка — «просторечия». Эту задачу он отчетливо поставил перед собой, когда писал «Первое учение отроком» (1720) — толкова-

ние заповедей блаженств.[22] Но и язык его Слов-проповедей демонстрирует такую же эволюцию в сторону упрощения и устранения книжных форм. Отчетливее всего это сказалось именно в эволюции глагольных форм, сильнее всего противопоставленных структуре глагола в языке бытового общения.

Характерной особенностью книжно-славянского языка начала века было употребление формы давнопрошедшего времени. По широте употребления эту форму можно (как и бессвязочный перфект) считать некодифицированным вариантом книжно-славянской нормы. В языке проповедей Прокоповича эта черта свойственна только текстам киевского и раннего петербургского периода (первое пятилетие — 1716—1720 гг.). Причем использует давнопрошедшее Феофан обычно в его классической славянской форме (имперфект от *быти* и причастие на *-л)*, но встречается и форма народно-разговорная (два причастия на *-л)*, свойственная в это время преимущественно украинскому языку. Ср.: «В кратком времени толь добрѣ устроися царство, елико чрез многии вѣки не *чаяли бѣхом»*. I.1.8. «Не великий побѣдитель Домитиан, о нем же повѣствуют, яко мухи убивати *обыкл бяше*: великий же Самсон, иже льва растерза». I.2.23. «Напоиша землю нашу врази кровию своею, иже *пришли бяху* пити кровь ея». I.2.40. «Гнѣв Божий бяше на нас .., и тогда вѣчно погибнути должни бѣхом: туда нас немоществовавый во плоти закон *намѣрил* и *понудил бяше»*. I.6.141. «И что дивнѣе: сам *узаконил бяше* <бог> Исраилю жертвы и приношения и различная празднования; обаче тая вся, без истинной вѣры и любве сердечной бываемая, аки нѣкия скверны и мерзости отмещет». I.12.217. — Ср.: «Како бо немощная была Россия от смерти великаго Владимира, егда аще и не *изсякл был* род самодержца онаго, обаче самодержавный скипетр на части разломан». I.5.108. «Аще и лживое было таковое многих мнѣние <о России>, обаче мнѣние было таковое, и *изобличила была* то неоднократно Россия своим оружием». I.5.115.

Шире всего представлена форма давнопрошедшего времени в «Панегирикосе» (7 случаев). Здесь же встречается форма старого плюсквамперфекта со значением нереализованного (или отвергнутого) действия, в более поздних проповедях передаваемая народной конструкцией причастие на *-л+было*. Ср.: «Посредѣ многотысящных всюду летающих и свирѣпѣющих смертей, ни смерть, ни язва не приближися к тебѣ. Больше нѣчто реку: *приближилася бяше* [еже не без страха и трепета воспоминаем] приближилася бяше смерть явная к Богом вѣнчанной главѣ, егда желѣзный желудь пройде сквозѣ шлемъ Твой» I.2.38. —

[22] П. Н. Житецкий справедливо замечал, что в подобном «просторечии» изобилуют славянские языковые слова и формы. И это понятно, так как имелась в виду максимально приближенная к народному языку форма славянского языка. (К истории литературной русской речи в XVIII веке. — Изв. ОРЯС, 1903, № 2).

Ср.: «А нам не точию внѣшняго пособия не ставало, но и внутренняя мощь *началась было* умалятися». I.7.154. «В яковое безстрашие, безстудие и безчеловѣчие *вошли было* вѣки оныя, не возможно бы нам помыслити». II.2.27.

Трансформация грамматической системы, связанная с упрощением книжно-славянского языка, по-разному и в разной степени затрагивала различные формы. Так, архаическое спряжение в нормах позднего книжно-славянского языка атематических глаголов представлено в проповедях в неизменном виде на протяжении всего творчества Прокоповича. «Не не *вѣм*, что подаянию двоих лептей ‹слово› есть подобное». II.5.73. «О твоем паче собственном Россие *проповѣм* благополучии». I.13.229. «В которой бо оной заповѣди *даси* мѣсто сему долженству нашему». I.14.237. «И сама *вѣси* Монархие Российская». I.13.230. «Кий язык *исповѣсть* сердоболие ваше?» III.1.3. «Законно царствующий Монарх всяк *имать* державу от Господа». I.7.155. «Мнится ему ‹спящему›, что *ясть*, а он алчет». III.15.219. «*Вѣмы* бо па кое дѣло послал бог Апостолов». II.2.22. «Слава Богу, Христиане *есмы* и православнии». II.4.66. «Есть убо чем тебѣ срадоватися *имамы*». I.5.117. «Да вам, когда хлѣб *ясте* подобало бы удивлятися и глаголати: откуду ми сие?» I.14.262. «От егоже руки *приясте* язву сию, от тогоже приимите и врачевание». III.1.3.

Характерно, что некоторые (вариантные) атематические формы были предметом языковой правки в издании С. Наковальнина: «Мы же Россійстии народи, что достойное *воздадим* (в 1-м изд. *воздамы*) тако нам благодѣявшему Господу?» I.7.160.

Стойко сохраняется на протяжении всего творчества Прокоповича специфическая книжно-славянская форма повелительного наклонения 1 л. мн. ч. *-имъ* (от глаголов, образующих основу наст. вр. на i, jo, je). Ср.: «Сие убо рождение радостно и торжественно *празднуим*». I.5.119. «Точию внимателнѣ *послушаим*». I.6.124. «*Вострепещим* купно и убоимся». II.5.93. «Не весьма же Россиане! *изнемогаим* от печали и жалости». II.9.131. «*Скорбим и сѣтуим*, но не яко окамененнии: *плачимся* и *рыдаим*, но не яко отчаяннии». II.10.136. «*Внемлим прилежно*». III.2.15

К числу кодифицированных специфические формы повелительного двойственного и множественного числа не относятся; у М. Смотрицкого на их месте формы изъявительного наклонения. Но в канонических текстах эти формы встречаются неоднократно.[23]

Сослагательное наклонение в книжно-славянском позднего периода даже в канонических текстах представляет довольно пестрый конгломерат старых форм и новообразований,[24] которые почти не регулируются искусственно построенной системой,

[23] *Булич С. К.* Церковнославянские элементы. . ., с. 328.
[24] Там же. с. 391—393.

представленной в грамматике Смотрицкого. Старые (старославянские) формы сохраняются преимущественно для 1 л. ед. ч. и 2 л. мн. ч., для остальных лиц и чисел устанавливается единообразная конструкция с *бы* и причастием на *-л*. У Прокоповича при чрезвычайно широком использовании в проповедях форм сослагательного и «желательного» наклонений старые формы единичны и приходятся на киевские и ранние петербургские проповеди. К концу 20-х годов условное и сослагательное наклонения оформляются только по живому бытовому типу. Ср.: «Не достало бы мнѣ времени, аще исчисляти *хотѣл быx* по единому вся иныя славныя Монархии». I.3.62. «Лобызаю нынѣ скипетр твой яко вѣрный подданный, паче же *хотѣл быxъ* прославити его службою моею». I.8.169. «Аще *бы имѣл быx* тысящу устен и гортаней, ни единой бы воистинну не было возможно праздновати». I.1.22. «Жалуюся на натуру мою, яко непоспѣшившую устроити мнѣ органы тѣлесныя, имиже *быx возгласил* тебѣ душевное усердие». I.8.168. «Довольно бы было к совершенной славѣ твоей, аще *бы* толикого супостата с поля токмо *согнал еси»*. I.2.35. «Аще *бы* мы толикое множество людей *отторгнули* от вас .., *ужаснулися быстe* во истинну на пустыню вашу .., *искали быстe* кими владѣти». I.14.256. «. . . *Могли бы* ли мы терпеливнѣ смотрѣти на сие». I.12.220. «*Увидѣл бы еси* под красным цвѣтом змия». I.12.222.

2. Чрезвычайно богатым и активным лексико-грамматическим разрядом в языке Прокоповича являются причастия. Перенасыщенность текста причастиями — одна из характернейших примет книжно-славянского языка. В немалой мере это массированное употребление причастных форм связано с манерой повествования-рассуждения, передачей последовательного движения мысли с ее ответвлениями, побочными ходами, разносторонней аргументацией, манерой, в высшей степени свойственной Ф. Прокоповичу.

Состояние этой морфологической категории в языке Прокоповича представляет известное своеобразие в сравнении с кодификацией М. Смотрицкого и текстами канонических книг.

Наиболее широко (и это соответствует общей тенденции, наблюдаемой в книжно-славянском языке) представлены полные причастия в их атрибутивной и атрибутивно-предикативной функции, в составе оборотов Dativus absolutus, в формах субстантивированных. Форма И. п. ед. ч. действительных и страдательных причастий м. р. наст. и прош. времени выступает в двух вариантах; оба они кодифицированы Грамматикой М. Смотрицкого *(чтый/чтущий, читаяй/читающий)*. Оба они свойственны и языку Прокоповича, однако старший вариант, очень широко представленный в его более ранних проповедях, в 20—30-е годы встречается значительно реже. Ср.: «Лжет бо сыном Российским себя нарицая, враг *сый* и ляхолюбец.» I.2.31. «Часть славы себѣ оставил бы, яко до смерти мужественнѣ *подвизавыйся»*. I.2.43.

«Презрѣвый создателя своего человѣк». I.6.128. «Из млада *изучивыйся* священных писаний». I.11.208. «Благословен Бог *изволивый* тако». II.3.59. «Не *видяй* сего, слѣп есть, *видяй* же и не *исповѣдяй,* в жестокосердии своем окаянен есть». II.9.128. «Не *покаряяйся* властем богу противится». I.14.250. «Всяк *хотяй* ити путем спасения». II.1.6. «Агнец .. *веземляй* грѣхи». I.6.133 и т. п.

Но наиболее существенные изменения претерпела в языке Прокоповича система кратких действительных причастий. Канонические тексты (см. С. Булич) сохраняют систему кратких действительных причастий во всех ее структурно-функциональных особенностях, хотя и показывают значительные колебания в падежно-родовых показателях. Парадигмы кратких действительных причастий у М. Смотрицкого (по его терминологии «деепричастий») отличаются материальным составом форм, включая значительное количество форм гипотетических, реально не встречающихся в текстах.

Язык Прокоповича обнаруживает безусловное наличие старой системы кратких действительных причастий со специфическими падежно-родовыми формантами. Об этом свидетельствует употребление кратких причастий в функции согласованных определений (в косвенных падежах) и в оборотах с «дательным самостоятельным». Ср.: «Крыющася обрѣл еси, *хранящася* от бою до бою понудил еси». I.2.34. «От самаго человѣка .. божиих заповѣдей исполнити не *возмогша»*. I.6.131. «Сына своего не *сотворша* грѣха». I.6.133. «Человѣк не весело зрит другаго себѣ сравняема или и *преуспѣвающа»*. I.7.146. «Да сподобит нас ‹бог› видѣти тебе тако *царствующа* и *побѣждающа* в долгая лѣта». I.9.173. «Котории изблиска знали его во всем *дѣйствующа* и *пекущася»*. II.10.159. — *«Преуспѣвшу* же коварству и невѣрности низринушася ‹древние монархии› конечнѣ». I.3.62. «Сам господь наш законнику о наслѣдовании жизни вѣчныя *вопросившу* отвѣща». I.6.128. *«Проникшу* же цвѣту, удалися солнце». I.8.168. «Тебѣ *возвратившуся* возвращаются сердца наша к нам». I.9.172. *«Умершу* ему, аки бы и живу *сущу,* мир и тишина, и дѣл его крѣпкое состояние пребывало». II.10.159.

Однако употребление Им. п. кратких действительных причастий в предикативно-атрибутивной функции в языке Прокоповича представляет уже сложную картину совмещения старых и новых отношений. С одной стороны, на протяжении всего периода творчества в языке Прокоповича в соответствии с книжнославянской нормой встречаем употребления согласованных с синтаксическим субъектом кратких аппозитивных причастий. Своеобразие представляет лишь употребление форм ж. р. в значении ср. р. (Грамматика М. Смотрицкого усваивает для причастий ср. р. окончание *-ще;* в канонических текстах ср. р. равен м. р.). В этой старой системе формы м. р. противопоставлены формам ж. р., а формы мн. ч. — формам ед. ч.

Ср.: «Егда .. лев не *возмог* насилию крѣпких ловцов противостати, на бѣгство устремляется». I.2.44. «Проповѣдал Христос иногда *возшед* на гору, иногда *став* на мѣстѣ равнѣ». I.11.199. «На баталии под Лесным, гдѣ *изнемог* и *оледенѣв*, принужден был ‹Петр› почити на неизвѣстном мѣстѣ, не *вѣдая* стана своего». II.10.164—165.

«Возрадовася и купно вострепета Россия *узрѣвши* сие». I.2.37. «Вѣрность бо *предпочитающи* пользу любимаго паче жития своего, отлагает боязнь». I.3.62. «Оборона, которой бы не имѣла еси ‹Россия›, *не имущи* флота». II.3.56.

«Воинство, *поразивши* самаго короля свѣйскаго». I.2.42. «Сердце, не уязвляемо *сущи* ни коим же бѣдствием». I.2.30. «Солнце наше, *разбивши* многия .. облаки .. восходило». II.5.87.

«То да *воспоминающе*, аки вторицею *терпяще* мимошедшия бѣды .. возрадуемся». I.2.23. «Вси вся *оставлше* на пришествие царя спѣшат». I.1.3. «Санове великии, *смотряще* на преизящества своя и престольныя высоты *вожделѣвающе* (в 1-м изд. *вожделѣюще)*, како могут быти вѣрнии своему Монарху?» I.5.106. «Хотя бы мы *сразившеся* с неприятелем равным щастием .. разошлися». II.10.142. *«Видяще* не видим, и *слышаще* не разумѣем, и аки бы нарочно очи наши завязуем». III.12.171.

«Жилы, *связующе* составы тѣла, укрѣпляют тѣло». I.2.28. «Мы же ‹дочери Петра› всеусердно толикаго гостя *привѣтствующе*, сие к богу .. возсылаем моление». I.9.173.

О старой системе отношений, характерных для кратких аппозитивных причастий, свидетельствуют как будто и встречающиеся у Прокоповича случаи соединения причастия с глаголом-сказуемым с помощью соединительного союза.[25] Правда, подобные случаи редки и представлены лишь ранними (киевскими и петербургскими) текстами. Ср.: «Мнози бо ‹шведы› уже достигоша Москвы, но мнози под Полтавою возлюбиша мѣсто. Непобѣдимый же заступник твой ‹Мазепин› *не улучив* в Москву, *и* от пути дому своего *заблуди»*. I.2.44. «Множество трупием своим услали поле Полтавское, множество в плѣн захвачены .., множество в невозвратный бѣг себе *вдавше*, и тии под Переволочною себе и оружие свое *предали* побѣдителем». I.7.160.

Однако наряду с этой системой к концу первого десятилетия в текстах Прокоповича уже с большой определенностью проявляется тенденция к употреблению формы им. п. ед. ч. краткого действительного причастия наст. вр. м. р. при синтаксических субъектах всех трех родов, а в 20-е годы — и обоих чисел. «Яко же бо р ѣ к а далей и далей *проводя* течение свое, болше и болше растет, *получая* себѣ прибаву из припадающих потоков».

[25] О распространенности этой пережиточной черты в русском языке на фоне сложившейся современной системы деепричастий см. *Коротаева Э. И.* Особые случаи употребления деепричастий в литературном языке XVII—XIX столетия. — Учен. зап. Ленингр. ун-та, 1959, № 277, сер. филол. наук, вып. 55.

I.11.205. «Больше и больше *разгараяся* сердце пролилось аки пламень ко устроению флота». II.3.50. «Таковая слава, .. противников *сокрушая* страхом, лучшее подает безпечалие». II.10.146. «Аще бо и прежде *сопутствуя* Петру в великих и трудных походах .. едиными его самого бѣдствии ты сокрушалася». II.10.137. «Освятися бо, а не осквернися ‹Дева Мария› *рождши* Свято от Духа Святаго; но и тѣмъ *свидѣтельствуя* яко Сын ея прииде в подобии плоти грѣха». III.7.53.

Во мн. ч. функцию единой обобщающей для всех родов формы выполняло краткое причастие на *-ще* (см. материалы, приведенные выше). Но наряду с ним такую же генерализующую функцию получила и форма м. р. ед. ч. Ср.: «Есть ли бы к нам добрии гости не *предвозвѣстя* о себѣ морем ѣхали». II.3.54. «Но тако по единому дѣла Петрова *исчисляя* никогда конца не дойдем». II.10.149. «А мы бо *сѣтуя* и *рыдая,* здѣлаем и обиду добродѣтели». II.10.168. «Языческии нѣцыи писатели *не вѣдая* писания священнаго титлу сию пришивали монархом своим». II.11.179. «Таковыи малконтенты, котории косыми очима на скипетр в женской десницѣ *смотря,* .. порицати дерзнут». II.11.189. «Бѣдныя лошади, *терпя* свою скудость, стали говорити». III.15.230.

Одновременно форма ж. р. на *-(в)ши* начинает употребляться при синтаксическом субъекте м. р.: «Человѣк завистный, *вкусивши,* а не *пожерши* ближняго, умножает в себѣ рвѣние». I.7.148. «Человѣк, .. *завязавши* очи себѣ, безпечально приближается к стремнинѣ адской». II.10.155. «*Вшедши* Христос в нерукотворенная святая, то есть, самое небо, нарицается .. предтеча наш». III.15.225.

Все это свидетельствует о безусловной перестройке отношений в сфере кратких действительных причастий — перестройке, которая шла в направлении, характерном для собственно русского языка (в украинском языке отношения в кругу причастных форм и кратких, и полных очень отличаются от русских).[26] Однако подобие с современным Прокоповичу русским языком здесь не полное и потому, что параллельно фиксируются старые отношения, свойственные книжно-славянским аппозитивным причастиям, и потому, что в языке Прокоповича нет следов генерализации показателя *-в* (деепричастие прош. вр.). Последнее может быть следствием какого-то отражения грамматических особенностей живого украинского языка.[27]

Очень широк в языке Прокоповича разряд страдательных причастий — настоящего и прошедшего времени, полной и краткой формы. В кругу этих причастий следует отметить два яв-

---

[26] Украинский язык усвоил в качестве обобщающего суффикса деепричастия наст. вр. старую форму Им. ед. ж. рода: *идучи, співаючи*; формы на *-я* там не известны.

[27] В украинском и белорусском языках деепричастия на *-в* отсутствуют; используются суффиксы *-ши* и *-вши*.

ления. Первое — употребление безличных страдательных причастий прош. вр. в роли сказуемого (обычно в конструкции с В. п., реже с Д. п. или без доп.). Ср.: «Испразднися оная древняя пословица сарматская: не разом Краков *будовано*». I.5.13. «Что есть ли бы не иную кую *давано* пользу, точию самое толь многих вещей изыскание, и сия была бы не малая корысть». I.11.206. «И чрез оную <реку> перевозит души нѣкий божишко Харон, чего для во гробы умерших *кладено* и денги на перевоз тот». III.9.88. «Не на нас ли то было *устроено?* Не нашей ли головы *искано?»* III.16.239. «А лошадей в стойлах *поставлено,* да за огурство конюшего, ни оброку, ни воды не было, мало только *кинуто* сѣна». III.16.230. — «А однако в скором времени всюду *увѣрено* слову Апостольскому». II.2.39. «И .. война не могла сдѣлати препятия <строительству флота>, и *воевано,* и *строено».* II.3.50.

Эта синтаксическая черта не книжно-славянская, а народная. Украинские исследователи называют ее в числе украинизмов Прокоповича.[28] И хотя подобная черта свойственна многим русским говорам,[29] хотя отмечается она в проповедях только петербургского периода, все-таки применительно к Прокоповичу следует признать правоту украинских лингвистов. В украинском языке употребление пассивно-безличных причастий в подобных конструкциях очень активно и в народной, и в книжной речи. У Прокоповича мы встречаем такое употребление и в проповедях, и в богословских сочинениях, и в бытовой переписке.[30] Свойственно оно в это время и другим писателям украинского происхождения.[31]

Второе явление — употребление страдательных причастий прош. вр. в двух суффиксальных вариантах: с суф. *-енъ, -нъ* (старославянские) и *-енн-, -нн-* (новообразования церковнославянского языка). В канонических текстах[32] *новый* вариант представлен достаточно широко. У Прокоповича этот вариант, в том числе и в кратких формах причастия, предпочтителен. «Видим уже онаго страшнаго супостата *побѣжденна* преславно». I.2.47. «Вси языцы, крайним *ударенни* страхом, утихнут».

---

[28] См. *Спринчак Я. А.* К вопросу о взаимодействии русского и украинского национальных литературных языков в начальный период их формирования.

[29] См. *Кузьмина И. В., Немченко Е. В.* Исследование причастных форм в русских говорах. — В кн.: Исследования по русской диалектологии. М., 1973.

[30] Ср.: «Егда младенца мужеска полу в осмый день от рождества его, на конечной плоти, *обрѣзовано»* (О иге неудобьносимом. IV.2.118); «На всяк день пищу, и то скудную и подлую из рынку *покупано»* (Письмо арх. киев. Рафаилу 8/III 1736. ТКДА 1864 окт. 276); «Хоть бы всю Украину им *отдано*, не будет ничего и таковые паны голодом вымрут» (Там же, 279).

[31] «Когда их <древних христиан> ко отвѣту о христианстѣй вѣрѣ *призывано...»* (Увещание синода. Ф. Лопатинский. ПСЗ УП 405).

[32] *Булич С. К.* Церковнославянские элементы..., с. 380—383.

I.2.50. «Видим онаго царя славы .. единым вѣнцем славы *украшенна*». II.11.174. «Не имѣвшии флота ‹городы› погибли, *разоренни* .. от пиратов». II.3.54.

Издатели Слов и речей в 60-е годы пытались заменять подобные формы на полные причастия, но правка эта была проведена от случая к случаю. «К тому нуждею привлекла неприятельская зависть, давно уже *рожденная* (в 1-м изд.: *рожденна)* против тебе, и до наших времен не только не *умаленная* (в 1-м изд.: *умаленна),* но паче и паче умножившаяся». I.7.146. и под.

II

1. Морфологическая система имени (существительные и прилагательные) дает менее выразительный материал для суждения об эволюции книжно-славянского языка Ф. Прокоповича. Уже в Грамматике Мелетия Смотрицкого (1619) парадигмы имен существительных содержат значительное число вариантов форм. Из них многие — народно-разговорные формы, допущенные кодексом в систему книжно-славянского языка. В XVIII в. новая редакция Грамматики М. Смотрицкого, осуществленная Ф. Поликарповым, еще больше расширила допуск вариантных форм. При этом Ф. Поликарпов вновь ввел в кодекс и ряд церковнославянских форм, отвергнутых в московской редакции 1648 г., и значительно увеличил число вариантов за счет кодификации многих форм бытовой речи.

При широкой вариантности в кодексе тексты дают еще больший размах колебаний. Система склонения, представленная в Грамматике М. Смотрицкого, характеризуется специфической группировкой типов словоизменения. Так, во II склонении здесь объединены имена м. и ср. р. старых основ на **о* и имена м. р. на *ŭ (*дом, сын*), а также некоторые группы имен м. и ср. р. с основой на согласный (*отроча, имя, слово*). III склонение объединяет имена ж. р. старых основ на *ĭ и имена ж. р. на согласный и *ū (*мати, церковь*). В IV склонении — имена м. и ср. р. с основой на *jo (*муж, царь, жрец, знамение*) и имена м. р. на *ĭ (*путь, господь*). При подобном объединении создавалась своя система варьирования и аналогического выравнивания форм, отличающаяся от складывающейся в народной речи. Но с колебаниями в пределах книжно-славянской нормы обобщались в какой-то мере колебания в пределах народно-разговорного узуса, что еще более усугубляло морфологическую пестроту текстов и размывало норму.

К числу тенденций, складывающихся под влиянием народно-разговорной речи, но отчетливо обнаруживающих себя и в книжно-славянских текстах, относится прежде всего распространение флексии *-ов* в Р. мн. ч. в парадигме имен м. р. на **о*. В Грамматике 1648 г. эта флексия признается нормативной лишь для имен м. р. на старое *ŭ (*сын, дом, грѣх*) и в изолированных парадигмах IV склонения на *jo (*жрец*).

У Прокоповича уже в первых киевских и тем более петербургских Словах флексия *-ов* в Р. мн. имен. м. р. — безусловно ведущий вариант по сравнению со старым нулевым окончанием. Сравните численное распределение этих форм.

	-ов	нулевое
Панегирикос 1709 (I.2)	33	2
Слово на почитание икон 1716 (I.4)	19	5
Слово на рождество царевича Петра 1716 (I.5)	19	3
Слово о деле божии 1720 (II.2)	23	4

Распространение флексии *-ов* характерно для всех восточнославянских языков. Если согласиться, что первоначально эта черта в языке Прокоповича была результатом влияния украинской народно-разговорной основы (точнее — «западнорусской» книжной), то утверждение ее находится под несомненным влиянием русского языка. А свидетельством распространенности этой формы в русском книжно-славянском языке была кодификация ее в Грамматике 1721 г. для всего круга имен на **о*.

Другой подобной тенденцией было распространение флексий *-ам, -ами, -ах* (Д., Тв., М. мн.) из класса имен ж. р. на **а* в класс имен м. и ср. р. на **о*, *jo. Это тоже черта, свойственная всем восточнославянским языкам. По ранним текстам Прокоповича еще трудно судить о преобладании старых церковнославянских или новых (народных) черт, хотя форма Тв. на *-ами* была признана вариантом нормы уже в Грамматике 1648 г. Зато петербургские тексты 20-х годов с несомненностью свидетельствуют о преобладании форм новых.

Текст	Д.		Тв.		М.	
	-ом	*-ам*	*-ы*	*-ами*	*-ѣх*	*-ах*
Панегирикос. 1709 (I.2)	11	5	3	2	3	3
Слово на почитание икон. 1717 (I. 4)	4	1	2	—	1	5
Слово на рождество царевича Петра. 1717 (I.5)	3	2	3	2	2	9
Слово на похвалу Петра. 1725 (II.10)	2	5	3	12	1	18
Слово на воспоминание Коронации. 1726 (II.11)	1	3	—	7	3	13

Язык Прокоповича в 20-е годы расходится в этом отношении с языком канонических книг. По наблюдениям С. Булича, Д. мн. в этих книгах сохраняет старую форму, новообразования по типу имен на **а* единичны; в Тв. и М. п. новообразования более многочисленны, но преобладающими остаются формы старые. Даже в Грамматике 1721 г. новые формы кодификации не получили.

Распределение старых и новых конкурирующих форм в текстах Прокоповича, как кажется, чисто произвольно и не регулируется ни стилистическими, ни лексическими факторами. В пределах одного текста (и даже фразы) встречаются варьирующиеся формы одной и той же лексемы или лексем равной стилистической тональности: «От *сосѣдов* наших». I.7.146. — «От *сосѣд* своих». I.7.146. — «Зависть *сосѣд* наших». I.7.148.; «До *предѣл* царства Персидскаго и оттуду до далечайших *предѣлов*. . царства Китаехинскаго». I.2.24. и т. п.[33]

Показательно в этом отношении употребление разносклоняемых имен в позиции однородных членов предложения. Именно в цепочках однородных членов часто происходит подравнивание старых флексий м. р. под сильные флексии ж. р.: «В трудах и бѣдах» II.2.43; «Ни во умах, ни в дѣлах, ни в книгах» II.5.78; «Бесѣдами, разговорами, проповѣдьми, пѣнии» II.5.73. Однако немало подобных цепочек, где формы строго нормативны либо смешаны беспорядочно: «Быти в трудѣх, в ранах, в темницах, в смертех, во многих... бѣдах». II.2.31; «По градом и странам». II.2.31. — Но: «Епископам, и диакопам, и вдовицам, и господиам, и рабом, и родителем, и чадом, и прочиим чинам». II.1.11.

Параллельно разрушению старого каркаса форм в текстах Прокоповича наблюдается значительное расширение лексического состава благодаря введению элементов некнижно-славянских. Таковы, в частности, новые заимствования Петровской эпохи. Эти слова оформляются только по новому (разговорно-бытовому) типу: «В контрактах и трактатах». II.8.115; «О кандидатах на архиерейския степени». II.10.156; «В похвалу сих Божиих министров». II.2.23; «От пиратов, то есть морских разбойников». II.3.54; «Аки бы шпионами к богу ходили». II.1.16; «Физических экспериментов». I.11.208 и т. п.

Но если в плане модификации склонения старых основ на **о* м. и ср. р. язык Прокоповича заметно уклоняется к началу 20-х годов от нормы книжно-славянского языка в сторону языка разговорно-обиходного, то в других типах склонений он демонстрирует в основном ту же пеструю картину межтиповых взаимовлияний и ассимиляции, которая характерна и для канонических книг и закреплена в грамматике.

Таково, в частности, склонение имен м. и ср. р. на *jo и согласный (ср. имена на *-тель*), парадигмы которого отразили влияние всех старых типов склонения (на *i, *u, *o, *a, соглас-

[33] Ср. мнение Л. А. Булаховского о предпосылках подобного безразличия: «Со всей определенностью надо подчеркнуть хорошо известный из практики, но иногда игнорируемый в теории тот несомненный факт, что парадигмы склонения, вообще говоря, не отличаются полной определенностью: говорящий употребляет те или другие из имеющихся вариантов форм, при этом каждая из дублетных форм далеко не всегда бывает связана с какой-нибудь узко-смысловой или стилистической установкой». *Булаховский Л. А.* Грамматическая индукция в славянском склонении. — ВЯ, 1956, № 4, с. 20.

ные). Так, к примеру, И. мн. имен м. р. у Прокоповича встречается с варьирующимися флексиями: *-и* (исконная) и *-ие* (из основ на *i): *царие* I.14.252, II.11.175, *мужие* II.11.198, *пастырие* и *учителие* I.14.257, *делателие* II.2.35, *слышателие* II.2.22, *служителие* II.3.60, *естества описателие* I.2.44. — и *учители* II.8.114, *служители* I.2.48, *гости* II. 3.53, *государи* III.4.34, *вои* I.2.28 и т. д. Обе формы кодифицированны. Но в кодексе 1721 г. форма *-и* заменена формой *-е* (основ на согласный), эта последняя форма у Прокоповича редка (лишь у слов с конечным -j основы): *Архиерее* I.14.238, *святии фарисее* I.14.238, *иудее* I.14.239, II.17.234, — но *книгочии* I.14.241. Канонические тексты демонстрируют ее достаточно широко.

Форма *-ие* у Прокоповича — флексия имен одушевленных, еще уже — лиц. В кодексе сфера ее применения шире. Заметим попутно, что подобную же специализацию имеет флексия И. мн. *-ове* (из основ на *ŭ), довольно широко известная западнорусскому книжному языку (возможно, под польским влиянием) и начинающая проникать в книжно-славянский кодекс (ср. *сынове*, *домове*, где она исконна, но также *жрецеве*, *врачеве*). У Прокоповича эти формы очень редки: *сынове* II.3.60, I.7.44, *жидове* II.2.26, 32, *санове великии* I.5.106; при этом даже форма *сынове* широко варьирует с формой *сыны* II.2.23, I.14.239.

Другая флексия в мягком склонении имен м. р., генетически связанная со старыми основами на *ŭ, флексия Д. ед. ч. *-еви*. Она известна в западнославянских языках и языке украинском; ее кодифицирует и книжно-славянская грамматика. Флексия *-еви* у Прокоповича связана с названиями лиц: *цареви* I.2.49, I.14.238, *господеви* I.5.116, I.7.163, II.8.123, *мужеви* II.7.110, I.12.225, *богови* II.19.271, III.3.29, *кесареви* I.14.200; у этих же лексем — вариантная флексия *у* (*ю*): *господу* I.5.116, I.1.11, II.15.224, *богу* II.1.8, II.11.175. В грамматике круг употребления формы *-еви* — шире; из неличных имен у Прокоповича флексия эта встречается лишь у сл. *дневи* в раннем киевском тексте: «Запаляти свѣщи не свѣта *дневи* умножающе». I.3.53. Характерно, что в издании Наковальнина форма на *-еви* — объект правки.

В Р. мн. класс имен на мягкий согласный (на *jo, и *i) испытал сначала влияние основ на *ŭ (флексия *-ев*), затем основ на *i (флексия *-ий*/*-ей*). Широта распространения флексии *-ий*/*-ей* была очень велика: «По отношению к исходным формам с основой на мягкий согласный и с нулевым окончанием флексия *-ей* в родительном множественного устанавливалась как общая норма, объединяющая образования мужского и женского рода».[34] Это нашло отражение и в книжно-славянском кодексе, где флексия *-ев* (в IV склонении) нормирована лишь у имен с конеч-

---

[34] *Марков В. М.* Из истории формирования множественной парадигмы. (Особенности развития родительного падежа). — В кн.: Именное словообразование русского языка. Казань, 1976, с. 151.

ным -j основы *(ходатаев, иереев)* и у имен с конечным *-ц* (*жрецев*) (по Грамматике Смотрицкого — II склонение). С подобным распределением флексий встречаемся и у Прокоповича: *ногтей* I.5.105, *кораблей* I.5.111, *мужей* I.7.144, *неприятелей* I.7.163, *жителей* I.14.256, *обилей* I.8.210, *орудий* I.6.125, *учений* I.5.113, *воев* I.1.8, *случаев* II.8.123; лишь формы с конечным *-ц* основы дают у него колебания: *вѣнцев* I.7.159, *ловцов* I.2.44, *звѣздочетцов* I.6.122 — но *мѣсяцей* I.5.118.[35]

В Тв. мн. IV склонения м. и ср. р. кодифицированы варьирующиеся флексии *-и* (исконная) и (ь)*ми* (основ на *i). Соответственно в языке Прокоповича находим: *коньми* II.5.79, *звѣрьми* II.3.57, *просвѣтительми* I.5.113, *отмстителми* I.14.256, *обѣщаньми* I.6.131, *различными образованми* II.17.231, *ученьми и наставлении* I.1.6. — и *с князи* I.14.243, *новыми благополучии* II.3.45, *одолжил благодѣянии* II.3.59, *всѣми даровании* II.11.192, *разными учении* II.10.147. Третий вариант — флексия *-ами*: *учителями* II.5.79, *с кораблями* II.3.56, *прорицаниями* II.2.29, *зданиями* I.1.4, *объятиями* I.8.169. Этот вариант кодифицирован лишь в 1721 г. и только для части парадигм этого склонения (ср. *знаменами, врачами, господами*). Выше говорилось о кодификации этой флексии для имен II склонения м. и ср. р.

Таким образом, даже само следование кодексу практически означало постоянное движение в сторону народно-разговорных форм, так как и сам кодекс менялся в этом направлении. С другой стороны, архаические черты кодекса нарушаются систематически самыми лучшими грамматистами, к числу которых принадлежал без сомнения сам Ф. Прокопович.

Так, частые колебания форм дают в его языке имена со старой основой на согласный (ср. Р. ед. *от котораго времене* I.2.31 — *от времени до времени* II.11.188; *Ток крове* I.5.108 — *со слѣдом крови* I.7.154; *от начала церкве* II.8.115 — *от начала церкви* II.17.231; *от семене* I.6.129 — *от того семени* III.7.56 и т. п.).

Такая постулируемая кодексом черта как смягчение заднееебных в определенных позициях проводится достаточно широко, но далеко не последовательно: *в Америцѣ* I.5.102, *в человѣцѣ* I.6.126, *на воздусѣ* I.7.156, *на песцѣ* II.2.43, *в сумрацѣ* I.7.156, *при брезѣ моря* II.2.25, в *страсѣ божии* III.7.69, *на самом версѣ I.12.226* (1-е изд.), *о славной рѣцѣ* I.3.60, *на языцѣ* I.14.263, *коварнии врази* II.2.34, *бози* II.11.176, *противницы* I.14.241, *малые отроцы* I.14.234, *волсви фараоновы* II.2.39, *о всѣхъ человѣцѣх* II.17.231 и т. п. — но *в шестом вѣкѣ* II.8.116, *в наслѣдникѣ* I.1.4, *при рѣкѣ* II.3.55, *враги* I.14.265, *человѣки* I.14.262, *реки и источники* II.3.52, *помощники* II.3.56, *должники, плѣнники* II.8.118 и т. п.

---

[35] Ср. аналогичные колебания у имен м. и ж. р. на шипящий: *мечов* I.2.37, *тысящей* I.2.36.

В плане эволюции форм имени показательна категория двойственного числа. Книжно-славянская грамматика последовательно выводит формы двойственного числа во всех именных парадигмах, в парадигме прошедших времен глагола, в причастиях. В народном языке категория эта разрушена, а судьбы форм двойственного числа весьма различны в разных славянских языках.

В языке Прокоповича мы находим, как правило, форму двойственного числа имен существительных, а также согласуемых с ними прилагательных и притяжательных местоимений. Двойственное число личных местоимений не встречается вообще. Показательна в этом отношении речь приветственная (1718 г.) от лица двух царевен Анны и Елизаветы, где местоимения личные употреблены только во множественном числе. Согласованный по двойственному числу глагол можно встретить лишь в цитате — при прямом или глухом цитировании: «О многострадальный Давиде! .. в малѣ не *подвизастѣся нозѣ твои*». III.13.186 (см. Псал. 72.2).

В ранних (киевских) проповедях Прокоповича достаточно широко представлена категория свободного двойственного (при обозначении парных предметов), во всех падежах парадигмы, нередко с согласуемым в двойственном числе определением. Но сам круг имен, употребляемых в двойственном числе, очень невелик (при общем значительном количестве употреблений).

«Принесем все то.., всѣх *колена* к поклонению, всѣх *очеса*, *руцѣ* и *нозѣ*.. к потребѣ». I.1.10—11; «Повергше под *нозѣ*». I.2.41; «Исторже из *руку* его мечь его». I.2.42; «Исторже от *руку* его.. оружие». I.2.42; «Воздвигнути *руцѣ* на господина своего». I.2.44; «Преклоняху *колена* своя». I.2.43; «*Рукама своима*». I.1.5; «*Своима очима*». I.1.5: «*Очима умныма*». I.3.69; «Слѣп *тѣлесныма очима*». I.3.65.[36]

---

[36] Обращают внимание формы *очеса* и *колена*, стоящие у Прокоповича в ряду однородных форм дв. ч. (*руцѣ, нозѣ*). У сл. *око* в книжном языке этого времени имеются две парадигмы множественного числа: от формы *очи* (*очей, очам, очами/очьми*) и от формы *очеса* (*очес, очесам* и т. п.). Такие же две парадигмы мн. ч. у сл. *ухо*: *уши — ушеса*. Формы *очи, уши*, восходящие к старому дв. ч., выражают все оттенки множественности (ср. «Всѣх *очи* веселящий цвѣт». II.12.200) (и ограниченной, в том числе) и принадлежат к живому употреблению времени. Характерно, что у Прокоповича мы находим их в народно-разговорных оборотах: «Пусти *очи* на Батурин». I.3.65, «По *уши* в грязи» II.2.24, «Тому, на что себѣ *уши* затыкал». II.2.36. Форма *очеса, ушеса* — принадлежность собственно книжно-славянского языка. Ср. также форму *крылеса* (наряду с *крилѣ, крыла*) в книжном языке начала века («Со птицами и иными *крылеса* имѣющими». Механ. Штурма, 36). В парадигме имен на *s в Грамматике Смотрицкого в качестве формы И-В. дв. ч. выставлена форма *словеса*. Этот нормативный ориентир вызывал осмысление форм *очеса, ушеса* как форм дв. ч.

Для сл. *колено* кодифицированная форма И-В. дв. ч. *колена*, совпадающая с И-В. мн. Параллельно функционирующая форма *колени*, генетически восходящая к старому дв. ч., в это время определилась как разговорная по преимуществу; форма *колена* — употребительна в книжном

В том же названном выше кругу обозначений парных предметов нередки замены дв. ч. множественным: «Повергоша себе под ноги». I.2.40; «Не отврати очес». I.2.36; «Отъяти *из рук* оружия». I.2.42; «Держати *в руках*». I.2.42 и т. п. Вариантность в использовании форм дв. — мн. очень типична для книжно-славянских текстов этого времени.[37]

Только во мн. ч. употреблены у Прокоповича слова, для которых возможно свободное двойственное: «Не пощаде власов и *персей* своих». I.2.25; «Аки *крылами* от страха израстшими». I.2.40; «Устремися ко *брегом* Днѣпровым». I.2.46.

Для слов петербургского периода характерно стойкое сохранение дв. ч. лишь для двух лексем: *очи* и *руки*, и лишь в форме Д.-Тв. п. (заметим попутно, что форма *очима* сохраняется в живом украинском употреблении до наших дней). Форма Р.—М. п. встретилась всего один раз. «Навел ‹бог› *очи* монаршия». II.3.59; «Слезу *от очию* вашею». II.17.252; «*Пред очима нашима*». II.3.46, II.12.219, I.11.208; «Зримое *очима*». II.11.189; Не *своима очима*». II.7.65; «*Очима* тѣлесныма». II.11.189; «Косыми *очима*». II.11.189; «Дѣти *пред очима*». II.12.195; «*Пред очима нашима* стоит». II.5.87; «Не возможно *двѣма рукама* двоих дѣл. .дѣлати». II.10.139; «Впасти *в руцѣ* бога жива». III.11.119; «Чуждыми *очима* и руками». I.11.210.

С известным колебанием можно отнести к этому же кругу употреблений форму *ра́мена* (ср. *колена*) (старая форма дв. ч. *рамѣ* в письменности этого времени почти не встречается): «‹Россия› высоко *ра́мена* оруженосная своя подняла». II.5.94.

Единичны употребления в Д.-Тв. дв. сл. *скрания, вѣжды* в глухой цитате из псалтыри: «Не дающаго сна очима своима и покоя *скраниямa своима* и *вѣждома своима* дремания». II.4.69.

Множественное число безусловно преобладает у Прокоповича и при обозначении парных предметов: «Лучи *очес* родительских». I.9.173; «Сучец. . *во очесах* ближняго». II.4.66; «Устам и языку, и *очам*, и *ушам*». III.14.197; «*На персѣх твоих*». I.11.227; «*В твоих* еще *руках* держи сей ‹скипетр›». I.8.169; «Припадем *к ногам твоим*». II.14.221; «Опустил *руки*». II.2.17; «*Аки на двоих раменах*». II.5.75 и т. п.

У Прокоповича согласование имени м. р. (в И.-В. дв. ч.) с числительным *два, оба* осуществляется либо по украинскому типу:[38] *два* сильныя *способы* II.4.65, либо в соответствии с церковнославянской (и древне-русской) нормой: *два человѣка*

языке. Обе они исходны для косвенных падежей парадигмы мн. (*коленам — коленям, на коленах — на коленях* и т. п.).

[37] Ср. у Дмитрия Ростовского: «Сообразен ли убо нам есть бог: *очеса* ли суть у бога, и *ушеса*, и глава, *руки* ли. . *Нозѣ* ли суть у него» (Расс. об образе божии 1714, *5*); «Аки бы Бог был человѣкообразен, имѣяй главу, и браду, и *очи*, и устнѣ, и *уши, руцѣ* и *нозѣ*». (Там же, *1*).

[38] В украинском языке при числительных *оба, два* имена м. р. употребляются в И.-В. мн. (*два городи*), имена ж. р. значительно дольше сохраняли форму дв. ч. и флексию *ѣ* → *і* (*двѣ жені*). См. об этом *Иордан-*

I.14.268 (последняя форма, правда, может пониматься и как русская синтаксическая черта: постановка имени в Р. п. ед. ч.). В согласовании имен ж. р.: *двѣ язвы* III.15.218, *двѣ части* I.5.100 ц.-сл. (др.-р) норма нарушена (если не считать форму *части* сохранением в украинском языке дв. ч.: *ѣ→і* (*и*)). Согласование имени с числительным *три* соответствует ц.-сл. норме: *три роды или чины* II.17.242, *три нѣкия составы* III.15.218, совпадающей с нормой живого украинского языка.

В жанре Слов—проповедей широко применяется стилистическая фигура обращения. Это дает возможность сделать наблюдения над характером использования звательного падежа. Звательный падеж — основной падеж обращения в Словах Прокоповича. Круг слов (основ), от которых образованы формы Зв. п., — очень обширен: имена лиц, и названия предметов, и имена отвлеченные. Образование формы Зв. п. за очень немногими исключениями соответствует нормам книжно-славянской грамматики.

Основы на **о*: *супостате* I.2.34, *вожде* (И. ед. *вождъ*) I.2.37, *воине* I.2.34, *народе* II.3.60, *синоде* II.4.66, *человѣче* III.12.34, *путниче* II.6.100, *виновниче* II.7.110, *защитниче* I.11.211, по этому же типу — *любимиче* II.13.266, *царевиче* (1-е изд.) I.5.118, *самодержче* I.2.46; *доме* I.5.118. Основы на *jo: *царю* I.2.34, *побѣдителю* I.2.34, *предателю* I.2.34; по этому же типу — *гостю* I.3.57 (флексия *-и* старых основ на *i — лишь у сл. *господь*: *господи*) и *царевичу* (черта украинского языка) I.5.100.

Основы на **а*: *славо*, *похвало* I.2.49, *паро* II.7.111, *главо* III.6.50, *красото* III.6.50, *Iудо* I.7.157, *Монархо* (И. ед. *Монарха* — укр., пол) 1.237, 11.3.50, *Россио* (И. ед. Россиа) Пнгр (Кв. и Мс.) *4*, *5* об., *вѣтво* (ед. неупотр. — ср. укр. *віта* 'ветка, ветвь') III.6.50. Основы на *ja: *душе* III.9.133, *Россіе* II.9.129, 130, 131, *монархине* I.13.232, *царице* I.12.224, I.13.232, *двоице* I.12.228; по этому же типу — *мерзосте* (норма в книжно-славянском кодексе; современная укр. черта) III. 9.98, *церкве* II.9.130, но — *мати* I.3.71.

Зв. мн. ч. совпадал, как правило, по форме с Им. мн. У Прокоповича: *слышателие* II.3.58, *сынове* II.3.60, *служителие* II.3.60, *воини* II.3.60, *братие* II.4.65 и т. д.

С точки зрения хронологического распределения число звательных форм постепенно уменьшается, так как реже начинает употребляться сама фигура обращения. При употреблении же обращения — звательный падеж — норма и в проповедях аннинского времени. Ср. коронационную речь 1730 г.: «О *вѣтво* святая, святаго корене! Богом вѣнчанная *главо*! *Красото* и *славо* Всероссийская!» III.6.50.

Замены звательного падежа именительным (в ед. ч) чрезвычайно редки. Последовательность употребления Зв. п. так ве-

---

ский А. М. История двойственного числа в русском языке. Владимир. 1960.

лика, что при издании Слов и речей издатели иногда поправляют имевшие место отступления от этой нормы: «Слышите убо всяк *чин* и *возраст*» (изд. 1-е) — «всяк *чине* и *возрасте*» I.14.249.

Характерны следующие типы нарушений: замена Зв. п. в разговорных конструкциях (русского образца): «*не кричи, брат*» I.14.263; у новых иноязычных слов; в восклицательных конструкциях (см. ниже с. 65); в формулах «возношения» императорского имени в поздних проповедях: *Государыня* III.6.48, *монархиня* II.10.137. Последнее, возможно, по соображениям, языку внешним.

2. В морфологии прилагательных наиболее важный процесс — обобщение флексий И.-В. мн. ч., оказавший несомненное влияние на грамматику книжно-славянских текстов. Нормой книжно-славянского языка было различие флексий всех трех родов во мн. ч. и противоположение И. и В. Но наблюдение над этим явлением в языке Прокоповича затруднено тем, что именно в этих флексиях могли проявиться черты южно-русского произношения автора и особенности западнорусского письма, которые должны были подвергаться правке при печатании. Здесь между автором и печатным текстом мог стоять правщик московской или петербургской типографии. Показателен в этом отношении, как уже говорилось, текст «Панегирикоса» (1709 г.) в киевском и московском издании. Единственная морфологическая категория, подвергающаяся правке при перепечатании в Москве, — флексии прилагательных.

Формы И. и В. мн. числа в книжно-славянском языке таковы.

	м.	ср.	ж.
И.	іи	ая/яя	ія
В.	ыя/ия	ая/яя	ыя/ия

Аналогическое воздействие флексий в пределах парадигмы в книгах западнорусской печати осложнялось смешением в употреблении графем *ы* и *и*, а также отражением на письме взаимной мены *ѣ* и *и*, постановкой *ѣ* на месте старого *е* и т. д.

Приведем некоторые примеры из киевского «Панегирикоса» с вариантами московской правки: И. мн. *красноглаголивыи вѣтии* (Мс. *-іи*), *искусныи мужіе* (Мс. *-іи*), *супостатскіе силы* (Мс. *-ія*), *старинныи роди* (Мс. *-іи*), *жестоковыйныи раби* (Мс. *-іи*); В. мн. *страшния громи* (Мс. *-ыя*), *толикие труды* (Мс. *-ия*) и т. д.

Однако и в московском издании приняты без правки некоторые отклонения от книжно-славянской нормы: И. мн. *велеречивыи ритори, мимошедшия годы, полчища змѣнническия,* либо правка сделана неверно: И. мн. *многие змѣнники* (Мс. *-ия*), *главные Вожды* (Мс. *-ыя*), *неплодные бреги* (Мс. *-ыя*), В. мн. — *на многия мѣста* (Мс. *-ии*).

Все это свидетельствует о размывании норм книжно-славянского языка и на юге, и юго-западе России, и в Москве. Книжнославянский строй лучше держали московские тексты, но и здесь

отклонений от нормы очень много. Так, во втором (петербургском) «Слове о баталии Полтавской» флексия *-ые(-ие)*, которую правили издатели «Панегирикоса» в Москве, уже встречается в И.-В. п. всех родов.[39] И. мн.: *побѣдоносныя баталии* I.7.153 (изд. 1-е *побѣдоносные*), *искусства инженерския* I.7.149 (изд. 1-е *инженерские*), *натуральныи историки* I.7.163 (изд. 1-е *натуральные*); В. мн.: *разныи обряды* I.7.149 (изд. 1-е *разные*); *в далекия земли* I.7.151 (изд. 1-е *в далекие*). Как видно из примеров, флексия *-ые/-ие* 1-го издания в издании Наковальнина подвергнута правке.

В парадигме ед. ч. прилагательных заслуживают внимания два явления. Первое — кодификация вариантных флексий в Д. и М. ж. р. (*-ой/-ый*) и М. п. м. и ср. р. (*-ом/-ѣмъ*). Окончания *-ой* и *-ом* — флексии живого языка, допущенные в качестве варианта нормы в книжно-славянскую грамматику. В текстах Прокоповича они абсолютно преобладают: *в студеной водѣ* II.5.75, *в страшной и лютой войнѣ* II.5.79, *к честной коммуникации* II.5.91, *о силѣ Российской* I.2.26, — но *во плоти человѣчестѣи* I.6.125, *о силѣ Россiйстѣй* II.5.92; *о воинском искуствѣ* II.5.74, *при всенародном молѣнии* III.5.90, *в военном обхождении* II.5.75 — но — *о народнѣм благополучии* I.5.107, *на Монархе россiйстѣм* I.7.159.

Характерно соединение славянских форм *-ѣй, -ѣм* со специфически славянским смягчением (*ск<ст*) основы прилагательных на *-ский*. Это смягчение, имевшее место в И.-Зв. мн., М. ед. м. р., Д. и М. ед. ж. р. и М. ед. ср. р., характерная черта книжно-славянских текстов: *Россiйстiи вельможи* I.5.100, *Раби Россiйстiи* I.2.40, *человѣци плотстiи* III.7.60, *Оттоманстiи монархи* I.2.26 и т. п.

Для Р. п. ед. ж. р. в книжно-славянской грамматике нормализована лишь славянская флексия *-ыя* (*ия*). Но в книжно-славянских текстах широко распространена народная флексия *-ой* (*ей*). Эта флексия была предметом правки в московском «Панегирикосе»: в западно-русском варианте книжного языка она встречалась чаще. Ср.: *без всякой иноземной помощи* (Мс.: *всякия иноземныя*), *дивной славы* (Мс. *дивныя*), *от малой России* (Мс. *от малыя России*). Но в текстах петербургских проповедей ее употребление все возрастает, хотя ведущей она не становится: *человѣческой души* III.15.218, *от всещедрой десницы* II.5.72, *радости нынѣшней* I.5.100, *будущей жизни* III.15.218, — но *образы державы женския* II.11.191, *вѣчныя смерти* I.6.132, *невѣдущiи християнския истории* II.2.21, *разорителя восточныя церкве* II.5.80, *наслѣдныя крове оскудением* I.5.107 и т. д.

---

[39] Флексия *-ые* в западнорусских текстах считается русской флексией, формой, возникшей «під впливом білоруського та російського правопису». *Безпалько О. П.* и др. Історична граматика української мови. Київ, 1962, с. 293.

Характерной приметой книжно-славянской системы прилагательных является употребление кратких форм в предикативной и атрибутивной функции, в Им. и косвенных падежах. В текстах Прокоповича краткие прилагательные-атрибуты (в отличие от кратких причастий) встречаются нечасто, это безусловные рудименты системы. Употребления эти характерны в основном для ранних — киевских и петербургских — текстов: «На *многи* мѣста раздѣли воинство» I.2.34, «Власть. . лютая и паче монаршества *страшнѣйша*» (изд. 1-е) — *страшнѣйшая* I.5.103; «О шляпа *драгоцѣнна*!» (изд. 1-е) — *драгоцѣнная* I.7.159. «Исправляет ‹господь› острии в пути *гладки*» II.6.100.

В течение всего творчества сохраняются у Прокоповича краткие формы Р.-В. в инфинитивных оборотах: «Таковую убо славу Российскую кто бы не желал. . быти *непремѣнну и вѣчну*» (1-е изд.) — *непремѣнной* и *вѣчной* I.5.116; «Царь *грѣшна* себя быти исповѣдует» I.14.244.

Замещения кратких форм членными отмечает С. Булич и в языке канонических книг. Это было тенденцией в пределах самого книжно-славянского языка.

3. В морфологии местоимений наибольший интерес в плане соотношения книжно-славянского языка с народно-разговорным представляют местоимения личные (*аз*), указательные (*тот*; *и, я, е*) и вопросительные (*кто, что*).

Местоимения личные у Прокоповича строго выдержаны в нормах книжно-славянской грамматики. Отклонения очень немногочисленны. Так, для 1 л. ед. ч. в вариантных отношениях выступают местоимения *аз* и *я*, причем последний, некодифицированный вариант преобладает: «А *я* убогий служитель Христов» II.1.2; «Что о солнцѣ Анаксагор философ, то *я* глаголю о царском зрѣнии» I.1.3; «И *я* отвѣтствую. .» III.15.222; «А *я* тогда поучаюсь. .» III.17.249 и т. д.

В парадигме личных и возвратного местоимений книжно-славянская форма Р.-В. п. *мене, тебе, себе* употребляется на всем протяжении творчества Прокоповича: «Жар сквозь *мене* всего проходящий». I.8.169; «Скажи же, молю *тебе*». II.1.7; «Лучше бы забыть тебѣ, как *тебе* зовут, нежели что от *тебе* требует чин твой». II.1.17; «Знати может всяк про *себе*, кое ему надлежит дѣло». II.1.9; «Вооружала и украшала *себе* Россиа». II.5.84; «Умру я, не станет *мене*». III.9.91 и т. д.

В последовательном проведении этой черты сказалось, видимо, поддерживающее влияние языка украинского, усвоившего эти формы. Из русских форм (*меня, тебя, себя*) встретилась лишь один раз форма *себя* в проповеди 30-х годов в разговорно-бытовом контексте: «Тот уже и сам *себя* забыв кто он, не вѣдомо что о себѣ мечтает». III.2.34.

Специфически книжно-славянской чертой является употребление энклитических форм. Особенно широко употребление энклитик в киевских и ранних петербургских проповедях: затем

число таких употреблений заметно сокращается: «Свидѣтели *ми* да будут». I.3.70; «Откуда *ми* сие?». I.14.263; «И так, мнится *ми*, болшее пребых время в разлучении твоем». I.8.168; «Вѣк твой.. будет *ти* свѣтлый». I.13.231; «Предлежит *ти* и крѣпчайшия пищи вкусити». I.13.232; «Гряди же.., донелѣже ведет *тя* десница Господня». II.6.101; «Господи... обрати *ны*, и яви лице свое». III.1.5: «Господи спаси Царя и услыши *ны*». I.14.268; «Зряше безчисленныя сопротив идущия на *ся* смерти». I.2.36 и др.

Парадигма указательного местоимения *и, я, е* в книжно-славянской грамматике представлена уже как парадигма дефектная; в отношении И. ед. ч. здесь замечено: «Имен. лишается». Для В. ед. м. р. этого местоимения указываются вариантные формы: *его* или *и*, для ж. и ср. р. лишь старые формы *ю* и *е*; для В. мн. — *я*, ѩ и ѧ.

В языке Прокоповича из этих старых форм особенно широко используется форма ж. р. — *ю* (видимо, не без влияния украинского фона), форма *е* встречается единично, *и* и *я* — лишь в относительных местоимениях (*иже, яже, еже, юже*). Ср.: «О державѣ верховной ниже́ помыслити хотят, быти *ю* праведну». I.14.243; «Бездушнѣ тщахуся совратити *ю*». I.12.224; «Вси *ю* матерь свою нарицали». II.12.195; «Диадимой империи своея вѣнчал *ю*». II.10.159; «Уподобил еси *ю* праведной Анне». III.7.71; «Когда всему миру казалось, что кончится Россия, тогда воздвигла *ю* десница Вышняго». III.11.203; «Кая отрада отечеству, яко от внѣшних неприятелей освободихом *е*». I.7.164. — Ср.: «Но что воздадим Господеви о всѣх, *яже* воздаде нам? II.5.92; «Сила, *юже* Богом нарицаем». II.2.23; «Лютая оная времена, в *няже* он корму держал отечества своего». II.1.12 и т. д.

В парадигме указательного местоимения *тот, та, то* примечательна широкая вариантность форм. С точки зрения национальной ориентации характерно появление в петербургских текстах Прокоповича наряду с нормативной формой м. р. *той* формы *тот*. Сначала употребления ее единичны (и большей частью в связанном сочетании *тот час*). Но к 30-м годам эта некодифицированная форма становится у него ведущей. Ср.: «Самуил Пуффендорф судит королевство Шведское безпечальное быти от Руси.. *Тот* же Датскаго короля с Россиею союз суетный и безнадежный нарицает». I.7.150; «За едину красо́ту вѣнчал *тот* же Монарх Есфирь». II.7.105; «Разрѣшити союз *тот*». II.8.116; «*Тот*, который гонил прежде церковь божию». III.15.228; «Кто.. не видит, *тот* весьма слѣп есть». III.7.69 и т. п.

Украинскому языку также не чужда форма *тот*; но в русском языке она безусловно преобладает.

Форма *тим* в Тв. ед. м. р., которую встречаем в киевском «Панегирикосе» (*тим самым*, 2 об.), в Москве исправлена на *тым*; ср. также в петербургском Слове 1716 г.: *тым* и *сим* (1-е изд.) — *тѣм и сим*. I.5.105. Как западнорусскому (книжному и народному), так и русскому языку известны эти формы — ре-

зультат взаимодействия твердых и мягких основ в местоименном склонении. Но для Прокоповича это — единичные отступления от последовательно проводимой книжно-славянской нормы (*тѣм*).

В парадигме ед. ч. для В. п. м. р. и И.-В. п. ж. и ср. р. кодифицированы вариантные формы — членная и нечленная. Прокопович очень широко использует членные формы ж. и ср. р.: здесь книжно-славянская норма совпадает с живым украинским употреблением.[40] «*Тая* брань между всѣми Римскими браньми славнѣйшая». I.2.32; «Вступили во огнь двѣ славныя армеи: *тую* устремила ярость гордая, . . сию же ввела праведная ревность». I.7.157; «Пошлеш ты его коня сѣдлать, а он *тое* оставя, пойдет в жерновах молоть». II.1.7. — Ср.: *Таяжде* вина I.8.169, *туюжде* силу III.15.225, *тоежде тѣло* III.15.225 и т. п.

В И. мн. — формы только членные; нечленные признает неупотребительными сам кодекс. Ср.: «*Тіи* в бѣгство обращаются». I.2.36. «Вси *тыя* вины. . праведны суть». II.7.105. «Сии бы убивали мечем, а *тии* отравою». III.5.77. — Ср.: В *тыяжде* селения внидем, в *тыяжде* чертоги введени будем». III.9.94.

Следует отметить, далее, широкую вариантность форм в кругу вопросительных местоимений: *кий/кой, чий/чей, что*, связанную с взаимодействием твердых и мягких основ и взаимодействием надежей, ведущим к выравниванию основ. Это явление отражено книжно-славянской грамматикой, где некоторые формы оцениваются уже и стилистически. Так «простой» названа форма *кой* по сравнению с *кий*.

Язык Прокоповича заметно эволюционирует от последовательного употребления «высоких» вариантов (с *и* в основе), равно как форм от *что* с усложненной основой (*чесо, чесому* и т. д.) в сторону вариантов «простых», хотя параллельность форм полностью не исчезает и в 30-е годы. Эволюция проявляется и в численном убывании употреблений самого местоимения *кий/кой* за счет увеличения удельного веса синонимических образований — *каковый, яковый, какий*. В киевском и раннем петербургском периодах концентрация форм местоимений *кий*, равно как других местоимений (в их «высоком» варианте), очень велика. Ср.: «*Кий* град и *кий* дом избѣже опасной и многоочной его несытости?» I.2.27; «*Кая* се срамота? *Кій* студный порок?» I.14.264; «*Кая* надежда, *кое* упование бяше?» I.2.47: «*Кия* плоды толь преславной виктории». I.7.145; «*Кия* же титлы? *Кия* имена?» I.14.251; «*Киими* слезами не плачемся? *Киим* сердцем довольно возревнуем?» I.14.251; «*Кїи* легкодушники думают». II.5.94; «Когда бы кто ненавистник *чий*». II.5.74; «*Чиим* языком вѣщается и *чиим* пером пишется?» II.1.2; «Путь той. . *чиими* потлачен стопами». I.4.94; «*Чесого* инаго ожидати». I.6.132; «*В че-*

[40] В украинском языке параллельные формы существовали до XIX в., при этом «нестягнені форми середнього і жіночого роду переважали». *Безпалько О. П.* и др. Исторична граматика української мови, 247.

сом свобода наша». I.14.242; «*Чим* дѣется». I.5.107; «*Чесого* звание твое требует от тебе». II.1.10. — Ср.: «О *чем* всуе много говорить». II.5.78; «Для *чего* ты родился?» II.13.216; «*Чего* ради живут и *чего* доживут?» II.13.205.

III

Синтаксис сочинений Ф. Прокоповича заслуживает самого пристального внимания и изучения. На формирующуюся систему русского литературного языка синтаксическая система позднего книжно-славянского языка в таких ее образцах как синтаксис Прокоповича оказала несомненное и глубокое воздействие.

В настоящем обзоре мы остановимся только на отдельных синтаксических особенностях, на некоторых специфических конструкциях книжно-славянского языка, несущих яркую печать языкового типа. Большинство из них уже получило описание в синтаксическом разделе Грамматики М. Смотрицкого. В языке Прокоповича эти конструкции относятся к эволюционирующим чертам языка: одни из них исчезают вовсе, употребительность других чрезвычайно сокращается.

Первое, на чем мы остановимся, — выражение отрицания и отрицательные конструкции. К характерным особенностям книжно-славянской системы в этой сфере принадлежит, во-первых, то, что в отрицательных предложениях, если глагол находится в постпозиции, отрицание стоит у имени, а не у глагола.

«Прославим убо его не усты токмо, но и сердцем. ., исправляя житие наше, да *не* имя прославившаго нас хулится в нас». II.5.93; «Без его же ‹бога› воли и опредѣления, *нижé* малая птица падает». II.3.47; «Не суть Идолы ‹иконы›, и по тому *нижé* отметания достойны». I.4.83; «Самое сие новопрестольнаго града твоего мѣсто. . мнилося нам быти не тое, а аще бы *не* имя твое на себѣ имѣло, было бы весьма не любое». I.9.172.[41]

Во-вторых, это — опущение отрицания при глаголе-сказуемом, если оно имеется при имени или в составе местоимений и наречий. Ср.: «*Ни* нашему, *ни* чуждему духу скоро вѣруим, но испытуим духи, аще от бога суть». I.4.94; «Всю нощь труждаются Апостоли, и *ничтоже* обрѣтают». I.11.202; «К изрѣченню бо *никоеже* довольно слово». I.12.220; «Немоществует закон, яко. . *ни* единаго движения имѣет». I.6.130; «*Ничего* имѣя в руках, войти в бой с вооруженным». II.5.74; ‹Бог› произвел ‹Россию› в силу, честь и славу таковую, коликой *ниже* мы, *ниже* весь мир надѣялся». II.5.92; «То бо воистинну любомудрие, *ни когдаже* приобрѣтенным вещей познанием доволятися». I.11.209; «*Никакий* образ может совершенно вся части и свойства изобразити вещи образуемыя». II.8.119 и т. п.

---

[41] Ср. эту же черту в богословском трактате Прокоповича: «И памятовати ‹объясненное› крѣпко, инако бо, *ни* послѣдующее ига неудобьносимаго толкование внятно быти может». IV.2.118. «И тако *ниже* второе сие, ига неудобьносимаго толкование, сильно есть». IV.2.104.

В книжно-славянской грамматике М. Смотрицкого сформулировано правило: «Славяном бо сугубое отрицание творит увѣщание: едино же и трегубое творит отрицание» (230 об.).

Двойное отрицание при глаголе-сказуемом (или составном сказуемом), вносящее значение утверждения, наличия признака, третья характерная особенность книжно-славянской системы, имеющая место в языке Прокоповича. «Да *не неблагодарни* возмнимся быти». I.7.143. «*Не не* вѣдал еси и о Давидѣ». I.7.161; «Оное <рассуждение> дерзну воврещи в пребогатая славы твоея сокровища, хотя и *не не* вѣм, что подаянию двоих лептей есть подобное». II.5.73; «*Не не* были и у нас главы женския толикой чести достойныя». II.7.104. Эта черта получила значительное распространение и в русском книжном языке первой половины XVIII в., языке русского, а не книжно-славянского типа.

Следует, наконец, отметить личные отрицательные предложения с глаголом *быти*: «*Нѣсть* слово довольное, *нѣсть* похвала равная сему Твоему Богом поспѣшествованному. . дѣлу». I.2.48; «*Нѣсть* власть аще не от Бога». I.14.250; «Здѣ разнствие фортуны: *нѣсть* раб ни свободь». II.1.5; *Нѣсть* власть, яко власть царская». II.11.178.

Однако, все эти особенности книжно-славянского языка сосуществуют в произведениях Прокоповича с другой системой выражения этих отношений, системой, характерной для общего, бытового языка. И эта система представлена значительно шире и последовательнее. Так, наряду с только что названными личными предложениями с глаголом *быть* в петербургских проповедях распространяются русские безличные конструкции со сл. *нѣт* и Р. п. «Аще же посмотрим на церковь ветхозаконную, *нѣт* мѣста сумнению». I.14.253; Кажется *нѣт* нужды говорить и слышать о том». II.2.22; «*Нѣт* ли в сердце твоем и свербящей похоти». II. 17.253; «И познали, что бога *нѣт*». II.17.243; «Хороше было бы, естьли бы мы жили без бѣд, а не то, что бѣд *нѣт*, да и нас *нѣт*». III.15.218.

Заметим, однако, что в функции слова-предложения (отрицательный ответ) у Прокоповича выступает лишь частица *ни*, поддерживаемая, без сомнения, и украинским словоупотреблением. «Да то может быти догад мой? *Ни*». I.7.149; «Что же? Предательство ли толикаго благополучия вина? *Ни*». III.2.15. — Ср. также: «Есть ли вам ужас или *ни*?» I.14.267.

Уже в киевском «Панегирикосе» широко представлены конструкции с двойным отрицанием, которые в петербургский период являются абсолютно преобладающими. «Супостат *ничего не* щадит». I.2.29; «*Ни* смерть, *ни* язва *не* приближися к тебѣ». I.2.37; «*Никтоже* вспять *не* зрит». I.7.158; «*Ни* в какой школѣ, *ни* в какой академии *не* учился». II.10.160; «*Никогда* же *не* была вящей вина первая». II.17.243 и т. п. В поздних проповедях Прокоповича книжно-славянские формы отрицания — редкие вкрапления в иной системе.

Показательны в плане эволюции языка Прокоповича инфинитивные причастные обороты. Один из распространенных инфинитивных оборотов — целевой инфинитив, вводимый членом *еже*. Об этой конструкции, которая рассматривается в соответствии с греческими образцами, содержится обширное рассуждение в Грамматике Смотрицкого. О *еже* здесь говорится: «Не местоимение славяном быти то, но соуз. Знаменования Винословнаго, малороссски сказуемый, не хай и да бы» (221). Грамматика признает возможным для «славян» строить соответствующие фразы и опуская *еже* («чистѣе без еже положено было бы»).

В языке Прокоповича конструкции с *еже* широко используются лишь в текстах петербургских — может быть потому, что грецизмы книжно-славянского языка были в большем ходу в русской книжной традиции. «Отсюду умножается главная оная мудрость, *еже* от твари познавати творца». I.11.205; «<Бог> дает всему народу надежду, *еже* толикому благополучию неувядаему быти». I.5.109; «Яковую силу? Силу *еже* хранити закон божий». I.6.134; «Вси духовнии имѣют собственное свое дѣло, *еже* быти служители божиими». I.14.257; «Кто тако, якоже ты.. дѣлом показал артикул сей, *еже* ходити по долженству своего звания?» II.1.18; «Сего искати должни мы всяким тщанием, *еже* ошаятися мертвых дѣл беззакония». II.13.209.

В 20-е годы число конструкций с *еже* заметно сокращается; в текстах аннинской поры они единичны.

Чрезвычайно широко используется в языке проповедей оборот «винительный с инфинитивом» (субъектным и объектным). Латинист Прокопович расширяет сферу употребления этого оборота, который в русской книжной традиции обычен лишь с инфинитивом *быти*.[42] В проповедях в этой конструкции встречаются и конкретные знаменательные глаголы.[43]

Ср.: «Побѣжден <неприятель> есть тогда, егда мняшеся *побѣду* в руках *держати*». I.2.34; «Тии обращают хребет, иже славяхуся нестерпимое *имѣти лице*». I.2.36; «Мнит ми ся воистинну *видѣти* нѣкое безмѣрное *море*». I.3.64; «Не то ли военный глаголемый огнь, которым славят *тебе быти страшна* врагом отечества нашего». I.8.169; «И кто не видит и сию *любовь крепку* яко смерть *быти*». I.12.224; «О державѣ верховной нижé помыслити хотят *быти ю праведну* и от Бога узаконенну». I.14.243; «Ты един показал еси *дѣло* сего превысокаго сана *быти собрание* всѣх трудов и попечений». II.1.18 и т. д. — Ср. подобные обороты с дательным косвенного объекта: «Пророчество твое, имже свѣйской *силѣ* на Москвѣ *быти* прорекл еси». I.2.44.

---

[42] См. *Ломтев Т. П.* Очерки по историческому синтаксису русского языка. М., 1956, с. 72.

[43] Аналогичное явление отмечается в переводах (с греческого языка) басен Эзопа (XVII в.). См. *Тарковский Р. Б.* Старший русский перевод басен Эзопа и переписчики его текста. Л.. 1975. с. 78.

Оборот «именительный с инфинитивом» встречается значительно реже: «Тая *брань* между всѣми Римскими браньми славнѣйшая, ибо и *лютѣйшая быти* почитается». 1.2.32.

Единично употребление старой конструкции *есть* с инфинитивом в значении возможности (или неизбежности) осуществления действия, выраженного инфинитивом: «Со удивлением *вѣдѣти есть*, что человѣк простый и весьма грубый, когда чего полезнаго ищет так щательно вся усматривает...» II.13.211—212.

Наибольшая интенсивность в употреблении инфинитивных конструкций приходится на киевский и ранний петербургский период; уже в 20-е годы число их сокращается, хотя встречаются они и в текстах 30-х годов.

Относительно причастного оборота «дательный самостоятельный» мы уже говорили в том разделе статьи, где рассматривалось употребление кратких причастий. С падением употребительности кратких причастий в составе оборота все чаще встречаются причастия полные. Ср.: «Великий бо сей Монарх, *пресѣкшейся* по взятии Азова *войнѣ* Турской, получив мирный покой, праздну быти и без дѣла в грѣх себѣ поставил». II.10.147; «*Опровергаемым властем* верховным колеблется к падению все общество». I.14.266; «*Преставшей* бо от Юга, востала буря от Сѣвера». II.10.141.

По текстам интенсивность употребления оборота к 20-м годам падает, хотя в отдельных случаях он встречается и в 30-е годы: «Когда бог, по падении в раи Адама и Евы, и по обличении грѣха их, тако, *имѣже слышащим*, на змия прельстившаго.. возгремѣл». III.7.55.

В книжно-славянской грамматике в разделе «О сочинении местоимений» указывается на свойство славянского языка употреблять личные местоимения в Д. п. при местоимениях притяжательных того же лица «вящия энергии или силы дѣля» (203 об.). Эта черта, принадлежащая к маркирующим приметам книжно-славянского языка, представлена и у Прокоповича. Ср.: «Чрез *нашу нам* совѣсть указует Бог властелинство». I.14.258; «Не сталося по высокому *вашему вам* мнѣнию супостаты». I.7.153; «На студ вѣчный и на вѣчную *свою им* погибель». II.17.247. Удвоение местоимений при выражении притяжательности широко использовалось в книжно-славянской письменности в соприкасающихся с нею жанрах русской книжности начала XVIII в.[44]

Книжно-славянской синтаксической особенностью является и употребление мн. ч. субстантивированных прилагательных ср. р. (вместо ед.). Эта черта, получившая широкое распространение

---

[44] Ср. «По *моему ми* мнению» (Дм. Рост. Расс.); «Писанием стым по *своему си* злоразумию толкованным» (Камень веры, Предисл.); «Но почто старожителныя истории от *своих им* обвалин возбуждаю» (Полит. апоф., 3). — Ср.: «Предлагаю ти малые статьи, по *своему ми* мнѣнию» (Посошк. Завещ. отеч. 180—181).

даже за пределами собственно книжно-славянской письменности, является нормой употребления в языке Прокоповича на всем протяжении его творчества. Правда, в 20-е годы в его текстах можно встретить уже и субстантивированные прилагательные в ед. ч. «*Дивная* и *страшная* сотвори с нами крѣпкий во бранех Господь». I.2.34; «Забываются всѣ мимошедшия скорби за *нашедшая безмѣрная* и *безчисленная благая*». I.2.48; «Врата на мори, когда оно везет к нам *полѣзная* и *потребная*». II.10.151; «Всегда при себѣ имѣй помышление о *вѣчных*». III.2.22. — Ср.: «Что ни видим *цвѣтущее*, а прежде сего нам и *невѣдомое*, не все ли то его заводы?» II.10.148.

Обилие восклицательных предложений в проповедях Прокоповича позволяет наблюдать специфическую книжно-славянскую особенность — Р. п. имени при междометиях *о*, *оле*, *увы*. Эта черта также отмечена в Грамматике Смотрицкого: «Оле и о сѣтования: и о удивления Родительному сочиняются» (235). Ср.: «О радости всенародной!» I.13.230; «О лютой нам язвы!» II.9.128; «О недостойных и бѣдных нас! О грѣхов наших безмѣрия!» II.9.128; «О нас блаженных! О нас благополучных!» I.2.48; «Оле окаянства нашего». I.6.127; «О времене ужаснаго!» II.10.165; «О стыдения лица! О тяжести сердца нашего!» II.5.87; «О силы, о славы Твоея, Россие!» I.2.36. — Ср. также: «Увы окаянства! Увы злоключения времен наших!» I.14.262.

Но в этой конструкции Р. п. довольно часто замещается Им. п.; по нормам грамматики собственно восклицание «звательному сочиняется» (235). Но именно в этой позиции звательный был нестоек: «О поле благополучное!» I.2.35; «О день приснопамятный! О день, многих вѣков дражайший!» I.7.157; «О лютая времена!» II.4.67; «О дѣло ужасное!» II.5.80.

Описывая процесс русификации юго-западных стилей церковно-славянского языка на московской почве, В. В. Виноградов замечал: «Изменение национального колорита речи особенно разительно было при смене союзов».[45] Краткими наблюдениями над эволюцией союзов в словах Прокоповича мы завершим этот очерк. Следует заметить, что у Прокоповича, даже в ранних киевских проповедях, из собственно украинских союзов, в таком обилии встречающихся у других южнорусских писателей,[46] мы находим только союзные слова *який* и *яковый*. Все остальное соответствует той системе союзов, которая характерна и для юго-западной, и для московской редакции книжно-славянского языка. Изменения в составе (или употребительности) союзов у Прокоповича коснулись прежде всего собственно книжно-славянских

---

[45] *Виноградов В. В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX в., М., 1938, с. 23.

[46] В. В. Виноградов приводит наблюдения П. И. Житецкого над языком Дм. Ростовского: «Союзы *абы, аж, але, альбо, гды, еднак, же, як, хочь, ще* заменены союзами *дабы, а, но, или, когда* и *внегда, однако, яко, аки, аще, хоть, еще*». Там же, с. 23.

союзов. А те новые союзы, которые значительно расширили первоначальный их состав и которые появились уже в петербургскую пору его творчества, являются союзами собственно русскими.

Один тип изменений — оттеснение специфически славянских союзов (почти до полного их исчезновения) другими союзами, принадлежащими к общему — славянскому и русскому — фонду. Такова история союзных относительных местоимений *иже, яже, еже*. Первоначально — это основной вид оформления относительных предложений у Прокоповича; употребления местоимения *который* и украинизма *якой* — единичны; затем употребление *который* начинает возрастать, к началу 20-х годов оба типа оформления уже встречаются в равной пропорции. В 20-е годы употребление местоимений *иже, яже, еже* резко сокращается. В речи на коронацию Екатерины I (1724), в «Слове на погребение Петра» (1725), — т. е. в контекстах высокого риторического плана они не употребляются вовсе. Позднее эти местоимения встречаются как единичные вкрапления обычно в составе типических клише из текстов церковных («Живот, исполнен утѣх и радостей, *ихже* око не видѣ и ухо не слыша». III.15.232).

Подобно этому, временной союз *егда* — первоначально основной способ выражения временных отношений. Случаи употребления местоименного наречия *когда* в союзной функции — единичны. В «Панегирикосе» мы встречаем только союз *егда* (32 случая употребления). Зато в «Слове о мире со Швецией» (1722 г.) — один случай употребления союза *егда* и 24 — *когда*.

В качестве редких вкраплений встречаются в языке поздних проповедей временные союзы *дондеже* и *донеле* (*же*) (в «Панегирикосе» союз *дондеже* употреблен 6 раз). На смену им приходит новый союз — *пока*, который в самом русском языке получает широкое распространение не ранее Петровской эпохи [47] («Александров ласкатель.., когда Александр ногу свихнул, и сам хромал пота, *пока* государева нога не справилась». III.11.121).

Другой тип изменений касается полифункциональных союзов типа *аще, яко, еже*. Их употребительность сокращается за счет того, что ряд функций, свойственных им, перенимают на себя новые союзы специализированной семантики. Так, лишь в проповедях петербургского цикла появляется уступительный союз *хотя* (I.7.); в 20-е годы он выступает уже главным оформителем уступительных конструкций. До этого уступительность у Прокоповича выражалась с помощью союза *аще*.

Подобно этому, союз *яко* начинает разделять свои функции с союзом *что* и — в петербургскую пору — с русскими союзами *как* и *будто*. Дополнительные конструкции с союзом *что* в киев-

---

[47] См. *Коротаева Э. И.* Союзное подчинение в русском литературном языке XVII века. М.—Л., 1964, с. 108.

ских текстах единичны; в 20-е годы единичны употребления союза *яко* при введении придаточных дополнительных.

Условные значения в киевских текстах, монопольно передаваемые словом *аще*, в петербургский период начинают дублироваться союзами *естьли* (I.7.), *ежели* (I.4), *когда* (I.14) и *буде* (I.12). В конкуренции синонимических союзов абсолютное преобладание к началу 30-х годов получил русский союз *естьли*, несмотря на то что союз *аще* имел чрезвычайно широкое распространение даже за пределами книжно-славянской письменности.

Синонимия союзных средств в языке петербургских проповедей Прокоповича значительно более высока, чем в киевском периоде: *дабы — еже бы* — (нов.) *чтобы*; *аки — яко* — (нов.) *как* — (нов.) *будто*; *понеже* — (нов.) *для того что*, *потому что* и т. д. Далеко не все русские новации в языке проповедей получили преобладание над книжно-славянскими средствами. Так, сравнительный союз *как* значительно уступает в распространенности союзам *аки* и *яко* и связан со специфически бытовыми контекстами или фразеологией («Нѣмы суть как рыбы». II.17.243, «Дѣлают как мартышки». II.17.247), союз *чтобы* менее употребителен, чем *дабы*. Но само вовлечение этих союзов в язык проповедей — еще один показатель его обрусения.

* * *

Слова и речи Феофана Прокоповича создавались на протяжении трех десятилетий (1705—1735 гг.). За это время язык их претерпел глубокие изменения. Анализ показывает, что по морфологическому строю к чистому книжно-славянскому типу можно отнести лишь слова киевского и раннего петербургского периода (первое пятилетие — 1716—1720 гг.). Тексты этих проповедей обнаруживают лишь те отклонения от норм, установленных грамматическим кодексом, которые характерны для большей части сочинений, написанных на книжно-славянском языке начала XVIII в. (в том числе и для текстов канонических книг), и не являются специфичными только для Прокоповича (смешение флексий в некоторых парадигмах имен существительных и прилагательных, разрушение категории дв. ч., старого сослагательного наклонения, старых отрицательных конструкций и т. п.).

Однако в текстах петербургских Слов очень скоро обнаруживаются языковые явления, идущие вразрез не только с нормативными предписаниями, но и с типовыми отклонениями от нормы. 20-е годы — период наивысшего расцвета ораторского мастерства Прокоповича, время создания знаменитого слова о флоте, о богодарованном мире, слов на погребение и похвалу Петра. Грамматическая структура этих и других современных им текстов уже резко отличается от первоначального типа: исчезает старая система прошедших времен, возникает категория неизменяемых кратких причастий (деепричастия), существенно

перестраиваются многие парадигмы именного склонения, еще больше размывается категория дв. числа, почти полностью исчезают (или становятся редко употребляемыми) многие специфические конструкции книжно-славянского синтаксиса, существенно перестраивается система союзов. Тексты 30-х годов обнаруживают еще большее углубление перестройки первоначального языкового типа.

Изменения такого рода, происшедшие в такой короткий срок, не могут быть объяснены лишь стихийным, не фиксируемым мыслью пишущего воздействием живых языковых форм на формы книжной речи. Сознательность и целеустремленность совершившихся языковых перемен не оставляют сомнений. Ф. Прокопович реформировал свой книжно-славянский язык, сознательно упрощая его и сближая с языком своей аудитории. Прокопович неоднократно высказывал мысль о необходимости излагать религиозное учение на понятном для учащихся языке — на «просторечии». Но «просторечие» Прокоповича — это не простая разговорная речь народа, это простой славянский язык. И наибольшего успеха в реализации своего замысла Прокопович достиг именно в проповедях, чему немало способствовали их яркая политическая заостренность и широкие просветительские тенденции, побуждавшие автора к усилению «простого» начала.

Другим направлением правки книжно-славянского языка, о необходимости которого говорил Ф. Прокопович, было уничтожение славянской архаики и иноязычных (преимущественно греческих) элементов и конструкций в церковнославянском синтаксисе: «Ветхое Славенскаго языка грамматическое учение весьма есть грубое, как в нарѣчиях многих, так и в складѣ рѣчей. Нарѣчия обрѣтаются обетшалыя, которыя давно уже износились и стали онучами, да и чтущим неудоборазумѣнныя, напримѣр: *елма, колма, врѣсноту, убо, непщую, потщаваю, плищ, щуди, голимый* и проч., а склады бывают стропотные, наипаче эллинизмы, то есть нарѣчия не природѣ славенскаго, но по природѣ эллинскаго языка сопрягаемыя, напримѣр: *учуся грамотѣ*, вмѣсто *грамоты*, понеже еллинское σπουδέω *учуся*, сопрягается с дательным падежем; також и слѣдующия: *прииде, во еже освятити*, а для чего бы не тако: *прииде освятити*, а *во еже* лишнее и темность наводит; *надѣюся быти прощению*, а не лучше ли: *надѣюся, яко будет прощение* и проч.»[48]

Направление изменений книжно-славянского языка у Прокоповича определилось как сближение с языком *русским*. Однако разрушение строгих канонов книжно-славянской грамматики, открывшее доступ народно-разговорным формам, способствовало проникновению в тексты не только русских, но и украинских языковых особенностей. В какой-то мере грамматические украи-

[48] Описание документов и дел Архива св. Синода. СПб., 1878. Т. III, прилож. VIII, стлб. XXV—XXVI.

низмы в текстах 20—30-х годов более разнообразны, чем в текстах киевских проповедей, написанных на строгом книжно-славянском языке (ср. употребление безлично-предикативных страдательных причастий, украинских форм согласования с числительными *два, оба*, специфических украинских форм Зв. п. типа *царевичу, мерзосте* и т. д.). Характерно, что все эти черты, равно как украинизмы более раннего периода (украинское давнопрошедшее, конструкция *по* с М. п. — «*провиант по гладѣ довольный*», употребление прямопереходных глаголов с Р. п. — «*вопросим новаго завѣта*» и т. п.) не были предметом русской типографской справки. Распространение украинских грамматических черт в русской книжности Петровской поры было очень значительным и реакция на эти черты со стороны русских грамматистов была заметно ослабленной.[49]

Однако язык Прокоповича 20—30-х годов чрезвычайно далек и от западнорусской «мовы»,[50] и от книжно-славянского языка украинского извода.[51]

Но столь же неверно было бы назвать этот язык русским, даже имея в виду тот книжный вариант русского языка, который существовал в Петровскую пору и в 30-е годы (ср. П. Шафиров, А. Кантемир, М. Бестужев, «Примечания в Ведомостях»). Язык проповедей Прокоповича остается книжно-славянским языком в упрощенной и одновременно русифицированной редакции. И дело не только в том, что некоторые специфические особенности книжно-славянской грамматики в языке Прокоповича остаются неизменными (ср. склонение атематических глаголов, формы повелительного наклонения, склонение имен м. и ср. р. мягкой разновидности, склонение личных местоимений, употребление звательной формы и др.). И не только в том, что утраченные в регулярном употреблении 20—30-х годов черты и формы вновь возникают — от случая к случаю — в текстах этих лет без сколько-нибудь ощутимых стилистических заданий: славянские формы нейтральны в славянском контексте. Такая постоянная «подготовленность» языка к появлению славянских форм и слов создавалась, в частности, широким использованием в проповедях текстов из церковных книг в прямых и глухих цитатах, изложениях, реминисценциях.

---

[49] Оценивая «петербургские украинизмы» Прокоповича, следует, видимо, учитывать специфику лингвистики «отправителя» и лингвистики «получателя» языка. Для русской аудитории с ее культурно-языковыми навыками форма зв. п., форма В.-Р. личных местоимений *мене, тебе, себе*, членные формы местоимений ж. и ср. р. *тая, тое*, форма *очима* и др., зачисляемые некоторыми украинскими лингвистами в фонд «украинизмов» Прокоповича, воспринимаются как привычные особенности языка церковных книг на фоне других подобных.

[50] Ср. типичный образец «мовы» у Прокоповича — «Разговор» гражданина с селянином и дьячком», «Разговор тектона с купцом».

[51] Ср. наиболее яркое произведение такого рода у Прокоповича — трагедокомедия «Владимир».

Основную характеристику языкового типа в 20—30-е годы начинает принимать на себя лексика.

«Реформа» книжно-славянского языка, осуществленная Прокоповичем, имела для русского языка весьма ощутимые последствия. Язык Прокоповича (20—30-х годов), предельно сблизившийся с русской книжной речью, оказывает на нее существенное влияние, являясь в какой-то мере эталоном грамматической правильности, синтаксической организованности, лексического богатства и разнообразия.

Но на судьбы самого книжно-славянского языка как языка широкого культурного общения эта реформа оказала действие прямо противоположное. Помогая формированию русского культурного языка, «опрощенная» вариация славянского языка отрицала саму себя и вскоре обнаружила свою ненужность.

Однако опыт сосуществования русских и славянских языковых начал в рамках одной структурной организации оказал несомненное влияние на мысль последующих реформаторов языка, Ломоносова в частности.

Уязвимым местом «простого» славянского языка Прокоповича оказалась его стилистическая неупорядоченность. Особенно ярко это обнаружилось именно в проповедях, которые по самой сути своей являли широкий спектр эмоционально-экспрессивных средств. Стилистическая система Прокоповича, изложенная им в Киеве в самом начале века, разработана на основе книжно-славянского языка, его стилистических возможностей, синонимики, шкалы стилистических значимостей слов и форм. В «простом» славянском появилось множество новых слов и форм, которые не были стилистически соотнесены со старым фондом. Прежняя стилистическая стратификация была нарушена, новая еще не установилась. Отсюда резкие стилистические контрасты, нарушение стилистического единства у позднего Прокоповича, что писателями последующих десятилетий воспринималось как «погрешности в чистоте слога». Язык ранних проповедей Прокоповича этими погрешностями не страдает.

Необходимость стилистического разбора славянских и русских языковых средств — очень важный, хотя и негативный вывод из практики функционирования «простого» славянского языка. Может быть, поэтому реформа Ломоносова была прежде всего стилистической.

Г. Н. Акимова

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРАТОРСКОЙ ПРОЗЫ XVIII ВЕКА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОХВАЛЬНЫХ СЛОВ ЛОМОНОСОВА И СУМАРОКОВА)

1.0. Вопрос о соотношении поэтических и прозаических жанров русской литературы XVIII в. обычно решался в пользу поэзии. Становление русской художественной прозы шло сложным путем и находилось в большой зависимости от двух существенных факторов. Первый из них — становление самих жанров художественной литературы послепетровского периода, периода русского классицизма. Второй — история и становление русского литературного языка на национальной основе.

Считая XVIII век по традиции «поэтическим», многие исследователи обращаются тем не менее к прозаическому наследию века как с литературоведческих, так и с лингвистических позиций.[1] Общим у филологов является внимание к прозаическим жанрам как художественным, так и нехудожественным (деловая, публицистическая, эпистолярная, научная, научно-популярная проза), ибо последние играли существенную роль в становлении русского литературного языка вообще. «Русская проза XVIII в. началась с газеты, с ораторского „слова", с делового документа, с петровских указов и „предисловий" к различным книгам... Вот почему для прозы XVIII в. характерна публицистичность».[2]

1.1. Ораторская проза XVIII в. представляет одну из ярких разновидностей литературы своего времени, разновидность, которая имела глубокие и прочные традиции, восходящие как к античному, так и к древнерусскому красноречию. История русского красноречия свидетельствует о различных этапах подъема этого жанра, а также его спада в различные периоды истории русской литературы. XVIII век отмечен как век безусловного подъема ораторского искусства (что было осознано и оценено самими пи-

---

[1] См., напр., двухтомное издание «Русская проза XVIII в.» (М.—Л., 1950), а также широкое привлечение прозаических источников в картотеке Словаря XVIII в. (Словарь русского языка XVIII в. Проспект. Л., 1977, с. 11—15).

[2] *Макогоненко Г. П.* Русская проза XVIII века. — В кн.: Русская проза XVIII века. Т. I. М.—Л., 1950, с. IV.

сателями конца века, например Н. И. Новиковым и А. Н. Радищевым), утратившего на протяжении XIX в. свое значение.[3] Но сам ораторский жанр был неоднородным и изменялся на протяжении самого XVIII столетия. Зародившись в недрах церковной письменности, ораторское красноречие еще и в первой трети XVIII в. (представленное именами Ф. Прокоповича, С. Яворского, Г. Бужинского и др.) и в елизаветинскую эпоху (начало 40-х годов) продолжало оставаться жанром конфессионального содержания.[4] Однако уже с начала века в тематику проповедей и Слов все больше проникали элементы политического и исторического характера.[5] Все это постепенно делало русское красноречие XVIII в. светским, превращало церковную проповедь в литературное явление и ставило ее в ряд художественно-публицистических жанров. Но форма оставалась конфессиональною, и требовался один, и очень важный, шаг для полного превращения церковной проповеди в ораторский жанр светского искусства.

Такой шаг и был сделан в середине XVIII в. Ломоносовым. «Ломоносову принадлежит честь создания ораторского искусства, точнее, русского светского ораторского искусства как в теории, так и на практике».[6] Исследователи неоднократно отмечали выдающуюся роль созданной Ломоносовым «Риторики» для развития русского литературного языка и художественной речи вообще.[7] Анализируя «Риторику» Ломоносова, П. Н. Берков показывает отрицательное отношение Ломоносова к духовному ораторству, что проявляется: 1) в материалистической направленности «Риторики», 2) в том, что она написана на русском, а не на церковнославянском языке, 3) в том, что в ней допускается любая «высокая», а не только религиозная тематика ораторского произведения. Теоретические положения ломоносовской «Риторики», таким образом, позволили ораторскому искусству стать светским. И речевая практика быстро воспользовалась этим.

---

[3] *Берков П. Н.* Ломоносов об ораторском искусстве. — В кн.: Академику Виноградову к его шестидесятилетию. М., 1956, с. 71.

[4] См. Словарь русского языка XVIII в. Проспект, с. 14; *Почетная В. В.* Петровская тема в ораторской прозе начала 40-х годов. — В кн.: Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века. «XVIII век», в. 9. Л., 1974, с. 334—335.

[5] *Кочеткова Н. Д.* Ораторская проза Феофана Прокоповича и пути формирования литературы классицизма. — В кн.: Проблемы литературного развития в России первой трети XVIII века, с. 50—81.

[6] *Берков П. Н.* Ломоносов об ораторском искусстве, с. 71.

[7] *Берков П. Н.* Ломоносов и проблема русского литературного языка в 1740-х годах. — Изв. Отд. обществ. наук АН СССР, 1937, № 1, с. 224; *Виноградов В. В.* Вопросы синтаксиса русского языка в трудах Ломоносова по грамматике и риторике. — В кн.: Материалы и исследования по истории русского литературного языка, т. II, М., 1951, с. 211—216; *Ефимов А. И.* Ломоносов и русский язык. М., 1961; *Вомперский В. П.* Стилистическое учение М. В. Ломоносова и теория трех стилей. М., 1970.

В форму Речей или Слов облекаются публицистические, историко-политические и даже научные произведения в течение всей второй половины XVIII в. Однако такая широта тематики не разрушала самой формы Речей и Слов, построенных по законам риторической эстетики и представлявших вследствие этого ораторский текст как специально обработанную разновидность художественной речи своего времени.

2.0. Большой интерес представляет ораторская практика выдающихся поэтов и художников слова XVIII в. Надо сказать, что ее анализ существенно отстает от исследования теоретических трудов по ораторскому искусству. Очевидно, для этого есть некоторые причины. Теоретическая разработка риторических проблем в XVIII в. давно стала предметом тщательного изучения в связи с проблемами нормализации русского литературного языка, а также спорами о жанрах и стилях литературы XVIII в., начавшимися в самом же XVIII в. и протекавшими бурно и полемично. Невнимание к ораторскому жанру середины века можно объяснить и тем, что в это время процветала поэзия «высокого слога» и эстетические разногласия были сосредоточены преимущественно вокруг нее.[8] Третьей причиной можно считать известную немногочисленность произведений ораторского искусства по сравнению с поэтическим наследием тех же авторов.

2.1. В данной работе анализируется ораторская проза двух выдающихся поэтов XVIII в. — Ломоносова и Сумарокова. Оба они подходили к красноречию как к литературному жанру. Ломоносовым написаны различные ораторские произведения, но здесь взяты Слова не научного содержания («Слово о пользе химии», «Слово о рождении металлов», «Слово о явлениях воздушных»), а похвальные и благодарственные, ибо они наиболее ярко представляют специфику светского ораторского искусства: «Слово похвальное Елизавете Петровне 1749 г.» (Сл. Е. П.), «Слово похвальное памяти Петру Великому 1755 г.» (Сл. П. В.), «Слово благодарственное Елизавете Петровне 1760 г.» и «Слово благодарственное на освящение Академии художеств 1764 г.» (Сл. бл.).[9] Сумароковым создано восемь похвальных и торжественных Слов, шесть из которых рассмотрены нами.[10]

Объектом исследования в данной статье является синтаксическая организация торжественных Слов Ломоносова и Сумарокова. Синтаксическая сторона русской прозы XVIII в. была важнейшим звеном в процессе становления русского литературного языка на национальной основе, ибо поэзия не давала возможности полной синтаксической развернутости в связи с собственно

---

[8] См. *Берков П. Н.* Ломоносов и литературная полемика его времени (1750—1765). М.—Л., 1936.

[9] Здесь и далее цитируется: *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. в 10 томах. Т. 8. М.—Л., 1959.

[10] Далее использовано «Полное собрание всех сочинений Александра Петровича Сумарокова...» Ч. 2. М., 1787 (Сум. СС).

версификационными ограничениями.[11] Существенную роль в становлении письменного литературного синтаксиса играло и развитие языка деловых и особенно научных произведений, однако особые задачи стояли перед различными видами складывающейся художественной прозы. В. В. Виноградов писал: «В области синтаксиса литературно-языковая нормализация половины XVIII в. была сосредоточена почти исключительно на формах высокого слога»,[12] ибо за ними была традиция церковно-книжной риторики, которая под латинским, немецким и польским влиянием достигла «блеска и изощренности».

2.2. Синтаксические конструкции прозаических жанров «высокого слога» XVIII в. обычно трактуются как громоздкие и тяжеловесные. Яркое подтверждение этому прежде всего можем найти именно в ораторской прозе. Вопрос о синтаксической сложности текста — важный и малоразработанный. Сложность текста — это понятие грамматикостилистическое, ибо связано с восприятием текста, с одной стороны, и с определенными синтаксическими конструкциями, с другой. Решая вопрос о синтаксических конструкциях в связи со сложностью текста, исследователи подходят к нему с различных сторон, и здесь нет единства мнений. Однако несомненными оказываются два общих направления анализа — количественное и качественное. Нами материал был обследован в двух направлениях: 1) был вычислен размер предложений в Словах Ломоносова и Сумарокова и 2) рассмотрены способы развертывания и расширения предложений.

Связь размера предложения и синтаксической сложности представляется очевидной: «Допустимо думать, что сложность речи увеличивается с увеличением числа знаменательных слов, приходящихся на одно простое предложение, и с увеличением числа простых предложений, приходящихся в среднем на одно самостоятельное предложение («от точки до точки»)».[13]

Средние размеры предложений в Словах Ломоносова и Сумарокова представлены в таблице (см. с. 51).

Размер предложения исчислялся в словах, под которыми понимается последовательность букв между двумя пробелами, а цельное предложение — последовательность слов от точки до

---

[11] См. *Акимова Г. Н.* О некоторых особенностях поэтического синтаксиса. — ВЯ, 1977, № 2, с. 100—108.

[12] *Виноградов В. В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX веков. М., 1938, с. 111. В. В. Виноградов впоследствии неоднократно указывал на необходимость внимательного изучения различных грамматических форм «высокого слога», в том числе специфики синтаксиса. См. *Виноградов В. В.* Некоторые вопросы и задачи изучения истории русского языка XVIII века. — В кн.: Тезисы докладов на совещании по проблемам изучения русского литературного языка нового времени. М., 1960, с. 4.

[13] *Головин Б. Н.* Язык и статистика. М., 1971, с. 148.

Предложение	Ломоносов			Сумароков
	Сл. ЕП	Сл. ПВ	Сл. бл.	6 похв. сл
Цельное	33,9	22,3	26,2	21,7
Сложное (структура 3)	44,6	33,4	31,1	25,2
Простое самостоятельное (стр. 2)	17,5	12,3	19,6	13,4
Простое в составе сложного (стр. 1)	12,4	10,7	11,6	8

точки.[14] Исчислялись средние размеры предложений как цельных, так и дифференцированно в зависимости от статуса предложения: предложение простое в составе сложного (структура 1), простое самостоятельное (структура 2), сложное предложение (структура 3). Сопоставление размеров предложений в ораторской прозе Ломоносова и Сумарокова свидетельствует об их значительной линейной протяженности, не уступающей, а подчас и превышающей протяженность предложений в нехудожественной прозе тех же авторов, например научной. Заметно различие в размерах предложений в ораторской прозе обоих авторов: предложения у Ломоносова почти во всех случаях, особенно в «Слове Е. П.» и «Словах благ.», длиннее, чем у Сумарокова. Представленные в таблице средние размеры, естественно, больше вероятных (частотных). Наиболее частотные размеры, например в «Слове Е. П.» Ломоносова, представлены следующими данными: 1 структура — 5—10 слов, 2 структура — 9—15 слов, 3 структура — 15—35 слов. Соответственно у Сумарокова: 4 — 7 слов, 8—10 слов, 11—20 слов. Наиболее частотные размеры мы сравнили, взяв крайний, наиболее протяженный линейный вариант предложения, то есть именно в «Слове Е. П.». Почти по всем трем структурам ломоносовские предложения в полтора раза длиннее сумароковских. Подобное различие проявляется и в стилистическом воздействии: текст Ломоносова оказывается достаточно громоздким. См.:

«Не снисканием многословного мыслей распространения увеличено, не витиеватым сложением замыслов или пестрым переложением речений украшено, ниже риторским парением возвышено будет сие мое слово, но все свое пространство и величество от несравненных свойств Монархини нашей, всю свою красоту от прекрасных Ея добродетелей и все свое возвышение от устремления к Ней искренней ревности примет, ибо приносится благо-

[14] Более подробно аппарат расчета описан в нашей статье «Размер предложения как фактор стилистики и грамматики (на мат-ле русского литературного языка XVIII века)». — ВЯ, 1973, № 2, с. 67—79. Там же представлены данные размеров предложения в других жанровых разновидностях русского литературного языка XVIII в.

дарение Государыне благочестивейшей — свидетельствуют созидаемые и украшаемые храмы Господни, пощения, молебства и трудные путешествия благоговения ради; приносится благодарение Государыне мужественной — свидетельствуют над внутренними и внешними врагами Ея преславные победы; приносится благодарение Государыне великодушной — свидетельствуют прощенные преступления внутренних и продерзости внешних неприятелей и кроткое наказание Ея злодеев; приносится благодарение Государыне премудрой — свидетельствуют прозорливо предприемлемые учреждения, внутреннее и внешнее спокойство утверждающие; приносится благодарение Государыне человеколюбивой — свидетельствуют матернее к подданным Ея снисходительство и возлюбленная к ним кротость; приносится благодарение Государыне премилосердой — свидетельствует бесчисленное множество свобожденных от смерти и данный Ей от бога меч на казнь повинных, кровию еще не обагренный; приносится благодарение Государыне прещедрой — свидетельствует преизобильное снабдение верности, избыточествующее заслуг награждение, споможение добродетельной скудости и восстановление несчастием разоренных» (Сл. Е. П., с. 239).

Однако и в Словах Сумарокова могут быть отмечены длинные и при этом довольно запутанные предложения. См.:

«Сию силу видим мы увенчанну божественною щедротою в образе Великой Екатерины, а низвергаемое ею невежество ослабленною скипетром Российской Самодержицы, немогуще сопротивляться намерениям и начинаниям ея, мурчит только противу тех, которыя исполняют ея волю, и покояся на праздности, утесняема не основательным самолюбием, еще услаждается и презренна презирает достоинство, исторгающее у него клюку, на которой оно посреди почитателей своих опирается, употребляя оставшие силы свои ко слабому своему отомщению, и устремлением сим чая умножати извергаемые на достоинство свое яды, умножает муку свою и славу достоинства, час от часу более приближаяся к отчаянию, влекома ко праведному своему наказанию, сама себе оное не могущая удержатися от ярости своей устареваюащая и усугубляющая» (Слово на открытие императорской Академии художеств, с. 258).

Сравнение средних и наиболее частотных размеров предложения у Ломоносова и Сумарокова наводит на следующие соображения: 1) почему ломоносовские предложения в среднем протяженнее, 2) как синтаксически «устроены» предложения у обоих авторов и за счет чего увеличивается масса предложения в ораторской прозе как Ломоносова, так и Сумарокова?

2.3. На первый вопрос можно ответить, только учитывая эстетические установки двух выдающихся поэтов и теоретиков художественного слова XVIII в. Их непримиримые позиции в области эстетики языка, противопоставление их взглядов на природу «украшения» слова, с одной стороны, и ясности изложения, с дру-

гой стороны, многократно отмечались в филологических исследованиях.[15] В этих работах показано, как Ломоносов и Сумароков (частично в силу своего различного образования) имели разную эстетическую ориентацию. Ломоносов, воспитанный на античных и церковнославянских литературных образцах, был сторонником орнаментальной художественной пышности. Основа же конкретной поэтики Сумарокова, направленной против ломоносовской пышности и великолепия, состояла в требовании простоты и естественности поэтического языка. «Витийство лишнее природе злейший враг», — пишет Сумароков. Его же собственный язык как в области синтаксиса, так и в области лексики, отмечал В. В. Виноградов, стремился сочетать формы живого русского языка с «европеизмами», ориентируясь преимущественно на французский язык. Подобное воздействие французского языка на русский литературный язык в XVIII в. отмечает Н. А. Мещерский, называя это явление синтаксической индукцией, которая состоит не в прямом заимствовании или калькировании синтаксических конструкций, а в активизации в собственном грамматическом строе уже имевшихся, но в достаточной мере в нем не проявлявшихся синтаксических возможностей.[16]

Рассмотрение теоретического спора между Ломоносовым и Сумароковым обычно проводится на поэтическом материале и чаще всего касается лексического уровня, словоупотребления, типов эпитетов и метафор. Синтаксический уровень требует обращения к художественной прозе обоих авторов, ибо синтаксическая организация од Ломоносова и Сумарокова оказывается близкой, несмотря на различие в эстетических установках в силу специфики жанра, поэтического языка.[17]

В работах Г. А. Гуковского дана оценка художественного красноречия Ломоносова. Увязывая теоретические предпосылки об «украшении» периода, изложенные Ломоносовым в «Риторике», с его ораторской практикой, Г. А. Гуковский сравнивает развернутое предложение Похвальных Слов Ломоносова с дворцами Растрелли по грандиозности, обилию деталей, симметричности их расположения. Слова, группы слов и предложения, пи-

---

[15] См., напр.: *Берков П. Н.* 1) Ломоносов и литературная полемика его времени; 2) Проблема литературного направления Ломоносова. — В кн.: Литературное творчество Ломоносова. Исследования и материалы «XVIII век», в. 5. М.—Л., 1962, с. 26—29; *Гуковский Г. А.* Русская литература XVIII века. М., 1939; *Горшков А. И.* История русского литературного языка. М., 1969, с. 224.

[16] *Мещерский Н. А.* К вопросу о взаимодействии языков на уровне синтаксиса. — В кн.: Вопросы грамматического строя и словообразования в русских народных говорах. Петрозаводск, 1976, с. 86—87. Подобные явления отмечаются в XVIII в. на уровне лексики. См. *Биржакова Е. Э., Войнова Л. А., Кутина Л. Л.* Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования. Л., 1972, с. 5.

[17] *Акимова Г. Н.* О некоторых особенностях поэтического синтаксиса, с. 102.

шет Г. А. Гуковский, всячески распространены: «Вообще характерной чертой его теории является стремление к изобилию; *ему нужно многое, а не достаточное* (курсив наш, — *Г. А.*). Ломоносов дает практические советы, как создавать обширную фразу-период. Каждое существенное слово-тема должно обрасти целой сетью зависимых словесных тем, привлеченных по ассоциациям воображения, не столько поясняющих, сколько служащих впечатлению всеобъемлющей грандиозности образа и мысли поэта, материалом для построения правильного рисунка разветвленной фразы, создающих впечатление пышности, всеобъемлющего величия».[18] Г. А. Гуковский связывает подобные тенденции со всей эстетической концепцией Ломоносова, с его склонностью к титаническим образам, склонностью, в которой выражаются мироощущение поэта и его политические воззрения. Специальный анализ организации периодической речи в похвальных словах Ломоносова показал тщательную эстетическую организацию всех элементов его структуры — синтаксических, морфологических и лексических.[19]

3.0. Синтаксическая организованность текстов Похвальных Слов Ломоносова состояла не только в наличии периодической формы речи. Развертывание предложения имело свои закономерности, которые отличались от принципов развертывания предложения как в нехудожественной прозе (канцелярской, деловой, эпистолярной), так и в поэтической речи. Показатели размеров предложения рациональнее истолковать посредством их качественной интерпретации.

3.1. Увеличение массы предложения связано с принципами его развертывания и расширения. Элементы предложения находятся в определенных статусных отношениях друг с другом, которые можно рассмотреть в трех измерениях: а) уровень синтаксической иерархии, б) ширина соподчиненного куста, в) ширина однородного куста.

а) Уровни синтаксической иерархии представляют цепочку последовательного подчинения в пределах предложения независимо от линейного расположения, которое мы в данном случае не учитываем, оставляя в стороне «больной вопрос» порядка слов XVIII в.[20] Ораторская проза Ломоносова дает самые высокие критические меры в этом виде развертывания предложения. Так, встретилось предложение с 12 синтаксическими уровнями:

---

[18] *Гуковский Г. А.* Ломоносов-критик. — В кн.: Литературное творчество Ломоносова. Исследования и материалы. М.—Л., 1962, с. 86 (курсив наш, — *Г. А.*).

[19] *Молоткова Г. Н.* Период в языке Ломоносова. — В кн.: Развитие синтаксических конструкций в русском литературном языке XVIII века. Казань, 1972, с. 30—37.

[20] Способы подсчета уровней иерархии, основанные на графическом представлении предложения как дерева зависимостей, изложены нами в статье «Уровни синтаксической иерархии как принцип развертывания предложения». — Slavica slovaca, 1974, № 1, с. 74—85.

«Нынешний день умножает ясные доказательства неусыпного попечения вашего о приращении общих удовольствий торжественным освящением сего важного учреждения, простирающегося к украшению отечества, к увеселению народа, ко введению в России дивных дел, почитаемых издревле от всего света, к похвальному употреблению домашних избытков, к поселению в России трудолюбия и ко всеконечному истреблению невежества» (Сл. бл., с. 807).

Наиболее частотными в ораторской прозе Ломоносова являются трехуровневые предложения (как и в ораторской прозе Сумарокова и в других, например научных, произведениях обоих авторов), но доля трехуровневых предложений на 20% ниже, чем в нехудожественных жанрах за счет большего количества предложений с уровнями иерархии, равными 4 и 5.

б) Второе измерение — ширина соподчиненного куста — представляет количество одновременно подчиненных одному компоненту предложения словоформ. Эти словоформы не находятся в сочинительных отношениях. В любом тексте самыми нагруженными являются глагольные и субстантивные группы (кусты), ибо именно эти классы слов (глаголы и существительные), особенно глаголы, способны окружаться зависимыми словоформами. Увеличение соподчиненной группы существенно увеличивает и размер предложения.

Статистическая обработка материала показала естественную наибольшую загруженность глагольно-финитного куста, свидетельствующую об информативной насыщенности текста. Если в деловой и научной прозе наиболее частотное значение ширины глагольно-финитного куста равно 2,[21] то в художественной прозе и Ломоносова и Сумарокова средняя его ширина равна 1. Это значит, что наиболее частотными в ораторской прозе являются предложения, где финитный глагол имеет один зависимый компонент.

Масса предложения увеличивается в ораторских текстах благодаря ширине субстантивных кустов. Наиболее частотная мера ширины субстантивного куста равна 1 (в нехудожественных текстах Ломоносова и Сумарокова и в ораторской прозе), но в Похвальных Словах Ломоносова эта частотная мера на 10% ниже из-за большего количества существительных с двумя, тремя и даже четырьмя зависимыми. Во многих случаях эти распространители не являются информативно необходимыми, и их употребление подчинено, видимо, ритмико-художественным задачам. См.:

«Сему (1) священному (2) церкви (3) святой *гласу* согласуется всех подданных желание» (Сл. Е. П., с. 243). «...когда помыслим о самом (1) великом (2) сем (3) *даре*, врученном от

---

[21] Об организации и определении ширины соподчиненных кустов подробнее см. в нашей статье «Ширина соподчиненного куста как принцип развертывания предложения». — Československá rusistika, 1973, № 5, p. 199—208.

премудрой и щедрой благодетельницы» (Сл. бл., с. 808). (Пронумерованы зависимые от существительного компоненты).

Характерно, что в ораторской прозе употребление субстантивов с нулевой шириной, то есть без распространителей вообще, составляет менее 10%, а в одах даже 45%. Именно здесь и выявляется один из основных источников наполнения массы предложения — употребление существительного почти обязательно сопровождается распространением. А если учесть, что в ораторской прозе Ломоносова большое количество уровней иерархии в простом предложении и существительные, в отличие от финитных глаголов, могут встречаться на всех уровнях, то наполнение Похвальных Слов субстантивными распространителями станет объяснимым. Кроме того, большое количество уровней иерархии ведет к нарушению естественной пропорции количества самих глагольно-финитных и субстантивных кустов в предложении. Если в деловой, эпистолярной и научной прозе соотношение глагольно-финитных и субстантивных кустов выглядит как 1 : 1,5 или 1 : 1,2, то в ораторской прозе Ломоносова как 1 : 3.

Субстантивные кусты в ораторской прозе Сумарокова сходны с ломоносовскими тем, что существительные тоже, как правило, имеют один распространитель, и тоже не всегда информативно необходимый (см. употребление местоименных распространителей в приведенном на с. 52 примере из Слова Сумарокова), однако у Сумарокова меньший процент составляют субстантивные группы с шириной, превышающей единицу.

в) Значительная загруженность предложения в ораторской прозе (в отличие от нехудожественной) происходит из-за большой ширины однородного куста. Употребление паратактических средств связи как в простом предложении на различных уровнях синтаксической иерархии, так и в сложном — одна из основных примет расширения предложения на определенных этапах развития синтаксиса различных национальных языков.[22]

Обследованные однородные группы простого предложения показывают, во-первых, высокую меру их ширины, достигающую в ораторской прозе в критических случаях 13. См.: «Представил бы я Петра под именем Великого (1), делами большого (2), влиянною себе от бога премудростью просвещающего (3) Россию и мужеством вселенную устрашающего (4), единою рукою меч и скипетр обращающего (5), к художествам простирающего (6) другую, правлением всех земных монархов, трудами рабов своих превосходящего (7), искореняющего (8) невежество и науки насаждающего (9), наполняющего (10) новыми полками землю и

---

[22] В. Г. Адмони отмечает это явление для немецкого литературного языка XV—XVI вв.: «В художественных произведениях многократные повторения однородных членов служили важным средством создания ритмической весомости и вообще эмоционального напряжения» (Развитие структуры предложения в период формирования немецкого национального языка. Л., 1966, с. 64).

море новым флотом покрывающего (11), военные свои законы собственным примером утверждающего (12) и славу свою со славою отечества до небес возносящего (13)» (Сл. Е. П., с. 240).

См. также на уровне сложного предложения: «Мы ныне только с радостным удивлением смотрим, по каким путям он шествовал (1), под которым деревом имел (2) отдохновение, из которого источника утолял (3) жажду, где с простыми людьми, как простой работник, трудился (4), где писал (5) законы, где начертал (6) корабли, пристани, крепости и где, между тем, как приятель, обращался (7) с подданными своими» (Сл. П. В., с. 610).

Особенностью ораторской прозы Ломоносова, в отличие от нехудожественной, является не только высокая частотность употребления однородных групп и их значительная ширина, но и отягощенность каждого однородного компонента, в свою очередь, зависимыми компонентами как по уровням синтаксической иерархии, так и по ширине соподчиненных кустов. Синтаксическое устройство ораторской прозы Сумарокова характеризуется меньшей шириной однородного куста и меньшей его отягощенностью. Обильное использование однородности в ораторской прозе — одна из традиций риторического искусства, которыми прекрасно владел Ломоносов и которые он, хотя и в разрозненном виде, пропагандировал и рекомендовал в тексте «Риторики».

Таким образом, в ораторской прозе развитие предложения достигается большим количеством низких уровней иерархии, преобладанием широких соподчиненных субстантивных групп и однородных групп такого состава, которые в других жанрах не получают столь значительной ширины и отягощенности (однородные причастные обороты, однородные подлежащие). Такой способ организации предложения ведет к синтаксической и стилистической статичности, к несоответствию словесной и информативной насыщенности. Подобная синтаксическая организация текста, имевшая художественные задачи и эстетическую ценность, была противопоставлена синтаксической организации нехудожественной прозы и поэзии, где предложение развертывалось иными путями даже в случае близких размеров предложения: развитием ширины глагольно-финитного куста (деловая, эпистолярная проза) или сокращением уровней иерархии и ширины соподчиненности групп (в поэзии).

3.2. Синтаксическая система ораторской прозы Сумарокова не была столь четко организована, как у Ломоносова. Наблюдаются сокращения синтаксической развернутости отдельных синтаксических звеньев, особенно на базе подчинительных связей, что и объясняет меньший размер предложения в Похвальных Словах. Это прямо зависело от эстетических установок Сумарокова. К середине XVIII в. уже существовали по крайней мере две традиции красноречия, которые и служили истоками для ораторского искусства Ломоносова и Сумарокова.

Риторическая выучка Ломоносова безусловно связана с античностью, с латино-немецкими ораторскими приемами. Текст его «Риторики» наполнен цитатами из античных авторов (по подсчетам А. В. Западова, Ломоносов обращается к текстам классиков, особенно к Цицерону, 76 раз). Ломоносов упражнялся в сочинении Слов на латинском языке. Античная же традиция учит «украшать», развивать Слово.

Античная традиция красноречия усваивалась Ломоносовым и через древнерусское ораторское искусство. И. П. Еремин, много изучавший древнерусское красноречие, выделял XII век как период подъема русского красноречия. Анализируя творчество Кирилла Туровского, одного из ярких представителей эпидиктического (торжественного) красноречия, И. П. Еремин показывает основные принципы его ораторского мастерства, восходящие, в свою очередь, к искусству таких греческих мастеров риторики, как Иоанн Златоуст, Григорий Назианзин, Епифаний Кипрский. Это декламация, основанная на так называемой амплификации. При этом та или иная тема всегда словесно варьируется и распространяется. Там, где в обычной речи достаточно одного слова, у Кирилла Туровского их 5, 10, 15. Успех Кирилла Туровского определялся не столько содержанием речей, сколько пышным великолепием их внешнего оформления.[23] В эпоху, более близкую Ломоносову, можно назвать Симеона Полоцкого, поэта и оратора, который по принципам эстетики соприкасается с Ломоносовым. Хотя в синтаксисе произведений Симеона Полоцкого и отмечаются элементы простого и ясного языка, в целом стиль его произведений по своей книжности принадлежал к особому изводу славянского книжного языка, который перешел в наследство из XVII века в XVIII век.[24] Характеризуя гиперболы Симеона Полоцкого, И. П. Еремин связывает их с мировоззрением поэта: «Вся картина мироздания привлекалась Симеоном для изображения величия Российского государства, для характеристики его исторического предначертания».[25] Подобная оценка напоминает оценку поэтики Ломоносова Г. А. Гуковским и В. В. Виноградовым. Итак, истоки ломоносовского красноречия связаны с той линией в развитии ораторского искусства, которая культивировала эстетическое словесное развитие темы, разветвленную фразу, гиперболы не только в лексике, но и в синтаксисе. Не случайно и синтаксическая организация обследованных нами его

---

[23] *Еремин И. П.* 1) Ораторское искусство Кирилла Туровского. — В кн.: *Еремин И. П.* Литература древней Руси (этюды и характеристики). М.—Л., 1966, с. 133. 2) Лекции по древней русской литературе. Л., 1968, с. 82.

[24] См. *Коротаева Э. И.* Наблюдения над синтаксисом Григория Котошихина, Протопопа Аввакума, Симеона Полоцкого. — В кн.: Начальный этап в формировании русского национального языка. Л., 1961, с. 73; *Еремин И. П.* Русская литература и ее язык на рубеже XVII—XVIII вв. — Там же, с. 20—21.

[25] *Симеон Полоцкий.* Избр. соч. Подготовка текста, статья и комментарии И. П. Еремина. М.—Л., 1953, с. 247.

Слов это свидетельствует. Если научные сочинения, облеченные в форму Слова, по синтаксической организации вообще близки обычной научной прозе (например «Слово о явлениях воздушных»), то торжественные Слова имеют некоторые различия в синтаксической организации уже внутри самого жанра Похвальных Слов. Наибольшая длина предложения отмечается в «Слове Елизавете Петровне», произведении, как отмечают исследователи, наиболее официальном и потому подчеркнуто использующем форму риторического искусства.

Истоки же принципов ораторского искусства Сумарокова — в самом XVIII в., они сравнительно новы. Многие обращали внимание на высокую оценку, которую давал Сумароков Феофану Прокоповичу, прославленному оратору доломоносовского периода. Больше всего Сумарокова привлекала в красноречии Феофана Прокоповича ясность и простота изложения.[26] Высоко оценивая ораторское искусство, Сумароков теоретически и в этом виде литературы борется за те же эстетические принципы, что и в поэзии. Об этом он с полной ясностью говорит в статьях «О российском духовном красноречии» и «К несмысленным рифмотворцам». Однако ораторскому наследию Сумарокова повезло гораздо меньше, чем наследию Ломоносова. Воздействие Ломоносова, его авторитет как поэта и теоретика поэтики были безусловно усилены и его ораторской практикой, о чем свидетельствуют яркие, эмоциональные и в высшей степени почтительные оценки выдающихся писателей XVIII в., например А. Н. Радищева в его «Путешествии из Петербурга в Москву». Думается, что не только новое светское содержание, но и талантливо и тщательно отделанная форма, чего требовало ораторское искусство и чем в известной степени пренебрегал Сумароков, сделали Похвальные Слова Ломоносова классическими образцами художественной прозы середины XVIII в.: «И „Риторика“ Ломоносова и его художественная ораторская проза заложили основы русского светского ораторского искусства, русской художественной прозы вообще».[27]

---

[26] См. *Гуковский Г. А.* Русская литература XVIII века, с. 142—143; *Западов А. В.* Проза Петровской эпохи. — В кн.: Русская проза XVIII века, т. I, с. 8. Особенно подробно на эту тему см.: *Кочеткова Н. Д.* Ораторская проза Феофана Прокоповича..., где доказывается, что решительный противник «великолепия» и сторонник большей сдержанности, Ф. Прокопович, был ближе Сумарокову, чем Ломоносову.

[27] *Берков П. Н.* Ломоносов об ораторском искусстве, с. 81.

В. В. Замкова

ОПЫТ ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОДНОГО БАСЕННОГО СЮЖЕТА

Сюжет о воре в различных его вариантах чрезвычайно распространен в мировой басенной литературе. Очень популярен он и в русской басне XVIII в. Наше внимание привлекла одна из разновидностей этого сюжета — притча о церковном воре. Впервые в русской литературе притча с этим сюжетом приведена Ф. Прокоповичем в его «Слове о власти и чести царской» (1718 г.), представляющем собой политический трактат. Короткий рассказ здесь приведен как иллюстрация на тему о человеческой совести. Сюжет притчи прост, изложение ее лаконично. Приведем текст полностью: «Два человека вошли в церковь, не помолитися но красти: один был в честном платье, а другий в рубище и лаптях: а договор был у них, не во общую корысть бирать, но что кто захватит, то его; лапотник искуснейший был, и тот час во олтарь да на престол, и обираючи заграбил, что было там, взяла зависть другаго, и аки бы с ревности: нили ты, рече, боишися Бога в лаптях на престол святый схватился? а он ему: не кричи брат, Бог не зрит на платье, на совесть зрит».[1]

Интересен язык и стиль этой притчи, значительно отличающейся от предшествующей басенной традиции. В конце XVII — начале XVIII в. известны в России многочисленные сборники басен, являющиеся переводами притчей Эзопа. Р. Б. Тарковский заметил, что в России существовали две книжно-письменные традиции перевода басен: 1) ведущая, собственно книжная с ориентацией на ученую среду, 2) повествовательно-бытовая, характеризующаяся обращением к экспрессивным краскам повседневно-бытовой речи.[2]

Приведенную притчу Ф. Прокоповича нельзя отнести ни к той, ни к другой разновидности. Обратимся к более ранней притче, приведенной в «Панегирикосе» Ф. Прокоповича (1709 г.). «Добре и мудре изобрете некто притчу: Пес, рече, похитив негде часть мяса, егда несяше воскрай брега речнаго, узре в воде сень

[1] *Прокопович Феофан.* Слова и речи. Ч. I. СПб., 1760, с. 263.

[2] *Тарковский Р. Б.* Старший русский перевод басен Эзопа и переписчики его текста. Л., 1975.

мяса изображенную, и разумев быти иное мясо, упусти в воду, еже име, хотя похитити мнимое: и тако и мнимаго не обрете. и истинное погуби».[3] Эта притча выдержана целиком в книжной ученой традиции, о которой Тарковский пишет: «Книжный. даже ученый облик переводу Гозвинского более всего придает грамматическая структура текста: архаический круг глагольных форм и именных флексий, специфический набор служебных слов, а также неизвестных устной речи синтаксических оборотов. Формы бытовой или деловой речи практически не пробиваются сквозь плотный поток славяно-русских образований и не уловимы среди них».[4] Этот вывод целиком можно отнести к притче Прокоповича о псе, но он не подходит к притче о воре.

Отметим те общие книжно-славянские строевые особенности языка, которые выявляет Тарковский в переводе Гозвинского, в обеих притчах Прокоповича:

1) широкое использование предикативно-атрибутивных причастий: а) притча о воре — нет; б) притча о псе: *похитив, изображенную, разумев, хотя.*

2) употребление форм аориста и имперфекта: а) *рече*;[5] б) *рече, узре, упусти, обрете, погуби, несяше.*

3) одиночное отрицание вместо двойного: а) *нили .. боишися*; б) нет.

4) именительный с инфинитивом: а) нет; б) *разумев быти иное мясо.*

5) наречие на -*ѣ*: а) нет; б) *добрѣ, мудрѣ.*

Из других черт книжно-славянского языка можно отметить:

1. Инфинитивы на -*ти*: а) *помолитися, красти*; б) *быти, похитити.*

2. Форма 2 л. наст. времени на -*ши*: а) *боишися*; б) нет.

3. Форма превосходной степени прилагательного в значении сравнительной: а) *искуснейший*; б) нет.

4. Архаические служебные слова: а) *аки бы, нили*; б) *воскрай, егда, еже.*

Сравнивая строевые элементы двух притчей, следует признать, что в притче о воре Ф. Прокопович значительно упрощает грамматический строй книжно-славянского языка, отказываясь от его наиболее архаических элементов. Очень характерны и книжно-славянские лексические особенности обеих притчей. В притче о псе, несмотря на меньший контекст, лексических славянизмов больше, чем в притче о воре:

а) *пес, брег, узрети, сень, похитити, обрести, часть, рече, воскрай*;

б) *рубище, ревность, рече. зрит.*

Характер славянской лексики в обеих притчах также различен. В то время как в притче о псе все славянизмы характерны

[3] *Прокопович Феофан.* Слова и речи, с. 44—45.

[4] *Тарковский Р. Б.* Старший русский перевод. ., с. 53.

[5] Преобладают формы бессвязочного перфекта: *вошли, был, заграбил, взяла, схватился.*

лишь для книжно-славянского типа языка и имеют в народно-разговорном типе свои русские соответствия: *пес — собака, брег — берег, узрети — увидети, сень — тень, похитити — украсть, обрести — найти*, в притче о воре дело обстоит иначе. Славянизм *рубище* 'негодная, худая одежда' вообще не имеет русского соответствия, в книжно-славянском же типе языка существовал другой славянский же его синоним *вретище*, который являлся более редким, чем *рубище*: *рубище* в первой трети XVIII в. употребляется не только в памятниках книжно-славянского языка, но и в таких, которые отражают народно-разговорную стихию. Например, в сборнике пословиц Татищева находим: «В рубище часто находитца велик господин». Слово же *вретище* встречается исключительно в памятниках книжно-славянского языка. Следовательно, из двух славянских синонимов *рубище* и *вретище* Прокопович выбирает наиболее употребительный и понятный. Что касается такого книжного слова как *ревность* ('усердие, рвение'), то его употребление уже в начале XVIII в. далеко вышло за рамки книжно-славянского типа языка, оно могло употребляться в научном, деловом языке, а также в языке демократической художественной литературы.[6] Славянизмы *зрит* и *рече* широко представлены в разных жанрах письменности обоих типов языка первой трети XVIII в. Интересно также сопоставить синонимические пары в обеих притчах Прокоповича:

а) *некто* — б) *два человека*.

а) *похитити* — б) *красти, заграбити*,

т. е. и здесь в притче о воре выбирается более простой, не традиционно-книжный способ выражения.

Для стилистической манеры притчи о воре, в отличие от притчи о псе, характерно наличие стилистически значимых обиходно-бытовых форм выражения. Об этом свидетельствует очень простое синтаксическое построение предложений, преобладание простого предложения и сочинительных конструкций, а также наличие разговорно-бытовых слов и оборотов. Хотя текст притчи занимает всего 10 строк, таких разговорных слов и выражений в ней имеется значительное количество: *сбирать, лапотник, обираючи, заграбил, взяла зависть, в лаптях на престол святый схватился* ('взобрался'), *не кричи брат*.[7]

Именно этот разговорно-бытовой колорит является стилистически значимым на фоне стилистически нейтрального книжно-славянского языка. Сопоставляя черты книжно-славянского языка

---

[6] Ср.: «В Маппе продолжается с великою ревностию тамошнее внешнее крепостное строение». С.-П. Вед., 1735, № 1, с. 49. «Забыта крови твоей и слава и древность, Предков к общества добру многотрудная ревность». Кнт. Сат. II, 33.

[7] Ср.: «Как лапотника не станет, так и бархотник не встанет». ПК 1777, с. 112; «Дела клеили в столбцы и сбирали в годовые болшие столпы». ПСИ I, 97.

Слово *обираючи* не только лексически, но и по своей форме свидетельствует о разговорной его ориентации. Слово *заграбить* отсутствует

обеих притчей Прокоповича, можно сделать вывод о том, что в притче о псе (при минимальном контексте) отмечаются все характерные особенности книжно-славянского языка в его архаичном виде, а характерные элементы обиходно-бытовой речи отсутствуют. В притче же о воре при общей книжной основе языка устранены наиболее его архаичные черты как строевого, так и лексического уровня.

Особенностью же стилистической манеры притчи о воре является наличие в ней разговорно-бытовой лексики.[8]

Ф. Прокопович, не порывая связи с ведущей книжной басенной традицией, в своей собственной стилистически-языковой практике явился реформатором и в этом жанре.[9]

К сюжету о церковном воре вслед за Прокоповичем в середине XVIII в. дважды обратился А. П. Сумароков в притчах «Вор» и «Киселышк».[10] Обе они помещены в прижизненном сборнике его притчей 1762 г.: «Вор» в книге I, «Кисельник» в книге III. Первая притча «Вор» значительно отличается по фабуле и построению от притчи Прокоповича, совпадает с последней в морально-этическом плане. Притча «Кисельник» как по фабуле, так и по композиции гораздо ближе к притче Прокоповича.

Принципиальное отличие притчи Прокоповича от притчей Сумарокова заключается в том, что Прокопович, хотя и в преображенном виде, пользуется средствами книжно-славянского типа языка для оформления своей притчи, притчи же Сумарокова со-

---

в памятниках книжно-славянского языка; в САР в данном значении: 'присвоить, захватить что-л. чужое' — оно отмечено как: в п р о с т о р е ч и и. То же относится к слову *обирать*. Обращение *брат* характерно для разговорно-бытовой стихии. в САР указывается при этом значении: в о б щ е м у п о т р е б л е н и и.

[8] Что касается повествовательно-бытовой традиции перевода басен, то она совершенно не имеет ничего общего с языком притчи Прокоповича. Приведем для примера притчу, переведенную в этой манере Кашинским (текст рукописи взят из указанной выше книги Тарковского, с. 16):

«О БАБЕ С ДЕВКАМИ

Баба некая имела в дому своем девки, которыя всегда на работу рано будила, как петух запоет. Девки. что рано вставали, петуха убили, разумеючи, чтобы до дня спали без его спевания. А баба, когда уже петуха не было, девки всегда о полночи будила. Толк: много людей хотячи малаго злога уйти, к горшему злому приходят. Давняя та притча: ушол от дождя под одрину».

[9] Об общей эволюции языка и стиля Прокоповича см. статью Л. Л. Кутиной — с. 7—46.

[10] Для притчей Сумарокова вообще характерно неоднократное обращение к одному и тому же сюжету: о хитрой лисе и глупой вороне у него две притчи: «Ворона и Лисица» и «Ворона и Лиса», о летающей в небе черепахе — «Черепаха» и «Летящая черепаха», о чванливой. надувающейся лягушке — две притчи с одинаковым названием «Лягушка», о неблагодарной змее — четыре притчи: «Змея под колодой», «Прохожий и змея», «Змея и мужик». «Змея согретая» и т. д.

зданы на основе складывающегося русского национального литературного языка, и книжно-славянские элементы в них выступают как стилистические средства самого русского литературного языка. Притчи Прокоповича и Сумарокова существенно отличны по их общей повествовательно-стилистической манере.

В то время как язык притчи Прокоповича предельно точен, лаконичен, сумароковская манера изложения предполагает обилие подробностей, на первый взгляд кажущихся даже излишними. Притча Прокоповича при характерном сохранении бытовой ситуации носит отвлеченно-моралистический характер, притчи Сумарокова всегда богаты конкретными социально-бытовыми деталями. Приведем текст обеих притчей Сумарокова:

ВОР

Кто как притворствовать не станет,
Всевидца не обманет.
На Русску стать я Федра преврачу,
И Русским образцом я басню
сплесть хочу.
Большую вор купил себе свечу.
Чтоб было красть ему средь ночи
в церкви видно:
Зажег пред образом, и молится
безстыдно.
Сперьва украв
Часовник,
И став
Церковник,
Умильно чтет молитву он сию:
Услыши, Господи, молитву ты мою.
Пред коим образом свеча ево згарает,
Пред коим молится, сей образ
обдирает,
И сколько мог по том бездельник
сей украсть,
И кражи той в мешок покласть;
С тем он пошел домой: без страха
спать ложится.
Жене божится,
Что Бог ему то дал,
Благословя ево ловитву,
За умиленную молитву.
Бездельник! дело то Диявол
созидал,
Который таковым злодеям помогает.
Как Божья благодать от смертных
убегает.

КИСЕЛЬНИК

Гороховой кисель, мужик носил,
и конопляно масло:
Кисель носить ево желанпе погасло;
Так ето ремесло кисельник
подкосил;
Маленек от нево доход; ему
потребно
Другое, и другим он начал
торговать,
А именно: он начал воровать:
Такое ремесло гораздо хлебно.
Замаранная маслом тварь,
Зашла в олтарь.
Не повинуяся ни Богу ни закону,
Украл из олтаря кисельник мой
икону,
И другу своему он ето говорил:
А тот ево журил:
Кафтана твоево не может быти
гаже;
Ты весь от масла будто в саже:
Пристойно ль в олтаре в такой
одежде красть
Не меньше я тебя имею ету страсть,
И платьице почище я имею,
Да я из олтаря украсть не смею.
Кисельник отвечал: не знаешь ты
Творца,
Отъемля у меня на Вышняго
надежду:
Не смотрит Бог на чистую одежду;
Взирает он на чистыя серца.

Характерные бытовые детали не являются лишними в басенном повествовании, они несут определенную смысловую, идейную нагрузку, помогают раскрытию содержания и основной идеи. Так в первой притче своеобразным смысловым центром является такая деталь, как свеча, с нее и начинается повествование: «Большую вор купил себе свечу». И далее подробно рассказывается о его манипуляции со свечой и о тех действиях, которые

вор производит при помощи свечи. Однако конкретно описываемое действие — ограбление церкви — имеет второй план, ведь свечу перед иконой ставили как символ для снискания божией милости, чтобы он послал удачи в делах, простил грех и т. п. Этой же цели в притче служит и вторая деталь — часовник — книга, содержавшая последование церковной службы, по ней вор читает молитвы. Второй морально-этический план этой детали: все соблюдение вором внешне проявления благочестия свидетельствуют об его лицемерии.

В притче «Кисельник» основной смысловой деталью является конопляное масло. Эта деталь мотивирует обращение кисельника в церковного вора, так как носимое им на продажу конопляное масло употреблялось для зажигания лампадок перед иконами, оно же испачкало кафтан кисельника. Здесь появляется вторая мотивирующая деталь — замаранность одежды. Но замарана не только одежда, а и душа кисельника — таков второй план притчи. Притча «Вор», как и притча Прокоповича, построена на противопоставлении двух действий (*не помолитися но красти, красть — молиться*). Противопоставления в «Кисельнике» более многоплановые: честный труд (торговля киселем и конопляным маслом) противопоставляется воровству, воровство — ханжеству, наконец, одно ханжество — другому. Здесь Сумароков опять сходится с Прокоповичем.

Притча «Кисельник» сближается с притчей Прокоповича и тем, что в обеих отсутствуют морализующий зачин и концовка. Сам рассказ построен настолько убедительно, что не нуждается в авторском комментарии. Однако этими содержательно-семантическими параллелями и ограничивается сходство притчи Прокоповича с притчами Сумарокова. С точки зрения языка и стилистики между ними нет ни малейшего сходства. Как уже говорилось, языковой основой притчи Прокоповича является несколько упрощенный вариант книжно-славянского языка со стилистически значимыми вкраплениями разговорно-обиходной речи. Все же строевые элементы языка притчей Сумарокова принадлежат к системе национального русского литературного языка. Стилистически же значимыми выступают определенная группа славянизмов, а также просторечия, особым образом сочетающиеся между собою, что и составляет индивидуальную манеру басенного творчества Сумарокова.

Действительно, для обеих притчей Сумарокова характерно использование элементов разговорной речи: в притче «Вор»: *стать* 'образец', *сплесть басню, обдирает* 'грабит', *кража* 'то, что украдено, украденная добыча', *покласть* 'положить, сложить'. В притче «Кисельник»: *подкосил* 'прекратил', *маленек ..доход, хлебно* 'прибыльно, доходно', *замаранный* 'замазанный, грязный', *тварь* (о человеке), *журить* 'выговаривать, упрекать'. Все эти слова, отражающие экспрессию непринужденно-разговорной речи, сами по себе не несут экспрессии ни грубости, ни вульгарности, но

являются характерными приметами низкого стиля литературы классицизма.[11]

В притче «Вор» основной стилистический колорит создается Сумароковым прежде всего с помощью славянизмов. Сама тема притчи наталкивала поэта на этот путь. Раз речь идет о церковном воре, то вполне естественными и уместными являются и славянские аксессуары. Просторечные слова и выражения здесь выступают лишь как типическая общая принадлежность басенного слога. Жанр требовал наличия экспрессивных форм народно-разговорной речи. Столкновение «высоких» и «низких» слов — художественный принцип этой притчи, применяемый Сумароковым в полном согласии с поэтикой классицизма.

Сумароков не злоупотребляет, однако, применением просторечия, он скупо, но всегда достаточно отчетливо вводит его и объединяет со славянизмами. См. напр., в зачине притчи: «Кто как притворствовать не станет, Всевидца не обманет. На Русску стать я Федра превврачу, И Русским образцом я басню сплесть хочу». Также в концовке: разговорно-бранное обращение *бездельник* сталкивается с общим книжно-славянским колоритом. Этим, однако, не ограничивается стилистическое своеобразие притчи Сумарокова. Его индивидуально-стилистическая манера проявляется и в том, что славянские элементы не только сталкиваются, но и как бы сближаются с экспрессивно-характерными чертами просторечия. Так в строке: «На русску стать я Федра превврачу» глагол *превврачу* является как бы псевдославянизмом, по форме он необычен — вместо ожидаемой славянской формы (*превращу*) является контаминация славянского и русского элемента. Это создает возможность семантического сближения славянского глагола *превращу* 'преобразую' и русского глагола *переворочу* в его разговорно-просторечном значении: 'переверну, переделаю на свой лад'. То же происходит и с существительным *ловитва.* САР определяет это слово как славянороссийское со значением: 'действие ловящего'. Но в притче это не действие, а результат действия — по значению глагола *ловить* (которое в САР характеризуется как просторечное: 'стараться получить какую-л. выгоду'), то есть 'то, что добыто для своей пользы, добыча, корысть'. Таким образом, здесь также переплетаются славянская форма слова с просторечным его осмыслением. Слово *диявол* выступает в притче в необычной как для славянского, так и для русского языка форме. САР указывает: «*Діявол*, просто же *Дьявол*», таким образом и здесь происходит стилистическое сближение разговорно-бытовой и книжно-славянской окраски слова.

[11] В САР все эти слова в тех значениях, в каких они употреблены в притчах, не снабжены какими-либо стилистическими пометами, однако их употребление в середине XVIII в. по преимуществу ограничивается произведениями простого слога, отражающими экспрессивные краски народно-разговорной речи. Ср.: «Фетинья: Детинушка изряден, и он был бы Анюте очень на стать». Абл. Мельн., с. 39; «Подобно клевета лишь баснь одну сплетет». Трут. 1770, с. 84.

Притча «Кисельник» содержит в себе те же стилистически окрашенные лексические пласты, что и притча «Вор» (это требование жанра). Но соотношение и стилистическое употребление славянизмов и просторечия здесь иные. В этой притче Сумароков отдает предпочтение народно-разговорной стихии. Все повествование, кроме последних четырех строк, построено на экспрессии разговорно-бытовой речи. Помимо указанных выше народно-разговорных слов, Сумароков употребляет стилистически нейтральные слова в несколько необычных значениях, ориентированных на семантику разговорно-бытовой речи, например, в строке: «Кисель носить ево желание угасло» глагол *угаснуть* в сочетании с существительным *желание* не несет сам по себе никакой разговорной экспрессии, но конкретная соотнесенность с характером желания (*кисель носить*) уже переводит это сочетание в план разговорный. Или в строке: «Так ето ремесло кисельник подкосил». Глагол *подкосить* в текстах XVIII в. обычно употребляется в сочетании с названиями растений: *подкосить траву, цветок* и т. п., где выступает его прямой, стилистически нейтральный план. Переносное значение глагола *подкосить* 'бросить заниматься' переводит его в план разговорной речи. Поэтому строка «Так ето ремесло кисельник подкосил» (т. е. заставил себя покончить с ним) также идет в плане предшествующего разговорного повествования. В «Кисельнике» Сумароков не сталкивает просторечие и славянизмы. Там, где повествование носит конкретно-бытовой характер, нет ни одного славянизма. И лишь в последних четырех строках, заключающих в себе основную этическо-моральную сентенцию, появляются славянизмы. Даже слово *одежда*, в XVIII в. не имеющее никакой особой стилистической окраски, в притче Сумарокова в противопоставлении с употребленными ранее бытовым термином *кафтан* и разговорным *платьице* воспринимается как стилистический славянизм.

Завершает притчу каламбурное противопоставление: «не смотрит.. на чистую одежду — взирает.. на чистые сердца», то есть происходит противоположение реально-бытового (выраженного прямыми значениями слов) и морально-этического плана, выраженного отвлеченно-переносными значениями слов. Сумароков на примере различной стилистической обработки одного и того же сюжета показал разнообразие стилистических возможностей в пределах одного сюжета и одного жанра, в рамках одной литературной школы — русского классицизма. Таковы отражение сюжета о церковном воре в русской басенной традиции XVIII в. и воплощение его различными авторами и различными литературными школами.[12]

[12] Мы не касались басни В. Майкова «Вор», где автор говорит о церковном воре: «Он деньги у людей, в церквах он крал иконы». Этот мотив не развит ни в фабуле, ни в идейной проблематике басни Майкова. В отличие от Прокоповича и Сумарокова, которые ставят в центр внимания морально-этическую проблему человеческой совести, Майкова интересует проблема социальная: человек и закон, преступление и наказание.

А. А. Алексеев

ЭПИЧЕСКИЙ СТИЛЬ «ТИЛЕМАХИДЫ»

Судьба «Тилемахиды» несчастна: современники и ближайшие поколения не оценили ее, наука уделила ей сравнительно малое внимание. В истории ее изучения можно назвать лишь четыре имени: А. Н. Радищева, давшего серьезный стиховедческий анализ гекзаметров «Тилемахиды», А. С. Орлова, посвятившего поэме ряд благожелательных, но довольно случайных заметок, Л. В. Пумпянского, высказавшего несколько блестящих мыслей о «Тилемахиде» и Тредиаковском в составе многотомной «Истории русской литературы», З. М. Петровой, предложившей исчерпывающее рассмотрение сложных прилагательных «Тилемахиды».[1] В результате к настоящему времени можно считать решенными два вопроса в изучении «Тилемахиды» — о гекзаметре и сложном прилагательном, остались лишь намеченными следующие вопросы: художественное ли произведение «Тилемахида», то есть ставил ли Тредиаковский перед собою какие-либо эстетические задачи при работе над ней? Если это произведение художественное, то какие приемы художественности применены в нем, какова его стилистика? Если оно обладает некоторой стилистической структурой, то почему последняя осталась чужда и непонятна современникам? Пытаясь ответить на эти вопросы, мы сосредоточим внимание на языке поэмы, оставив в стороне сюжет и композицию, поскольку и то, и другое задано французским оригиналом.

1. Стихотворный перевод впервые появился в России в XVIII в. Это были стихи в «Езде в остров любви», за ними можно назвать некоторые переводы А. Кантемира, «Науку Боалову» и стихи в «Аргениде» Тредиаковского, «Гамлета» Сумарокова, «Опыт о человеке» Поповского, сатиры Горация в переводе Баркова, наконец 1-ю песнь «Похождений Телемака» Ду-

---

[1] *Радищев А. Н.* Памятник дактило-хореическому витязю. — ПСС, т. 2; *Орлов А. С.* «Тилемахида» В. К. Тредиаковского. — В кн.: XVIII век. М.—Л., 1935; История русской литературы. Т. 3. М.—Л., 1941, гл. 1; *Петрова З. М.* Сложные прилагательные в поэзии второй половины XVIII века. — В кн.: Процессы формирования лексики русского литературного языка. М.—Л., 1966.

бровского. Это главное, что появилось до «Тилемахиды». Жанр стихотворного перевода был еще внове: переводы стихов прозой казались тогда естественными (такая же практика была принята во французской литературе). Когда в 1751 г. Тредиаковский издал свой перевод «Аргениды», то в предисловии заявил, что поэзия не все то, что писано стихами, поэзия определяется своим существом — содержанием и языком, добавив, что «всегдашним Стихотворцом быть нынѣ из важных и дѣльных людей едваль кто захочет» (Арг. XI).[2] Поэтому стихотворный перевод прозаического французского оригинала нуждался в обосновании — оно дано в предисловии к «Тилемахиде». Здесь сказано, что: 1) «Телемак» — «ироическая инако эпическая пиима», 2) «Телемак» четвертая эпопея после «Илиады», «Одиссеи» и «Энеиды», 3) писать эпопею следует специальным эпическим стихом — гекзаметром. Что же касается Фенелона, то он писал прозой из-за недостатков французского стихосложения.

Отношение в Европе к Гомеру и античности вообще на целое столетие с конца XVII в. определялось «спором древних и новых».[3] Если Тредиаковский и был всецело на стороне «новых» в период своей молодости, о чем может свидетельствовать выбор для перевода сочинения П. Тальмана,[4] то ко времени создания «Тилемахиды» взгляды его сильно переменились. Использовав в качестве источника для предисловия к «Тилемахиде» «Рассуждение об эпической поэзии» Рамзея,[5] сторонника «новых», Тредиаковский — на что до сих пор не обращалось внимания — исключил из него некоторые выпады против Гомера (например, о мифологии и ее отражении у Гомера), но прибавил перечень похвальных отзывов о Гомере от древности до XVIII в. (с. III—IV), восторженную характеристику гомеровского стиля (с. IX), а также ввел в рассмотрение «Илиаду», обойденную Рамзеем. Кроме того, Тредиаковский присоединился к мнению Андре Дасьера, что в новое время не может быть поэтов, равных Гомеру и Вергилию (с. LII—LIII). То, что при этом Тредиаковский выбрал для своего перевода Фенелона, а не Гомера, вполне естественно: интерес к Фенелонову «Телемаку» превосходил интерес к Гомеру на протяжении всего XVIII в. Эта книга была еще и нравоучительна, что не могло не цениться

---

[2] В этом мнении отразилось, видимо, распространенное во французской критике, начиная с Перро, пренебрежительное отношение к стиху. См.: *Сигал Н. А.* «Спор древних и новых». (У истоков французского просвещения). — В кн.: Романо-германская филология. Сборник статей в честь акад. В. Ф. Шишмарева. Л., 1957, с. 256.

[3] См.: *Егунов А. Н.* Гомер в русских переводах XVIII—XIX веков. М—Л., 1964, с. 72—78; *Hepp N.* Homère en France au XVIIe siècle. Paris, 1968, p. 521.

[4] История русской литературы, т. 3. с. 217.

[5] «Рассуждение» Рамзея целиком переведено П. Захаровым в предисловии к «Странствованиям Телемака» (СПб., 1786, с. 12—57).

в эпоху Просвещения![6] За первую половину XVIII в. было около 40 французских изданий «Телемака»,[7] полных переводов на русский сделано в течение XVIII в. пять, некоторые из них издавались неоднократно. Между прочим именно в «Тилемахиде» появляются первые русские гекзаметры из «Илиады»: три строки в предисловии (с. XXV—XXVI) и строка в предметном указателе на имя Нирева.[8] Стиль Гомера получил у Тредиаковского следующую характеристику: «Омир преходит часто от громкаго Гласа к тихому, от высокаго к нѣжному, от умилепнаго к Ироническому, а от приятнаго к твердому, суровому и нѣкак свирѣпому. Сравнений и уподоблений пренеисчетное в нем богатство; и сие коль ни разнородное, но всегда приличное и свойственное» (с. IX). Между тем, по мнению «новых», в языке Гомера содержится много «низкого» и «подлого».[9] Таким образом, позиция Тредиаковского свидетельствует о том, что он предпринял сознательную попытку воплотить эпическое на русском языке.[10] С точки зрения выполнения этой задачи и следует судить «Тилемахиду».[11]

Прежде все же необходимо сказать о том литературном фоне, на котором явилась «Тилемахида». Первый отечественный опыт в эпическом жанре — «Петрида» А. Кантемира — современникам

---

[6] Ср. свидетельство Гете: «Куда более чистый и нравственный, чем нередко грубые и соблазнительные сочинения древних, „Телемах" Фенелона, впервые прочитанный мною в Нейкирховом переводе, несмотря на все несовершенство такового, произвел на меня сладостное и благотворное впечатление» (*Гете И.-В.* Поэзия и правда. Перевод Н. Манн. М., 1969, с. 55).

[7] См. в библиографическом указателе: *Fénelon.* Les bibliographies du centre national de bibliographie. Bruxelles. 1965.

[8] Отведя в своей книге лишь полстраницы Тредиаковскому, А. Н. Егунов упустил этот важный момент. Он обнаружил первые гекзаметрические строки из «Илиады» у М. Н. Муравьева в ученической тетради за 1778 г. (Гомер в русских переводах.., с. 92). Эти пять строк считает единственным гекзаметрическим переводом в XVIII в. из «Илиады» и Л. И. Кулакова, впервые опубликовавшая их в 1939 г. См.: *Муравьев М. Н.* Стихотворения. Л., 1967, с. 353. Л. И. Тимофеев указывает еще три гекзаметрические строки из «Илиады» в составе переведенной Тредиаковским «Римской истории» Роллена (см.: *Тредиаковский В. К.* Избранные произведения. М.—Л., 1963, с. 49—51). Интересно, что еще в «Слове о витийстве» 1745 г. Тредиаковский привел в гекзаметрическом переводе строку из VI кн. «Энеиды»: «того нечаянныя и весьма мучительныя смерти *темный похитил день, и*, по Божиему предѣлу, *в гроб заключил трупоносный»* (с. 21).

[9] *Егунов А. Н.* Гомер в русских переводах.., с. 73 и сл.

[10] Между тем, переводя «Аргениду» прозой, Тредиаковский руководствовался пониманием жанра этого произведения как «повести или романа» (Трд. Арг., XVIII).

[11] Нужно иметь в виду, что между стилем Фенелона и тремя эпическими поэмами древности не было противоречия: Фенелон в изобилии включал в свой текст аллюзии к Гомеру и Вергилию. См.: *Hepp N.* Homère en France.., p. 613—616. Перечень цитат из «Энеиды» у Фенелона дан в издании: *Fénelon.* Les aventures de Télémaque. Nouv. ed. publ. par A. Cohen. Paris, 1920.

остался неизвестен, второй — «Петр Великий» Ломоносова — был встречен с большим одобрением и пользовался великим почтением до конца столетия. Особый и уже вполне сознательный интерес в русский литературе к эпосу проявился несколько позже — в 70-е и особенно 80-е гг.: в 1769 и 1770 гг. появились два перевода «Энеиды» Вергилия, в 1772 г. — «Освобожденный Иерусалим» Тассо, в 1776—1778 гг. «Илиада» в переводе Екимова, в 1787 г. в переводе Кострова, в 1777 г. «Генриада» Вольтера, в 1777 и 1778 гг. «Потерянный рай» и «Возвращенный рай» Мильтона, в 1785—1787 гг. «Мессиада» Клопштока, в 1788 г. «Лузиада» Камоэнса. В это же время развернулась деятельность русского эпика эпохи классицизма — М. Хераскова: его «Россияда» вышла в 1779 г., «Владимир» в 1785 г., «Кадм и Гармония» — в 1783 г. Можно также упомянуть о переводе Фонвизиным «Иосифа» Битобе (1769). Однако ко времени появления «Тилемахиды» европейская и античная эпика была известна русскому обществу скорее всего понаслышке или в прозаических французских переложениях. Все эти имена от Вергилия до Камоэнса с прибавлением еще Стация названы Тредиаковским в предисловии к «Аргениде» (с. IX, это место представляет собою пересказ соответствующего раздела предисловия Рамзея к «Телемаку» Фенелона). Однако в предисловии к «Тилемахиде» Тредиаковский писал, что сюжет для эпопеи может быть взят лишь из мифологии и никак не из новой и даже не из священной истории. Следовательно, название «эпопея» осталось здесь за двумя поэмами Гомера, «Энеидой» Вергилия и «Телемаком» Фенелона. Не без оснований это место из предисловия (с. XIV—XVI) рассматривают как выпад против ломоносовского «Петра Великого».[12] Оно отражает также претензию Тредиаковского на роль первого эпика в русской литературе. Распространенное тогда понимание эпоса было сходно, по всей вероятности, с ранней позицией Тредиаковского, следовательно и мысль переводить Фенелона непременно гекзаметром не могла казаться вполне убедительной на фоне французской традиции с ее двумя литературными формами: прозой и александрийским стихом. Вместе с тем, если прозаическая форма «Телемака» еще оставляла сомнения в том, эпопея это или роман (или повесть), гекзаметр «Тилемахиды» развеивал полностью всякие сомнения в жанре этого произведения.[13]

2. До «Тилемахиды» Тредиаковский применил гекзаметры

---

[12] См.: *Гуковский Г. А.* Тредиаковский как теоретик литературы. — В кн.: Русская литература XVIII в. Эпоха классицизма. XVIII век. Сб. 6. М.—Л., 1964, с. 52.

[13] В «Трудолюбивой пчеле» за 1759 г. Сумароков доказывал, что «Телемак» роман, а не поэма: «Кроме расположения, Телемак не поема; нет ни Епической поемы, ни оды в прозѣ» (Сум. СС VI 350). Свой позднейший краткий перевод из Фенелона Сумароков выполнил, как известно, гекзаметром.

в стихотворениях к «Аргениде».[14] Гекзаметр Тредиаковского построен на тонической основе с применением чередующихся хореев и дактилей, в этом отношении он не имеет никакой связи с гекзаметрами Герасима Смотрицкого и подобными явлениями.[15] Судя по положению цезуры и числу хореических стоп, гекзаметр Тредиаковского ориентирован на латинские, а не на греческие образцы.[16] Несомненно, это связано с тем, что и латинский язык, и латинская поэзия ему были лучше известны.

В эпоху создания «Тилемахиды» гекзаметр не был в чести у русской поэзии.[17] Александрийский стих казался единственно приемлемым размером для эпического повествования: им перевел Костров первые восемь песен «Илиады», им продолжил было труд Кострова Гнедич. Но и совершившееся наконец обращение к гекзаметру Гнедич должен был специально разъяснять в предисловии к «Илиаде», причем здесь вновь указывалось, что «французы не имеют стоп».[18] Таким образом, в выборе стиха Тредиаковский надолго, на полстолетия, разошелся во вкусах с русским обществом.[19]

Тредиаковский отмечал, что возможность пользоваться гекзаметром обеспечивается свободным словорасположением в русском языке (с. LII), в свою очередь гекзаметр позволяет не перебивать течение стиха рифмой и делать переносы (enjambements). Ср.: «С начала самаго до конца, достоит течению Слова Ироическаго литься всеконечно непресѣкаемым нигдѣ ни от чего Потоком. Оно есть Рѣка, но Рѣка подобная Волгѣ: сперва несется Струею, потом Ручием и т. д.» (с. XXXVII).[20]

Что касается переносов, то их в «Тилемахиде» очень не-

---

[14] По мнению Л. В. Пумпянского, под влиянием гекзаметров Клопштока. См. в кн.: *Гуковский Г. А.* Русская литература XVIII века. М., 1939, с. 66.

[15] *Burgi R.* A History of the Russian Hexameter. Hamden, 1954, p. 31—68.

[16] *Гаспаров М. Л.* Продром, Цец и национáльные формы гексаметра. — В кн.: Античность и Византия. М., 1975, с. 375—377.

[17] Ср. отзыв Тредиаковского: «Сей погрѣшности не студент Поповский есть причиною, но учивший его сочинению стихов г. совѣтник и профессор Ломоносов, у котораго такой порок в гекзаметрах очень часто находится» Пек. Ист. АН II 172. Даже в конце столетия Радищеву приходилось обучать чтению гекзаметров по «системе Клопштока» (см. «Памятник дактило-хореическому витязю»).

[18] *Гнедич Н. И.* Стихотворения. Л., 1956, с. 312. (Библиотека поэта. Большая серия).

[19] Единственное исключение за это время — гекзаметрическая идиллия М. Муравьева «Роща», опубликованная в 1778 г., с примечательным упоминанием эпика Мильтона. Его гекзаметры из «Илиады» и I эклоги Вергилия современникам остались неизвестны. См.: *Муравьев М. Н.* Стихотворения.

[20] Ср. у Гнедича в предисловии к «Илиаде» симптоматическое совпадение: «Но важное спокойствие повествования его (гекзаметра, — *А. А.*) состоит в каком-то важном течении речей, одному гекзаметру свойственном, которое, связывая стих со стихом, льется, как волны, непрерывно, до конца периодов поэтических» (Стихотворения, с. 314).

много. Так, на 660 строк IV кн. приходится всего четыре переноса: «Бывши Калипса во-время сие в себѣ неподвижна, // И восхищена, рѣчей Тилемаховых слушая в сладость» I 55; «Ты усладил Богиню твоих рассказанием оной // Бѣдствий» I 57; «Как же то, отвѣщал Тилемах, я-возмог-ли Калипсѣ // Быть отречен, отсказания всѣх моих злоключений?» I 57; «Ибо Предвидела, что Тилемах, направляемый тако // Ментором» I 58.

Конечно, к переносам Тредиаковский не привык: им не благоприятствовал силлабический стих с парной рифмой, также мало привился перенос к тоническому стиху, являясь редкостью и в последующей русской поэзии.[21]

Свобода словорасположения в русском языке не является безграничной, на этой почве появляются синтаксические инверсии. О их количестве и качестве можно судить по тексту одной из книг, именно XII — самой большой в «Тилемахиде».[22] Здесь на 1088 стихов — 179 инверсий,[23] из них 88 приходится на дистантное расположение членов словосочетания. Ср.: «Сладостьми всѣ утоляет своими мрачны заботы, // И в услаждении все Естество содержит спокойном». I 218. Ср. также: *памяти на соблюдение* I 215, *людей в утѣснении* I 221. Нужно сказать, что с достаточной закономерностью подобного рода инверсии встречаются чаще в местах эмоционально насыщенного изложения.[24]

Второй тип инверсий, представленный 50 случаями, выражается в перемещении союза или союзного слова с первого места

---

[21] Ср. также на этот счет мнение самого Тредиаковского: «Прежнии наши Стихи, составляемыи польским образцом (т. е. силлабика, — *А. А.*), весьма подвержены сим переносам. Сей порок в них очень несносен. В нынѣшних перенос дѣлается иногда; но не в начало Стиха, в чем и есть порок, но до пресѣчения, или до самаго конца Стиха» Трд. СП I 9. В согласии с этим в строках Ломоносова «Вы наглы вихри не дерзайте // Ревѣть» Сумароков отмечал «непростительный перенос» (Сум. СС X 83). По наблюдениям А. Кукулевича, Гнедич в «Илиаде» также почти не употреблял переносы в отличие от позднейшей практики Жуковского в «Одиссее». См.: *Кукулевич А.* «Илиада» в переводе Н. И. Гнедича. — Учен. зап. Ленингр. гос. ун-та. 1939, № 33. с. 64.

[22] Укажем кстати, что в «Тилемахиде» всего 16 500 стихов.

[23] При подсчете случаев инверсий мы не рассматривали порядок членов в словосочетаниях с атрибутивной связью, а также расположение придаточного предложения в отношении главного, поскольку для этих положений сама норма в письменном языке XVIII в. не вполне ясна.

[24] По мнению С. Бонди, инверсии у Тредиаковского не имели художественного значения, но значение поэтической вольности (*Тредиаковский В. К.* Стихотворения, Л., 1935, с. 63—65). Вряд ли можно делать такое противопоставление: будучи техническим приемом, поэтические вольности придают одновременно художественное своеобразие стихотворной речи. Инверсии в стихе вообще гораздо свободнее, чем в прозе. Л. В. Пумпянский, напротив, считал, что инверсии входили в стилистическую систему стиховой речи у Тредиаковского (История русской литературы, т. 3, с. 233—253). Ср. также в связи с этим: «Говорить об экспрессивности инверсий в стихе можно лишь постольку, поскольку можно говорить об экспрессивности стихотворной формы речи вообще» (*Ковтунова И. И.* Порядок слов в стихе и прозе. — В кн.: Синтаксис и стилистика. М., 1976, с. 60).

в глубь придаточного предложения. Ср.: «Ментор удобно всѣм объявил Царям-тѣм Союзным, // Идоменею что-долг о-дѣлах Тилемаха стараться». I 200; «с такою Пищею, кушивал сам-он какую». I 213. Возможно, что подобные случаи частично — результат определенного представления о том, что «периоды сильно и великолепно начинаются с косвенных падежей имен, важные имена значащих», как указывала «Риторика» Ломоносова (§ 324, ср. также в § 325—326 высказывания в пользу бессоюзия).

Сходен с этим третий по численности тип — 28 случаев — помещения причастия в глубь причастного оборота. Ср.: «воскликнут Пастырей гласы, // Пастырей, при ручиях свѣтлоструйных дружно сѣдящих». I 219.

Четвертый тип, представленный 7 случаями, состоит в перемещении союза *и*. Ср.: «Гул на ближних горах, на-брѣгах и-морских раздавался». I 216.

Четыре случая инверсии приходятся на постпозицию предлога. Ср.: *время на-кратко* I 201, *лиц у первѣйших* I 211, *рѣчи по сей* I 222, *окончания прежде* I 223. Оставшиеся два случая: «Коль ни-вельми, да-в-обман не впадут, прилѣжно стрегутся». I 204; «И, да обманут егож, ухищряют способы всяки». I 204.

Как видно, подавляющее большинство инверсий в XII книге представлено весьма простым и обычным ее проявлением (первые три типа), более сложные и необычные, каково инверсированное положение союза *и* и предлогов, встречаются относительно редко. При этом в XII книге вовсе нет запутанных и сложных построений, нередких, например, в «Феоптии». Ср.: «Как овцы нам дают в потребность нашу волну, // Так, будто напрерыв пред ними черви полну // Чудес способность всю к мягчайшим тем шелкам // Достаточну весьма оказывают нам». Трд. Феопт. 240. То есть: подобно овцам, шелковичные черви оказывают нам (то есть демонстрируют перед нами) всю полную чудес способность, весьма достаточную к тем мягчайшим шелкам (то есть к изготовлению шелка). Между тем, общее число инверсий в этой III эпистоле «Феоптии» на ее 1028 строк приблизительно такое же, как в XII книге «Тилемахиды».

Однако ни обилие инверсий, ни их сложность, если бы она была, не должны были пугать современников Тредиаковского, знакомых с инверсиями по силлабической поэзии. О том, что интерес к последней в это время не остыл, свидетельствует издание сатир Кантемира четырьмя годами ранее «Тилемахиды». Если инверсированное положение союза *и* отражало влияние латинского синтаксиса[25] и было необычно для русской письменности, то три первые типа инверсии легко можно отыскать в текстах XVIII в.[26]

---

[25] На это указывает Л. В. Пумпянский. См. в кн.: *Гуковский Г. А.* Русская литература XVIII века, с. 71.

[26] Ср. в произведениях М. Хераскова. I тип: «Зри новый на челѣ

3. Обычное представление заключается в том, что «Тилемахида» перегружена славянизмами, указание на это сделал еще Фонвизин в 1769 г.[27] Представление это основано, очевидно, уже на принципах, высказанных в предисловии, о различении в произношении «западных» и «восточных», притом что Тредиаковский выбирает из двух возможностей последнюю, то есть грекославянскую православную традицию в употреблении имен. Замечательно также, что в «Тилемахиде» Тредиаковский отказался от галантного *вы*, к которому он прибегал в «Аргениде», на следующих условиях: «Сим я послѣдовал точно нынѣшнему нашему учтивѣйшему употребленію. Мнѣ рассудилось, что я худо могу здѣлать, ежели инако здѣлаю. И по истиннѣ, перевода моего не будет уже читать грубых времен новогородка Марфа посадница.. Однакож употреблял я и единственное ты, когда или высокая какая особа говорит с подлою, или провѣщатель о чем прорицает: употреблено также ты и во всѣх здѣсь стихах. В первом случаѣ поступил я точно по употребленію искуснѣйших; но во втором, для стихотворческия и Пиитическия важности» (Арг. I, LXI—LXII). Выходит, что в «Тилемахиде» проявились те же мотивы, по которым Тредиаковский употреблял *ты* в «Аргениде», но стремление к «нежности» и «учтивости» уже отсутствовало.[28]

Как и в «Аргениде»,[29] Тредиаковский отказался в «Тилемахиде» от новых заимствований также, очевидно, по стилистическим соображениям. В результате ему пришлось употребить глоссы для толкования целого ряда случаев.

Глоссы в «Тилемахиде» распадаются на следующие группы.

1) Перевод греческой мифологической номенклатуры в римскую, более знакомую русскому обществу благодаря французскому посредству. Это самый многочисленный и однообразный

Екатерины лавр» (Хрс. Росс. 213); «Но псалмопѣвческий умолк священный хор» (Влад. 14). 2 тип: «Ах! щастлив ли народ, святой где вѣры нѣт?» (Влад. 2); «Священная чета когда вступила в храм, Молчание крилѣ распростирало там» (Влад. 19). 3 тип: «Сверкают мечи их как перуны из туч блестящие» (Кадм II 211); «Множество убиенных тѣл, по кровавому полю разметанных» (Кадм II 216). Интересно, что в «Петре Великом» Ломоносова встречается только первый тип инверсии. На этом фоне можно говорить о безусловной экспрессивности второго и третьего типов.

[27] Иосиф в девяти песнях сочинения г. Битобе. Т. I. [СПб.], 1769, предисловие переводчика.

[28] Поскольку *вы* и *ты* противопоставлялись как «галантное, учтивое» и «свое», постольку употребление *вы* в «Аргениде» и неупотребление в «Тилемахиде» должны осмысляться в связи с жанровым различием этих произведений вне какой-либо связи с обычно постулируемым вслед за Сумароковым смещением Тредиаковского от «русского» к «славенскому».

[29] «Сверьх того, я имѣю донесть, что почитай ни одного от меня в сего Автора токмо переводѣ не употреблено чужестраннаго слова, скольков которыя у нас нынѣ в употребленіи ни-были; но всѣ возможныя изобразил нарочно кромѣ митологических, славенороссийскими равномерными рѣчами: ибо род и важность повѣсти сея того требовали» (Трд. Арг. I. LXI).

разряд глосс: *Афина, Паллада* и т. п. поясняются через *Минерву*, *Афродита, Киприда* и т. п. — через *Венеру*, и т. д. Здесь же пояснение понятий античной мифологии: *Поля Илисийския — Рай языческий, Олимп — Небо, Сатиры — Лѣшии*, а также культурно-исторических: так, название египетского города *Но-Леонт* (фр. No) поясняется «послѣ Александрия».

2) Новое заимствование глоссирует менее известное или устарелое слово текста: *Зодчество — Архитектура* (5 раз), *Стихия — Элемент, Истукан — Статуя, Кормило — Руль* и т. п. Новые заимствования попадают в текст, но в грецизированной форме, и глоссируются соответственными латинизированными формами: *михана — махина, кентр — центр, Вакханта — Бакханта*, и т. п. Слова *оризонт, политика* употреблены без глосс, слово *характир* однажды употреблено без глоссы (кн. XII) и однажды глоссируется славянским *признак* (кн. XXIV). В двух случаях Тредиаковский не мог решить для себя вопрос о превосходстве того или иного варианта, в результате в X кн. *исполинский* поясняется *гигантский*, а в XVI — *гиганты* через *исполины*, точно так же меняются местами слова *бабр* и *тигр*, хотя слово *бабр* в тексте без глоссирования встречается чаще. В обоих этих случаях мы имеем дело со старыми заимствованиями. Любопытен также случай глоссирования кальки *образование — мечтание* (фр. imagination).

3) Глоссируются некоторые поэтические вольности или неудачи стиха: *огорсчение*[30] *— В горсть взятие, не смѣжно смотрил — не совращая глаз*, «Но как мнил свое любопытство уже *удовливша*» — *Удоволивша*.

4) Наиболее обычное глоссирование — всего таких случаев более 200 — пояснение архаизма или славянизма: *руб — парча, пожру — в жертву принесу, крин — лилѣя, цаты — монеты, крушец — металл, нань — на него, виталище — обиталище, лѣть — достоит*. Здесь встречается множество случаев, когда такое пояснение кажется совершенно излишним в семантическом отношении; *ланиты — щеки, выя — шея, чета — пара, перси — грудь, зѣло — весьма*, и т. п. Вероятно, эти глоссы имеют стилистический характер, хотя назначение их не вполне ясно. Можно, однако, с уверенностью сказать, что благодаря глоссам четвертой группы текст «Тилемахиды» не представлял трудностей для несведущего в «церковных книгах» читателя.

5) Остаются еще две глоссы: *братанец — двоюродный брат* и *витался — здоровался*. В первом случае поясняется несомненно народное образование, во втором — заимствование Петровской эпохи из польского, впрочем, возможно, известное русским диалектам северо-запада.[31]

---

[30] В тексте *огосчение*, эта опечатка исправлена в списке опечаток.

[31] Сл. РЯ XI—XVII в., вып. 2 отмечает присутствие слова *витатися* 'здороваться' в дипломатических документах с конца XVI в. «Словарь русских народных говоров», вып. 4 (Л., 1969) регистрирует употребление слова в смоленских и брянских говорах. Однако у Тредиаковского было

Таким образом лексическая семантика «Тилемахиды» благодаря большому числу разнообразных глосс в общем и целом не вызывала затруднений. Вместе с тем, присутствие глосс могло восприниматься как знак языковой усложненности текста, как ученый педантизм, неуместный в художественном произведении.[32]

Что касается славянизации и архаизации морфологии, то здесь можно обратить внимание на некоторые явления, не отличающиеся, впрочем, ни регулярностью, ни грамматической корректностью.

В склонении существительных часто употребляется старый тв. п. мн. ч., совпадающий с вин. п. в муж. роде: *толиким чуды, моими Совѣты* и т. п. Неожиданно подобную парадигму получают имена женского рода: *многими жертвы, острыми искры, с Нимфы твоими,* «Быстро парит в Колесницѣ *своей Голубицы катимой*».[33] Ср. также форму двойственного числа «Мужество *в очию* блещет», старый дат. п. *людем*, местный *во всѣх напастех.* Из прилагательных можно отметить *мужие Критсти* (здесь интересна и архаическая собирательная форма существительного), а также постоянную субстантивацию прилагательных в среднем роде мн. числа: *благая вся, злая.* В соответствии с церковнославянской нормой глагол при этом ставится во мн. числе: «вот Злая, суть-кои от-браней!»

В личных глагольных формах архаизация проявляется редко в основах V класса: *запрещение имам, не вѣм, вижду, непозавиждь* (пов. накл.), *нѣси* (2 л. ед. ч.) и т. п. Часто встречается обычная для XVIII в. форма *рцы.* Зато в кратких причастиях царит смешение форм и времен: наряду с грамматически точным употреблением («Зельно удивльшись Калипса, и вся в умилении ставши, . . и стояла молчащи». I 4) часто встречаются такие формы, которые говорят о том, что Тредиаковский плохо различал деепричастия русского языка и краткие церковнославянские причастия: «Всѣ молчащи тогда, и слухом внемлющи

особое мнение относительно этого слова: «глагол *витай* Славенский, есть здравствуй, или добро пожаловать» (Три рассужд. 224). Видимо, в представлении Тредиаковского произошла контаминация слов *витати* 'обитать', церковнославянского происхождения в русском языке, и восточно- и западнославянского *витати* 'приветствовать'.

[32] Следует еще раз подчеркнуть, что наше рассмотрение глосс в «Тилемахиде» подчинено одной цели — выяснению их функциональной и, точнее, стилистической роли в составе всего произведения. Сама традиция глоссирования в XVIII в. требует специального рассмотрения на широком и разнообразном материале, однако гуманистические истоки ее несомненны. Античная поэтика применяла для украшения «искусственные», «ученые» слова, так что наличие глоссируемых слов и, следовательно, глосс оказывалось ясным признаком возвышенной речи. См.: *Бласс Фр.* Герменевтика и критика. Одесса, 1891, с. 52—54.

[33] Видимо, формы женского рода — поэтическая вольность. Характеризуя эти окончания как у с е ч е н и е или с т е с н е н и е в «Разговоре об ортографии», Тредиаковский приводит в пример форму мужского рода — *человѣки.*

были». I 10, «радостиж были исполнь». I 201 и т. п. Часто попадается старый именительный падеж полных причастий: *пребываяй, исходяй* и т. п.

В области причастий интересно также смешение видо-временных форм. Тредиаковский довольно легко переводит причастия из настоящего времени в прошедшее (или из несовершенного вида в совершенный?) путем префиксации: *приведый* I 95, ‹тень› *утѣшиться уж не могла возрыдая* II 96, *принесый от Египта полезны Законы* II 120. Префиксацией создается даже причастие будущего времени: «Найдем-мы тут себѣ Другов, нас туда *превезущих»*. I 126. В отдельных случаях, однако, префикс не меняет глагольного вида: «долгое время бились Волнам *сопротивясь»*. I 126. Все эти явления в области причастий говорят о некоторой растерянности Тредиаковского при обращении с церковнославянской грамматической категорией на почве русского литературного языка.

Наконец, на морфологический облик текста наложили отпечаток поэтические вольности. Здесь часты случаи стяжения в склонении существительных ср. рода на *-ие: в слушани, в оплакани, подкрѣпленьми, свѣденьми.*

Наиболее примечательную сторону синтаксиса «Тилемахиды» составляют конструкции винительного (дательного) с инфинитивом, дательного самостоятельного и двойные падежи, встречающиеся на протяжении текста десятки раз. Иногда они представляют собою перевод аналогичных явлений французского текста, иногда появляются независимо от оригинала. Ср.: «Битвы наставшу дню, едва Заря всезлатая Солнцу отверзла Восточны врата. .». II 136 — Le jour du combat étant venu, à peine l'aurore ouvrait au soleil les portes des l'orient; «Так вѣщавшу сему, Диомид, весь-в-себѣ удивленный, Зрил на-него». II 162 — Pendant qu'il parlait, Diomède étonné le regardait; «Ты-ка́к же был довольно безсмыслен, Что себя возмечтал быть Бога толь самомнѣнно?». II 97 — Comment etais-tu assez insensé pour te croite un dieu? «Он почитал себя быть-другия от-прочих природы». II 58 — Il se regardait comme etant d'une autre nature que le reste des hommes; «Увидѣли Юношу падша В крови своей». II 144 — En voyant ce jeune homme tomber dans son sang; «Не было уж никого противиться смѣвша Адрасту». II 145 — Adraste ne trouve plus rien qui ose lui resister.

Этими явлениями исчерпывается языковая архаизация «Тилемахиды». Морфологические явления не представляли основного способа этой архаизации и были немногочисленны, фонетико-орфографические и лексические явления получали толкования путем глосс, наконец, синтаксические конструкции могли восприниматься в то время не как архаизмы, а как галлицизмы [34], они

---

[34] Отметим для сравнения, что у Радищева в «Путешествии» встречаются не только конструкции, но и аорист. См.: *Алексеев А. А.* Старое

встречались у разных авторов эпохи на протяжении всего столетия.

4. Между тем, языковое своеобразие «Тилемахиды» в большей степени открывается при сравнении ее с другими переводами того же французского оригинала, вышедшими в XVIII в. Таких переводов известно четыре: перевод 1734 (или 1724?) г., опубликованный впервые в 1747 г., перевод И. Захарова, перевод П. Железникова, перевод Ф. Лубяновского.[35] В жанровом отношении эти произведения несколько различны: для переводчика ТХ, упрощавшего и опрощавшего оригинал, «Телемак» Фенелона — это прежде всего авантюрный роман; кажется, близки к этой интерпретации подлинника П. Железников и Ф. Лубяновский. Что же касается И. Захарова, то дав перевод «Рассуждения» Рамзея, он очевидно признал за «Телемаком» право называться эпической поэмой. Вообще перевод И. Захарова заслуживает при сравнении самого пристального внимания, поскольку именно за этот труд молодой тогда переводчик был избран в члены Российской Академии.[36] Между тем, в этом переводе поражает обилие всех тех архаических языковых черт, которые можно отметить в «Тилемахиде». Ср. небольшой отрывок:

«Послѣ сего *разглагольствовал* он с Ментором, о первоначальной Власти *сотворшей* небо и землю; о неподвижном и *присном* Свѣтѣ, который сообщается всему себя не раздѣляя; о верховной и всемирной Истиннѣ, просвѣщающей всѣ умы, *яко же* солнце всѣ тѣла освѣщает. Кто сего *пречистаго* не видѣл Свѣта, *присовокупил* он, тот слѣп, *яко же* слѣпец *от чрева матерня родивыйся*: он *провождает* жизнь свою *во мрачной нощи*, подобно тем народам, коих многие в году мѣсяцы не освѣщает солнце. Таковый *непщует себя быти мудрым*, но есть несмыслен». ТЗ I 136. Как видно, кроме морфологических и лексических славянизмов здесь представлена конструкция винительного с инфинитивом. Следует особо подчеркнуть, что этот перевод вышел через 20 лет после «Тилемахиды» и получил общественное одобрение. Язык первого перевода (ТХ) близок к славяно-российскому слогу повестей Петровской эпохи.

Возможность сопоставления стихотворного текста «Тилемахиды» и прозаических переводов основана на большой точности

и новое в языке Радищева. — В кн.: А. Н. Радищев и литература его времени. XVIII век. Сб. 12. Л., 1977, с. 112, прим. 41.

[35] 1) Похождение Телемака, сына Улиссова. Сочинено г. Фенелоном.. Переведено на российский язык в 1734 году. Ч. 1—2, СПб., 1747 (Далее — ТХ, то есть «Телемак» Анонима или А. Ф. Хрущова, которому также приписывается перевод); 2) Странствовании Телемака сына Улиссова. Творение архиепископа Фенелона, вновь переведенное Иваном Захаровым. Ч. 1—2, СПб., 1786 (Далее — ТЗ); 3) Приключения Телемака сына Улиссова сочиненныя Фенелоном.. Ч. 1—2. СПб., 1788—1789 (Далее — ТЖ); 4) Приключения Телемака, сына Улиссова; сочинение г. Фенелона. Ч. 1. М., 1797, ч. 2. Владимир, 1800 (Далее — ТЛ).

[36] Русский биографический словарь. Жабокритский—Зяловский. Пг., 1916, с. 294.

перевода Тредиаковского, им не опущен ни один смысловой элемент оригинала.[37] Это сопоставление открывает случаи, где а) славянизмы используются в прозаических переводах более интенсивно, чем в «Тилемахиде», где б) просторечие или в) народно-фольклорные языковые элементы используются как выразительное средство «Тилемахиды».

а) При описании Елисейских полей сообщается, что свет проницает праведников: «их везде проницает И *втѣляется* к оным как-в-нас *премѣняется* Пища». II 111 (s'incorpore à eux comme les aliments s'incorporent à nous), то есть речь идет о питании в жилищах блаженных. Ср. в других переводах: «Проницает и *претворяется* в них, яко в нас пища». ТХ II 144, «Отвсюду проницает их, и *присуществляется* к ним, яко же пища к тѣлам нашим *присуществляется*». ТЗ II 217, «проницает их и *присуществляется* к их тѣлу, подобно как пища с нами *совоплощается*». ТЖ II 217, «проникает их, *совоплощается* с ними, как снѣди с нашими тѣлами». ТЛ II 177. Оставляя в стороне ТХ, отметим неудачную славянизацию других переводов, поскольку близкими словами в церковно-богословском употреблении обозначается либо пресуществление, происходящее во время таинства Евхаристии, либо воплощение Бога в земной личности Иисуса Христа. Неологизмы Тредиаковского отмечают деликатное владение церковнославянскими языковыми средствами.

Далее о праведниках в Елисейских полях сообщается, что «суть они в таковом восхищени, Матерь есть в каковом, увидѣвша *Сына любезна*» (cher fils). II 112. Ср.: «матерь узрѣвшая *возлюбленнаго* паки *сына*». ТЗ II 219, «яко матерь, когда паки видит *сына* своего *единороднаго*». ТХ II 146. ТЖ и ТЛ дают *любезного сына*, что, разумеется, более сходно с образностью этого места, чем аллюзии к новозаветной фразеологии (ср. Мф. I 11 и «Единородный сыне и слове божий» из литургии).

Египетский царь Вокхорь, вызвав своими зверствами восстание подданных, погиб в бою: «*Голову* (tête) тотчас отсѣк один из Воинов Кипрских, Взяв за-*Космыни* (cheveux) ту, показал как-Торжественник Войску». I 34. Все четыре перевода дают традиционно-славянские формы *глава, власы.*

Колесница Амфитриты несется по волнам, везомая морскими конями: «Огненны их *глаза* метали пламенны искры, Но из *морд* у них исходил пар жаркий столбами». I 71 (leurs yeux étoient enflammés, et leurs bouches étoient fumantes). Ср.: «*Очи* их пламенны и *уста* их курящие дымом». ТХ I 97, «*Очи* их пламень, а *челюсти* дым испускали». ТЗ I 136, «*Очи* их были пламенны и *зѣвы* дымящиеся». ТЖ I 138, «*Очи* их пылали, и *гортани* ды-

[37] На основании нескольких пропусков в I и XXIII книгах можно установить, что Тредиаковский пользовался одним из семи французских изданий, вышедших с 1717 по 1735 г., где текст имеет аналогичные пропуски, тогда как во всех других изданиях этого и последующего времени эти лакуны заполнены. Такое же издание послужило оригиналом для ТХ.

мились». ТЛ I 130. Вполне очевидна беспомощность традиционно-книжных средств при передаче таких простых слов, как yeux, bouche, когда речь идет, пусть о мифологических, лошадях.

Приведенный ряд сопоставлений показывает, что славянизация в «Тилемахиде» ограничена определенными рамками, к тому же нейтральные выразительные средства (*голова, глаза*), так же как несколько сниженные (*морда*), находят себе умелое и точное применение.

б) Стоит посмотреть, где и как появляется просторечие в «Тилемахиде».

«Множество нренеисчетное тут чистоструйных *Поточков*, Тѣ мѣста орошали всѣ водами своими.. Множество многоеж *Птичек Рощицы* тѣ оглашало, Разным и-нѣжным своих щебетанием Пѣсен пресладких». II 110 (mille petits ruisseaux, .. un nombre infini d'oiseaux). Ср.: «Множество *малых источников* с чистыми водами сие мѣсто орошают.. Множество *птиц* в сих *лѣсах* сладкими гласы воспѣвают». ТХ II 108, «Множество *виющихся источников* орошая чистыми своими водами сии прелестныя мѣста, нѣжное содѣловали тамо прохлаждение, и безчисленныя тмы *пернатых* сладким своим пѣнием *рощи* оныя оглашали». ТЗ II 215. ТЖ II 215—216: *ручейки, птицы, рощи,* ТЛ II 176: *малые ручьи, птицы, рощи.*

Праведный герой попадает в ссылку: «Были там у него два-Раба, чредивший *Нивку* (petit champ): Да и сам он с ними трудился такожде вкупѣ. С лихвою та *Землица* (la terre) ему за труды приносила». II 164. Ср. ТХ II 213: *земля, земля*; ТЗ II 322: *малая нива, земля*; ТЖ II 323: *невеликое поле, земля*; ТЛ II 263: *небольшое поле, земля.*

Генетическая и стилистическая оценка в XVIII в. существительных с уменьшительными суффиксами как просторечия хорошо известна,[38] отказ от употребления этих форм другими переводчиками вполне очевиден.

Однако в «Тилемахиде» число таких примеров довольно значительно, эти формы появляются с известной закономерностью при обрисовке идиллического пейзажа, иногда при изображении положительных, но несчастных персонажей: *щебетание птичек* I 28, *птички, рощицы* II 94, *ни былинки, ни травочки малы* (ni herbe, ni fleurs) II 94, *деревцо младое* I 39, *цвѣтки* I 21, *хижинки* I 28, *посошек* I 30, *старичок пребесчастный* II 152 и т. п. Ср. также: «Наших *козок* млеко, и-млеко *Овечек*-же наших» I 30, «блеющи збѣгаются *Агнчики* к Маткѣ». II 75. Замечательные образцы содержатся в описании Эрота: «Вкупе тогда при ней усмотрил я *Сыночка* Ерота (enfant Cupidon); Кой летал своея вкруг Матери *крилышек порхом* (petites ailes s'agitant le faisaient voler). Хоть на-*Личишкѣ* его (son visage) пребывала

[38] См.: *Сорокин Ю. С.* Разговорная и народная речь в Словаре Академии Российской. — В кн.: Материалы и исследования по истории русского литературного языка. Т. I. М.—Л., 1949, с. 121—128.

румянна умильность, Вся благолѣпность, и-вся веселость любезна Младенства; толькож в *глазенках* егож (ses yeux) не знаю что острое было». I 59—60.

Просторечие в «Тилемахиде» представлено не только словообразовательными вариантами, но и лексикой.

«Самая мала *река* (résistance) ему, на гнѣв вспламеняла». I 34. В других переводах: *противность* ТХ I 46, ТЛ I 65, *сопротивление* ТЗ I 64, *противорѣчие* ТЖ I 64. «Дух. . *ядренаго* также Ворея» (rigoureux Aquilon). I 45. Ср.: *вѣтр сѣверный* ТХ I 60, *бурные Аквилоны* ТЗ I 86, *жестокий Аквилон* ТЖ I 84 «Большеж *бѣги вгрунь* от *Паренька* сего непознанна: сей-то-есть Божичь Любви». I 108. Ср.: «Но паче бѣги сего неизвѣстнаго тебѣ младенца. Се Купидон». ТЗ I 209.

Просторечие служит ярким средством отрицательной экспрессивности. Каллипсо, узнав, что у нее есть счастливая соперница — нимфа Евхарита, в ярости гонит Телемаха и Ментора с острова: «Проч от-меня́, проч далѣй, проч *вертопрашный Дѣтина* (jeune insense); С ним-же и-ты совокупно проч *Старичишка безмозглый* (imprudent vieillard)». I 116. Ср.: *безумный юноша, неразумный старче* ТХ I 159; *несмысленный юноша, слабоумный старец* ТЗ I 227. Точно так же у поверженного злодея *зѣнки закрылись* II 72.

Заслуживает внимания применение Тредиаковским, так сказать, технических терминов некоторых производств. Ср.: «шатры из юфти». I 141 (les tentes de peaux cirées); у других переводчиков: «шатры из вощаных кож». ТХ I 193, «шатры из кож воском натертых». ТЗ I 278, подобно в ТЖ, ТЛ. Ср. еще: в соответствии со словом *однорядки*, употребляемым Тредиаковским (I, 46, 141), другие переводчики дают *лен чистый, волна, добрая волна, тонкая волна, тонкое полотно* (фр. laines fines). «Ибо в теплой Странѣ одну *Однорядочну штуку* (une piece d'étoffe fine et legere), Тонку и легку ту, и туж не скроену носят». I 141. Ср.: «одну парчю тонкую и легкую». ТХ I 193, «тонкую и легкую ткань». ТЗ I 278, «часть тканья тонкаго и легкаго». ТЖ I 279.

Ср. также в следующих примерах. «Ты с чего, рекла, восприял толикую дерзость, Что, к моему *привалив* (aborder) так острову, вышел на-сей же?» I 3. В других переводах глагол *пристать*. «Он поставил Судей, Купцыб сим *Сказки давали* (rendaient compte)». I 209. Ср.: *подавать свѣдения* ТЗ I 419. «Усмотрѣвал уже часть на-берегу устрашенных Египтян, Коя бѣжала *к Ружью* (qui curaient aux armes)». I 33. Ср.: *взять оружие* ТХ I 45, *к оружию бѣгущих* ТЗ I 62.

Точной и терминологически конкретизирующей лексике соответствует точность лексической сочетаемости. Ср.: «хлѣбы пекут онѣ и пищу готовят». I 141 (elles font le pain, apprêtent à manger). В данном случае у Тредиковского совпадение с ТХ, но ср. в других переводах: «хлѣб и прочее ястие приготовляют».

ТЗ I 278, «они дѣлают хлѣб, приготовляют яству». ТЖ I 278, «пекут хлѣбы, приготовляют снѣди». ТЛ I 252. Ср. также: *пахтает масло* I 28, 217.

Наконец, отметим некоторые случаи народной фразеологии. «Отбыл с своим Полком (sa troupe), Тилемах *умываясь слезами* (les larmes aux yeux)». II 168. Ср.: «*плачуще* с людьми своими отиде». ТХ II 217, «*проливая слезы* отшел с своею дружиною». ТЗ II 329, «*с заплаканными очами* отправился с своим сонмищем». ТЖ II 330, *со слезами* ТЛ II 269. Неправедный царь «Тщился.. изнурять (tourmenter) народ, *высасывать кровь*-избѣдных (sucer le sang des malheureux)». I 32. Ср.: «мучил народи, *проливал кровь* бѣдных». ТХ I 43—44, «мучительствовать народ, *упоять себя кровию нещастных*». ТЗ I 60, «мучить народы и *упиваться кровию* нещастных». ТЖ I 60, «тѣснить свой народ, *пить кровь* нещастных». ТЛ I 62. Перевод Тредиаковского наполнен социальной конкретностью. «Трижды его низлагал, *на дыбки становился* он ‹лев› трижды» I 30 (trois fois il se releva).

Отметим также синтаксический прием — период, свойственный, как кажется, просторечию: «Се Астарвея узрѣла его, в него *и-влюбилась, А влюбившись* так пламенѣла Любовию зѣльно». I 52.

в) Черта, отделяющая просторечные средства от фольклорных и народно-поэтических, не очень заметна, тем более затруднено проведение границ для XVIII в. Все же укажем случаи, которые должны быть, по всей вероятности, отнесены в этот раздел, хотя возможно и без достаточной лингвистической аргументации.

«Ложем (nos sieges) была у нас *Мурава* (les gazons) зелена и мягка». I 30. — Ср..: «стулья наши были *кочки зеленыя*». ТХ I 40, «сѣдание наше было *зеленый дерн*». ТЗ I 56, «сѣдалище наше было *мурава*». ТЖ I 55, «*мягкия дерны* служили нам сѣдалищем». ТЛ I 58. «*Караводом* скачет и-пляшет». I 28. В оригинале нет соответствия для слова *каравод*. «Мы превели Людей из Града на *чистое Поле* (campagne)». II 172. — Ср.: *пустыя места* ТХ II 221, в других — *поле*. *Дремучий лѣс* I 45 служит переводом фр. vaste forêt, в других переводах: *темный лѣс* ТХ I 60, *обширная дубрава* ТЗ I 85, *пространный лѣс* ТЖ I 83. В другом случае *дремучии лѣсы* I 28 передает фр. forêts sombres и аналогично переведено в ТЗ и ТЛ. Каллипсо в ревности называет нимфу Евхариту *Дружневна* (celle que tu aimes) I 111, в ТХ, ТЗ *возлюбленная твоя*.

Описывается смерть юного героя: «*Свѣт очей его померк* почитай всеконечно, И в гортани *глас, ослабѣв, замолк и пресѣкся*». II 142 (ses yeux etoient déja presque éteients et sa voix défaillante). — Ср. «Очи его едва видят и глас его ослабѣл». ТХ II 185, «Свѣт очей померкает, глас в устах пресѣкается». ТЗ II 280,[39]

[39] В ТЗ, вероятно, заимствование из «Тилемахиды». В нескольких случаях можно установить использование И. Захаровым перевода Тредиаковского. Например, Захаров воспроизвел выражение, вставленное в текст

«Очи его почти уже были угашены, и голос ослабѣл». ТЖ II 280, «Глаза его меркли и голос прерывался». ТЛ II 229. Напротив, смерть в битве злодея: «Из-язвы *кровь-с-паром хлыстала, И как шар головища его разразилась о-Камень*». I 15. Это место представляет собою дополнение Тредиаковского.

Описание битвы: «*Рѣки* глубоки текут отвсюду *крови* парныя». I 141 (ruisseaux de sang couloient de toutes parts). — Ср.: *кровавые источники* ТХ II 183, *кровавые ручьи* ТЗ II 277, ТЖ II 278, *кровь лилась ручьями* ТЛ II 227.

Замечательный синтаксический прием с троекратным повторением подлежащего передает боевое стремление героя, жаждущего мести: «Он и-бѣжит, он-лѣтит, он-напиться крови там жаждет». II 141 (il court, il vole, il veut se rassasier de sang). — Ср.: «Скачет, лѣтит, и хощет кровию насытиться». ТХ II 183, «Устремляется туда, летит, и хощет насытиться кровию». ТЗ II 277, «Бѣжит, летит, алчет насытиться кровию». ТЖ II 277, «Он мечется, летит и хочет насытить себя кровию». ТЛ II 226.[40]

Вообще выразительностью описаний, даже если они не всегда представляют собою образцы «строгого вкуса», «Тилемахида» превосходит другие переводы. Ср. два отрывка.

Кулачный бой: «В голову сперва, потом в грудь-разы мнѣ-толики отвѣсил, Что я кровию харкнул, а-свѣт в глазах помрачился. Я шатался, тот напирал, мнѣ дух захватило». I 82. — Ср.: «Сперьва ударил меня по главѣ, потом в живот так сильно, что блевал кровию, и очи мои темным облаком покрылися, начал шататися, а он побѣждает меня, и не мог больше дыхати». ТХ I 111; «Сперва ударил он меня по главѣ, потом во чрево, толь сильно что я кровь изрыгнул, и очи мои густым покрылись мраком. Я зашатался: он усугублял поражения; и не мог уже дыхать». ТЗ I 158—159.

Смерть злодейки от отравления: «Жара глаза не-имѣющи двигались дикими взгляды; Корчились губы у-ней и-кривлялись судражным двигом, Пащеку чем отверзсту в зѣв содержала великий. Рожа ея, то-кратка то-долга, косилась ужасно». I 135. — Ср.: «померкшия очи вращаяся в челѣ, звѣрские кидали взоры; сильный недуг искривляя уста ее, в страшном содержал зѣв оных расширении; лице ея, то сморщенное, то растягивающееся,

---

Тредиаковским, но отсутствующее во французском оригинале: «Так поспешим-же мы-всѣ его предварить совокупно, *И совокупно роги ему сломить препотщимся*» (I 194) — «Упредим убо общими силами *сломити рог гордѣливца*» (ТЗ I 387). Ср. совпадения в лексике: «Болѣй *ктому* Тилемаха увидѣть» (II 96) — «Не уповая уже *ктому* увидѣть Телемака» (ТЗ II 187); «старостью *слячен* ‹глосса: згорблен›» (II 208) — «старость. . *слячет* тѣло» (ТЗ II 225); «усугубя стопы» (II 95) — «усугубив стопы» (ТЗ II 125).

[40] Вообще освоение повествования в настоящем времени было новой задачей для русской литературы. Новые формы были найдены лишь со временем.

гнуснѣйшие представляло виды». ТЗ I 265 (в ТХ это место отсутствует). Достоинства энергичных пассажей «Тилемахиды» становятся заметны на фоне литературной беспомощности других переводов. Вполне очевидно однообразие выразительных приемов И. Захарова: любая эмоциональность воплощается через славянизм. Этот книжный безжизненный стиль казался между тем многим современникам образцом «вкуса» и литературного мастерства. Приемы И. Захарова находятся в полном соответствии с языковыми приемами классицизма 2-ой половины XVIII в.[41]

Таким образом, из сопоставления пяти переводов видно, что 1) в применении славянских языковых средств Тредиаковскому не изменяли деликатность и хорошее знание традиции и что 2) просторечие и народно-фольклорные языковые средства составляют органическую часть стилистики «Тилемахиды»: закономерность и уместность их появления показывают, что это был осознанный стилистический прием.[42] Именно в этом состоит принципиальное отличие «Тилемахиды» от других переводов.

Можно утверждать, что наличие просторечия и народно-поэтической речи в «Тилемахиде» отвечает ее жанровой природе эпической поэмы.[43] Высшим критерием в этом вопросе может быть творчество Гнедича, давшего наиболее совершенное воплощение эпического и античного начала на русском языке. Ср.: «Принципиально новым по отношению к первым опытам перевода является, например, постепенно углубляющееся у переводчика понимание народности поэм Гомера. Это понимание привело Гнедича к поискам аналогичного выражения для русского текста, к попыткам приблизить перевод к истокам русского народного творчества. Гнедич стал вносить в перевод элементы народного древнерусского языка и пользоваться фразеологией русской древности... Так называемые технические слова Гомера Гнедич считал необходимым переводить «доброзвучными старинными или новыми, подобными им, русскими названиями». Для нахождения таких слов мало было словарей. Требовались живые наблюдения над современным просторечным и диалектным словоупотреблением, чтобы найти для перевода такие слова, как: *уметить, швение, ручня, цевка, поножи, щегла, котва* и т. д.»[44] Ср., наконец, слова самого Гнедича: «При бесчисленном разнообразии характеров и предметов, заключаемых в „Илиаде“ в сих

---

[41] См.: *Замкова В. В.* Славянизм как стилистическая категория в русском литературном языке XVIII века. М., 1975, с. 117, 180.

[42] К выводу о том, что просторечие использовалось Тредиаковским в стилистических целях, пришел и И. Люперсольский («Тредиаковский и полемика XVIII века о подлости в языке». — Науковi записки. Одеський пед. институт, 1939, т. I, с. 142).

[43] Представление о наличии просторечного и простонародного в языке Гомера было распространено со времени Скалигера и разделялось в XVIII в. См.: *Егунов А. Н.* Гомер в русских переводах.., с. 32—33.

[44] Статья И. Н. Медведевой в кн.: *Гнедич Н.* Стихотворения. с. 825. Ср. в работе А. Кукулевича, с. 53—63.

переходах от Олимпа к кухням, от совета богов к спорам героев, часто грубым, .. Гомер, естественно, не мог быть однообразен ни в языке, ни в слоге; от высокости их он должен был нисходить до простоты языка народного».[45]

5. Коснемся теперь других приемов воплощения эпического начала в «Тилемахиде». Из таких приемов прежде всего привлекает внимание эпитет,[46] в частности эпитет, выраженный прилагательным-композитом. Тредиаковский, предшествующая поэзия которого была вообще бедна эпитетами в согласии с силлабической традицией,[47] применил здесь весьма большое количество эпитетов, разнообразных по составу и значению. Именно как элементом эпического стиля заинтересовался сложным прилагательным «Тилемахиды» А. С. Орлов.[48]

Полный перечень сложных прилагательных, приведенный З. М. Петровой, позволяет подсчитать, что из общего числа 366 таких прилагательных 173 не отмечены в источниках XVIII в. ранее соответствующих употреблений Тредиаковского. Впрочем, эта последняя цифра может быть несколько уменьшена за счет тех форм, которые служат скорее формообразованию, чем словообразованию: *всепремощный*, *всепренужный*, *преблаговонный*, *преблагомудрый* и т. п. Некоторые из этих прилагательных оказываются неологизмами лишь постольку, поскольку Тредиаковский предпочел менее регулярные формы образования: *властолюбный, трудолюбный, чадолюбный* при обычных вариантах на *-любивый*, *одномыслен, однородный* при обычном *единомыслен, единородный*.

Из обширного числа неологизмов-композитов лишь 15 отмечаются в употреблении последующего времени: *благопристойный, бранноносный, быстролетный, быстроножный, всечтимый, гостоприимный, двохолмный, зверонравный, краткодневный, кроволитный, многострунный, полмертвый, праводушный, скиптродержащий (-державный), слепорожденный*.[49] К этому списку можно прибавить еще несколько прилагательных, попавших только в «Илиаду» Гнедича: *дружелюбный, светоструйный, стотелечный* (у Гнедича *стотельчий*). Прилагательному *дикокаменный* «Тилемахиды» соответствует *дикоутесный* «Илиады».[50] Большая часть сложных эпитетов-неологизмов не вышла за пределы «Тилемахиды», где они выполняли специальную роль создания

---

[45] *Гнедич Н. И.* Стихотворения, с. 313—314.

[46] «Определительное прилагательное — неотъемлемая и существенная черта эпического стиля» (*Егунова А. Н.* Гомер в русских переводах.., с. 34).

[47] *Берков П. Н.* Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков. — В кн.: Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков, Стихотворения. 1935, с. 50—51.

[48] *Орлов А. С.* «Тилемахида» В. К. Тредиаковского, с. 42.

[49] Впрочем, некоторые в другом морфологическом обличии: *быстроногий, гостеприимный, двухолмный, двухолмый.*

[50] Композиты «Илиады» Гнедича рассмотрены в кн.: *Holzheid S.* Die Nominalkomposita in der Iliasübersetzung von N. Gnedič, München, 1969.

эпического стиля и колорита, то есть оказались языковыми средствами специального назначения. Последующие переводчики эпических поэм уже не занимались словотворческими вариациями на эпическую тему, они точно передавали состав греческих композитов.[51]

Несомненно, эпитеты-композиты — совершенно самостоятельное явление в тексте «Тилемахиды», не зависимое от предшествующей поэтической традиции. Единственный образец здесь был греческий язык «Илиады» и «Одиссеи», при том что набор словообразовательных моделей был дан церковнославянским языком. Впрочем, часть композитов появилась в тексте под семантическим воздействием оригинала: *веледушный Иппий* II 86 — magnanime, но *совѣт веледушный* II 132 — conseil généreux. Ср. также более сложные случаи: *облако златолазоревое* I 60 — une nuée d'or et d'azur, *сластолюбцы* I 60 — les hommes mous et abandonnés aux plaisirs, *по-рѣкѣ огня вихрепламна* II 100 — un fleuve de feu et des tourbillons de flammes, *кровопивная брань* II 111 — la guerre altérée de sang.

В других случаях простые эпитеты оригинала заменяются в переводе сложными: *зависть блѣдносухая* II 111 — cruelle envie, *сны смертоносны* II 93 — songes funestes, *кипарисы смертоносныи* II 94 — cypres funestes, *слабодушный* II 97 — un homme lâche, *черномрачная буря* I 10 — noir tempête, *звѣронравный народ* I 12 — peuple cruel. В этих и предыдущих случаях Тредиаковский перестраивает французский подлинник на гомеровский лад.

Наконец, очень часто Тредиаковский вводит эпитет, отсутствующий в оригинале: *каплеросные слезы* I 7, *плодорастный Египет* I 30, *Синезрачное Небо* I 99, *свѣтожизненный Фив* I 58, *слезы дожделивные* I 31, 61, *лира многострунная* II 183, *небоока Паллада* II 26, *Паллада Миролюбивая* II 156, *Нимфы полелюбные* II 181. Названный ряд эпитетов представляет собою очевидные аллюзии к гомеровскому эпитету; с другой стороны, они приближаются к устойчивым эпитетам фольклора.

Устойчивый эпитет фольклорного происхождения появился у Тредиаковского уже в «Езде в остров любви».[52] В «Тилемахиде» также имеются аналогичные явления: *звончатая Лира* II 120 (фр. lyre d'ivore), *на-сыпучий песок* I 111, *ясныи очи* II 140, *пияныя Вѝна* I 213, «Сердцем владѣть *Супружника мила*». II 183, «Силу свою имѣюща *Злата от-чиста*». II 181. Кроме того, Тредиаковский вводит в текст поэмы устойчивые эпитеты гоме-

---

[51] В строке «Тотчас и хлыпул поток *мяснобагр* из него издыхавша» Радищев заменяет эпитет на *багровый* (см. «Памятник»). Неясно, делает ли он это из нелюбви к композитам или же его раздражает краткая форма прилагательного, наконец, и свирепый смысл этого эпитета может вызывать смущение.

[52] *Берков П. Н.* Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков, с. 50; *Сорокин Ю. С.* Стилистическая теория и речевая практика молодого Тредиаковского. — В кн.: Венок Тредиаковскому. Волгоград, 1976, с. 48.

ровского стиля: *косношагий вол* II 74,[53] «И темносиним (sombre azur) небесный свод мстящийся цвѣтом, Плытие нам обѣщал добросчастное (heureus) *жидким по-безднам*». I 37, «Чуда морския еще, и-*Страшилища всѣ водородны* (добавление — *А. А.*), *Бездн из влажных* своих и глубоких (de leurs grottes humides et profondes) тѣх исходили». I 137; «Был-ты еще Младенец тогда при-*сосцах млекоточных*» (entre les bras de ta nourrice). II 114, «Се уже-Заря возвѣщала день *багряными персты* (Déjà l'aurore annonçait le jour)». I 155. Ср. случай, когда последнее выражение содержится в оригинале: «исчезает тьма, от-Денницы багряными персты (doigts de rose). Встока врата отверзающи». II 219.[54]

6. Вообще лишние эпитеты появлялись в «Тилемахиде» по необходимости, поскольку надо было чем-то заполнять длинную строку гекзаметра. Искусство Тредиаковского выразилось здесь в том, что подбор эпитетов оказался удачен с точки зрения жанровых требований. Часто, однако, необходимость заполнения строки приводила к тому, что сжатый и отточенный слог Фенелона превращался в многоглаголание: «Тѣ старики когда мнѣ так говорили *Словами*, Я не мог на них, *вперенно зря*, насмотрѣться». I 169 (Pendant que ces vieillards me parlaient ainsi, je ne pouvais me lesser de les regarder), «Да и-Любовь к Человѣкам, исполнена Людскости склонны». II 141 (douce Humanité), «по числу Дѣтей. и количеству оных». I 74 (selon le nombre des enfants).[55]

Однако и здесь приходится удивляться искусству, которое проявил Тредиаковский при заполнении пустот. Так, в ряде случаев вводится церковнославянская и библейская фразеология: «да будешь любим же Равно так, как Сын от *чресл моих порожденный*». I 38, «Бойся Богов, о мой Тилемах! Сей Страх есть Начало Всякаго Блага, и-есть вседражайше Сокровище сердца». II 222,[56] «Нѣт на-Землѣ человѣков прямых, кромѣ человѣков, Кои Превѣчный тот-Ум вопрошают, любя, *и-ходят По уставам Его*». I 70, «Ими (царями, — *А. А.*) творимо Добро пребывает *в вѣки и-вѣки* (dans les siecles); А Зло-от-них умножается также *в роды и роды* (de génération en génération)». II 221. Последний

[53] Перевод выражения εἰλίπους βοῦς — Od. I 92, IV 320. В переводе Жуковского — *медленноходный*.

[54] Образцом послужило гомеровское ῥοδοδάκτυλος Ἠώς, встречающееся в «Илиаде» и десятки раз в «Одиссее». Ср. в переводе Гнедича *заря розоперстая* (песнь I, строка 477), у Жуковского — *пурпурные персты, багряные персты*. Между прочим, это же выражение передано в первой строке оды Ломоносова 1748 г. «Заря багряною рукою». Не уловив аллюзии к Гомеру, Сумароков пародировал эту строку в «Оде вздорной III»: «Трава зеленою рукою // Покрыла многие места, // Заря багряною ногою // Выводит новые лета».

[55] Упомянутые прилагательные на *все-*, *пре-* тоже часто вводятся затем, чтобы заполнить недостающий слог. Это же относится к изобилию указательных местоимений.

[56] Ср.: «Начало Премудрости — боятися Господа» Премудрости Иисуса, сына Сирахова, I.15.

случай представляет собою не добавку, а целенаправленную переработку оригинала.

В других случаях текст насыщается дополнительными метафорами: «Знаешь, любезный друг, говорил он Ментору *живо*». I 199; «Многажды та (Каллипсо, — *А. А.*) на брегѣ морском стояла недвижно, Кой орошала, *как дождь проливая*, своими слезами». I 2, «Слушал токмо страсти своей *как младый своевольник*». I 16 и т. п.

Наконец, однажды тройной повтор в переводе французского выражения deux fois l'an создал эффектный анафорический зачин в стихе: «Дать Тилемаху хотѣли Предѣл плодоносный Арпийский, *Дважды в год* приносящий богаты Гимитрины дары, *Дважды в год* и сладчайши Иакховы ягоды оны, *Дважды в год* и тѣ Плоды, что-всегда зелениcты». II 156.

Однако в большинстве случаев Тредиаковский заполняет пустоты стихотворной строки синонимами, и здесь рождаются удачные стилистические находки: «Навык к труду, от *гульни* отврат и-от-*праздности* вредны». I 76 (l'horreur de l'oisiveté), «Есть то плод *Уставов* его и *Законов* премудрых». I 75 (le fruit de ses lois). «О вертеп! говорил-я, отнюдь тебя не-оставлю: Ты мой будешь *гроб*, ты моя и будешь *могила*!» II 53 (tu seras mon tombeau), «гдѣ-дѣвался Разум твой весь, и *храбрая Бодрость*, и-*бодрая Храбрость*?» II 53 (votre courage), «*Не горюй, ни-печалься* (ne vous affigez point), мы тебя оставляем». II 198. Поэтика синонимов свойственна как Псалтыри, так и народной словесности.

Вообще в обращении с синонимами Тредиаковский весьма искусен, здесь особо следует отметить один случай при описании одежды жителей идеального государства, где население разделено на иерархию классов: «Первы Степени Особы да-носят бѣлые *Ризы*. . Быть вторыя Степени в *Одеждах* Лазоревых чинно. . Третьей *Платье* степени да будет Зелено по-цвѣту. . Все Седмыя, которы суть из нижня Народа, Цвѣт *Однорядкам* своим дадут пусть Дымчатосиний. . Ибо Рабам темносѣраго кутаться в *рубища* цвѣта». I 211—212. В оригинале это описано: seront vêtues с прибавлением цвета, и так переведено в других изданиях XVIII в. Этот случай показывает, что пределы активного вмешательства Тредиаковского в переводимый им оригинал не были для него определены задачей адекватной передачи знаменитого подлинника на русский язык. Задача у него была иная: создать для соотечественников образец эпического повествования.[57]

7. Наконец, для полноты картины следует отметить неудачи «Тилемахиды», проистекающие из немногих буквализмов перевода или элементов галантного стиля.

---

[57] Кроме мелких вставок и дополнений, иногда вносящих образность или даже идеи, отсутствующие в оригинале, Тредиаковский ввел в «Тилемахиду» около 50 вставок в строку и более, стилистически не отличимых от основного текста. Источником этих вставок в ряде случаев служили «Илиада», «Одиссея», «Энеида».

Примеры первого: «И не старались больше всѣ, как токмо заклясть нас». I 13, «Коих все ремесло не служит, как нравы попортить». I 216, «Я признаваю весьма, что вы то можете здѣлать, И то здѣлать лицом основательства болши толико..». II 128 (d'apparence de raison).[58] Примеры второго главным образом в обращениях и восклицаниях: *Ментор драгий, дражайший Ментор, Тилемах любезный, о мой Тилемах! но ах горе! ах, времяль теперь рассуждать нам,* и т. п. Иногда этот галантный стиль появляется независимо от оригинала: «О Писистрат! любезный мой Писистрат! ты скончался». II 143 (O Pisistrat! tu est mort).

Лексико-семантические новшества представлены в «Тилемахиде» обычным к тому времени набором: *война загорѣлась* I 170 — guerre rallumée, *восторг упоения* II 112 — transport de l'ivresse, *поет-он величия Вышних* II 120 — il chante les merveilles des dieux, *привели в восхищение* II 120 — ravir, *жар юности* I 158 — l'ardeur de la jeunesse, *Тихия играет над Человѣки* I 158 — fortune se joue des hommes, *возносить Похвалами до неба* II 155 — élever jusques au ciel, *Бог нѣкий враждебный Очаровал мой зрак* I 155 — quelque divinité ennemie avait enchanté mes yeux, *орошал все ложе слезами* II 93 — arrosait son lit de ses larmes, *В прежний цвѣт приводить стал все Купечество Торга* I 135 — refleurer le commerce и т. п. Эти и подобные выражения встречаются в русской письменности XVIII в. то раньше, то позже, но в основном с конца 40-х годов. Как кажется, единственный семантический галлицизм, не отмеченный до Тредиаковского, это слово *поклонник* в освобожденном от религиозного осмысления употреблении (фр. adorateur).

Эта новая «светская» семантика и фразеология несомненно вступали в противоречие с целями эпического повествования (так же, как, впрочем, не мог бы соответствовать этим целям старый церковнославянский язык),[59] но появление ее в «Тилемахиде» отражало объективные потребности языкового развития. Более того, можно отметить случаи, когда языковые возможности русского языка не позволяли адекватно передавать смысл французского оригинала. Ср. следующие два отрывка: «Помни, что-сам Царь должен повиноваться Закону, И не предпринимать никогда, дает его уставляет: Идет закон от-Богов, и Он Царей-есть *превышше*». II 185, «Вышше Законов быть, то-сия есть ложная Слава». II 210. Полное совпадение контекстов не позволяет определить, что в первом случае речь идет о religion, а во втором о loi — и

---

[58] Ср. в переводе Захарова: «вы учинить сие можете тѣм с большим видов справедливости, что...». ТЗ II 251. Радищев в «Памятнике» отмечает также галлицизм *убѣгать казался*, такого рода оборотов у Тредиаковского немало.

[59] По мнению А. Н. Егунова, перевод Екимова «Илиады» не имел успеха из-за чрезмерной «божественности» слога (*Егунов А. Н.* Гомер в русских переводах.., с. 63).

то, и другое понятие передаются безразлично словом *закон*,[60] а других языковых возможностей у Тредиаковского не было.

Ср. также следующий случай, когда при полной и точной передаче оригинала русский текст все же далек от ясности и простоты французского «Он (царь, — *А. А.*) есть Раб совершенный Всѣм, быть мнится которым сам Повелитель верховный. Он содѣлан для-них, и их быть должен всецѣло; Обременен есть он един всѣх нуждами точно; Он Человѣк Людей вобще и каждого поразнь». II 209—210. — Il est l'esclave de tous ceux auxquels il paraît commander: il est fait pour eux; il se doit tout entier à eux; il est chargé de tous leurs besoins: il est l'homme de tout le peuple, et de chacun en particulier.

Нужно, однако, заметить, что именно проявление французского влияния в тексте «Тилемахиды» менее всего могло быть причиной отрицательного отношения к ней современников.

8. В заключение приведем целиком более пространный отрывок из «Тилемахиды» в качестве материала для всестороннего стилистического анализа. Книга VIII, ст. 883—901 (I 147—148):

Мы почитаем сих Народов Нравы такии
За украшенную Басню; но-считать им надобно наши
Собственны, за Чудобразие преразвращенно смѣшное,
Да не-реку за-Преступство Законов Земных и-Небесных:
Скаредство, Злость-в-них; от-них Стыд-и-Правда, отбѣгла и-Вѣрность;
А на-сих-мѣсто прильнули к ним-Лжи, и-Обманы, и Ковы
И Насилия наглы, Любовь и-к-Корысти злодѣйска.
Ищется все в рудокопствах Богатство, Алканий подгнѣта:
Се и вредно Желѣзо, и-вреднѣй Злато желѣза
Выникли; выникши Брань, обоим-сим Крушцем ратоборна,
Уж кровавой рукой остробойны Оружия машет.
Всяк Хищеньми живет: ни Гость безопасен от-Гостя,
Ни от Зятя и-Тесть, да-в-любви-суть и-Братия рѣдко;
Гибель кует Муж-Женѣ, Супруга шиет-же Супругу;
Матчихи яд составляют постылым Пасынкам лютый;
Скуча Отцем-Сын, ему до срока пожить дать-не хочет.
Пала Любы и-Усердность! валяется Жалость попранна!
Толь обагренну землю Убийством, смердящуюж Кривдой,
Дѣва, Богинь Правосудна, оставила вѣчно Астрея!

Этими стихами заканчивается VIII кн. Французский оригинал для первых трех строк следующий: Nous regardons les moeurs de ce peuple comme une belle fable, et il doit regarder les nôtres comme un songe monstrueux. Начиная с четвертой и до конца текст представляет собою вставку Тредиаковского, являющуюся переводом из «Метаморфоз» Овидия (кн. I, ст. 129—131, 138—140, 141—150).[61]

При точном переводе оригинала в строках 1—3 содержится и расхождение с ним. Введенное во вторую строку *им* обозна-

---

[60] О семантическом развитии слова см.: *Unbegaun B. O.* Selected Papers on Russion and Slavonic Philology. Oxford, 1969, p. 181—182.

[61] Этот источник любезно указал нам А. А. Дерюгин.

част перемену субъекта во второй части сложносочиненного предложения, чего нет во французском тексте, в строке 3 добавлено слово *собственны*, расширительный перевод дан для франц. un songe monstrueux 'чудовищный сон'.

В лексическом отношении самой примечательной стороной отрывка являются композиты: *чудобразие, злодѣйский, рудокопство, остробойный, ратоборный, правосудный* (из них *чудобразие* и *остробойный* — неологизмы Тредиаковского). Стилистически однородны с ними слова книжного и книжно-славянского круга: *почитать, басни, считать, собственный преразвращенный, преступство* (возможно, неологизм), *закон, скаредство, злость, вѣрность, насилие, корысть, богатство, алкание, брань, оружие, хищение, безопасный, гибель, супруга, супруг, составлять, усердность,*[62] *жалость, дѣва, богиня, Астрея.*[63] Почти все это широкоупотребительные и распространенные в ту пору слова, функционирующие в текстах научного, поэтического, ораторского характера, как оригинальных, так и переводных.

Бо́льшую редкость или бо́льшую стилистическую возвышенность в контексте русской письменности середины XVIII в. имели лишь немногие слова отрывка: *злато, ковы*, сопровожденное глоссой «коварничества» (слово известно одам Ломоносова и Петрова), *крушец*, сопровожденное глоссой «металл», *выникнуть* (встречается у И. Ильинского, Петрова, Боброва), *любы*, широко употребительное лишь в первой половине века у Феофана Прокоповича и Гавриила Бужинского.

Стилистической антитезой этому лексическому кругу выступают слова *отбѣгла, прильнули, наглый* 'нахальный',[64] *постылый, скуча, кривда.* Эти слова функционируют в течение XVIII в. преимущественно в текстах с преобладанием собственно русского языкового элемента: в комедии и комической опере, сатирических журналах. Слово *валяется* известно как русскому просторечию, так и церковнославянским текстам. Слово *подгнѣта* встречается в некоторых древнеславянских и древнерусских памятниках (см. «Материалы...» Срезневского), в форме *подгнѣт* отмечено Лексиконом Поликарпова. По мнению Шишкова, это «низкое слово» (Рассужд. 1803, с. 15), ср. также материалы словаря Даля. Не вполне ясна стилистическая характеристика переходного глагола *махать*, известного и древнерусским текстам, и народному языку.

Вполне нейтральны, но малоупотребительны в сколько-нибудь высоких жанрах слова *зять, тесть, мачиха, пасынок.* Известная противопоставленность слов *муж—супруг, жена—супруга* в стихе 14 намекает на некоторую сниженность первого члена этих синонимических пар.

---

[62] Слово впервые встречается в «Езде в остров любви».

[63] Имя Астреи сопровождается глоссой «Богиня правды».

[64] Церковнославянское *наглый* значит 'скорый, стремительный'.

Грамматическая сторона отрывка связана с книжнославенской стихией прежде всего причастиями: *украшенную Басиь, Чудобразие преизвращенно, жалость попранна, обагренную землю, смердящую*. Некоторые из этих причастий кратки. Деепричастие *выникши*, поскольку оно относится к существительному *брань*, можно рассматривать как старую форму краткого причастия жен. рода. Архаичным, хотя нередким для XVIII в., является употребление глагола *реку*. Книжный характер имеет поэтическая вольность в склонении имени — *хищеньми*, в усеченной форме — *богинь*.

Книжнославенская стихия более всего заметна в синтаксисе, что обусловлено уже длиной предложений, из которых первое занимает 7 стихов, второе — 4, третье — 5. Первое предложение, например, состоит из двух простых распространенных, содержащих глаголы *почитать кого чем, считать кого чем*, создающие обороты, синонимичные придаточным предложениям, а также из целой серии изъяснительных предложений (стихи 5—8) с многочисленными однородными членами и риторической пресыщенностью союзами. Во втором предложении заслуживают внимания обособленные определительные обороты (стихи 8—10). В третьей фразе снова развернута серия придаточных изъяснительных, из которых первые три соединены сложными союзами, а следующие четыре выступают в энергичном бессоюзии, создавая все вместе эффектный риторический ход. Порядок слов почти сплошь подвергнут инверсии, которая, впрочем, не создает трудностей для восприятия текста, может быть за исключением инверсии в стихах 7 и 9. Из специальных синтаксических фигур отметим хиазм в стихе 5: *Скаредство, Злость-в-них; от-них Стыд-и-Правда*, а также синтаксический параллелизм в стихе 17.

В области словосочетания заслуживают внимания *Стыд-и-Правда, яд лютый, Лжи и Обманы и Ковы*, напоминающие народно-поэтическую фразеологию и, возможно, связанные с ней. Новшеством Тредиаковского являются выражения *обагренный убийством* вместо обычного *кровью, смердящий Кривдой*. Удачно противопоставление глаголов *ковать* и *шить* в связи с их лексическим окружением. Наконец, выразительности отрывка способствует подбор эпитетов: *земные* и *небесные законы, наглые насилия, злодѣйская любовь к корысти, вредное желѣзо, кровавая рука, остробойное оружие, лютый яд, постылый пасынок*.

В целом весь отрывок отличается высоким эмоциональным напряжением и безусловной поэтичностью, воплощению которой в большей или меньшей степени служат перечисленные языковые средства. Среди последних, как видно, отсутствуют сугубо славянская или грубо просторечная стихии. Книжный, искусно усложненный, хотя и без крайностей, синтаксис составляет, вероятно, основную стилистическую особенность этого отрывка на фоне аналогичных образцов современной ему литературы.

С другой стороны, этому поэтически возвышенному пассажу можно противопоставить множество других мест, отличающихся одноплановостью стилистических средств, прозаичностью слога, отсутствием эмоционального тона. Ср., например, кн. XII, ст. 898—902 (I 218):

Но какая ужасная есть то бесчеловѣчность,
Чтоб отнимать у них (земледельцев, — *А. А.*), в произволах пречестолю́бных.
И препышных еще, Плоды приносимы Землями,
Кои они от-щедро́т Естества себѣ получают,
И получают притом своего Лица́-же п-в-по́тѣ?»

Ср. французский оригинал: Mais quelle horrible inhumanité, que de leur arracher, pour des desseins pleins de faste et d'ambition, les doux fruits de leur terre, qu'ils ne tiennent que de la libérale nature et de sueur de leur front.

Хотя из смысловых элементов при переводе опущено прилагательное doux и не внесено дополнительно никаких новых, перевод многословен и при этом сух. Первое происходит от введения частиц *еще, притом,* повторения глагола *получают,* назойливого употребления превосходной степени. Второе является следствием обилия строевых элементов: *есть то, чтоб, кои,* притяжательных местоимений *себѣ, своего.* Инверсия в конце стиха 5 не прибавляет стиху экспрессивности. Нужно признать, что в обширной по объему «Тилемахиде» попадаются десятки стихов, а порою целые страницы, написанные подобным прозаическим слогом.

* * *

На основании рассмотренных материалов можно заключить, что Тредиаковский в согласии со своими воззрениями предпринял сознательную попытку создания эпической поэмы на основе соответствующих этому стилистических приемов. К этим приемам относятся: выбор гекзаметра с его удобностью для повествования, расположенностью к инверсиям и переносам; соединение традиции славянского книжного слога с просторечием и народно-поэтическим языком в соответствии с пониманием гомеровского языка в XVIII в.; применение эпитетов и особенно сложных эпитетов как стилеобразующего фактора эпического повествования; использование синонимов в духе народной и церковнославянской поэтики и других приемов заполнения гекзаметрической строки. Многие из этих находок Тредиаковского так или иначе были использованы Гнедичем при переводе «Илиады», язык Гнедича и в самой малой степени не находится в противоречии с языком «Тилемахиды».[65] Следовательно, можно с полным основанием повторить вслед за Л. В. Пумпянским,

[65] Ср. важное в этом отношении замечание в работе А. Кукулевича «„Илиада" в переводе Н. И. Гнедича», с. 66.

что Тредиаковский в «Тилемахиде» создал русский гомеровский стиль.[66]

Понятно, что эти стилистические принципы вовсе не укладывались в рамки эстетических критериев классицизма, были чужды и дики и современникам, и в течение нескольких следующих десятилетий. В этом была причина отрицательного отношения к «Тилемахиде» на протяжении всего XVIII в. Следующее столетие восприняло это мнение, не дав себе труда самостоятельно освоить наследие Тредиаковского. Впрочем, ни Фенелон, ни подобные явления уже не занимали образованный вкус того времени.[67]

Вместе с тем, и это тоже могло быть отмечено современниками, тот эпический стиль, который создал Тредиаковский, не соответствовал стилистике французского оригинала, главной особенностью которого была «felice e elegante semplicita», аркадическая и пасторальная окрашенность.[68] Разумеется, и Захарову, с его полным набором языковых приемов классицизма, задача адекватной передачи стилистики Фенелона оказалась недоступна, его «бонтонность» отдает бурсой.

Тредиаковский рассматривал литературный язык как кладовую или сокровищницу всех и всяческих языковых ценностей — старых и новых, своих и чужих, письменных и устных. Принцип сочетания этих разных элементов в составе одного произведения, видимо, занимал его; в разных его текстах это сочетание несколько различно, и что касается «Тилемахиды», то здесь оно довольно удачно. Недаром все писавшие о «Тилемахиде» согласны в том, что она представляет собою высшее достижение Тредиаковского-писателя.

---

[66] См. в кн.: *Гуковский Г. А.* Русская литература XVIII века, с. 74.

[67] См. критику Фенелона в «Памятнике» Радищева. Ср.: «Чадо Фенелонова воображения есть не что иное, как идеальный образ царевича французскаго, ведомаго не греческой Минервой, а французской философией». МЖ 1791 I 98. Выражение «греческая Минерва», впрочем, изобличает не слишком тонкое проникновение в дух античности.

[68] *Pizzorusso A.* La poetica di Fénelon. Milano, 1959, p. 31—32.

Е. Э. Биржакова

ЩЕГОЛИ И ЩЕГОЛЬСКОЙ ЖАРГОН В РУССКОЙ КОМЕДИИ XVIII ВЕКА

Русская комедия XVIII в. за полувековой путь своего развития представила целую галерею отрицательных персонажей. В их числе на протяжении всего времени одними из самых стойких и наиболее ярко и резко очерченных являются образы щеголя и щеголихи. Их отличает не только особый набор типовых примет, но и, прежде всего, особая речь, получившая наименование «щегольского жаргона».

Образы щеголей и особенности их речи не были обойдены вниманием в общих курсах истории литературы, в специальных исследованиях, посвященных творчеству и языку отдельных писателей или комедиографии и сатиры XVIII в. Выразительная суммарная зарисовка внешнего облика, туалетов, манер, занятий, интересов, времяпровождения, моральных принципов щеголей и щеголих по материалам главным образом сатирических журналов XVIII в. была дана Покровским.[1] В общем виде были определены и характерные приметы щегольского жаргона.[2]

При этом обычно в типе щеголя видели прежде всего сатирически заостренное изображение щеголей русской действительности, а в щегольском жаргоне, соответственно, репрезентацию реального жаргона щеголей и щеголих или — шире — всего светского круга русского дворянского общества XVIII в.

Нам представляется перспективным подойти к этим объектам несколько иначе, а именно — как к явлениям определенных жанров литературы, с их специфическими особенностями, заданными именно жанром.

В статье ставится задача — охарактеризовать и сопоставить элементы щегольского жаргона как основного материала в построении «речевого костюма» щеголей и щеголих у нескольких комедиографов века — Сумарокова, Фонвизина, Крылова и продемонстрировать некоторые приемы использования жаргона для

---

[1] *Покровский В. И.* 1) Щеголи в сатирической литературе XVIII века. М., 1903; 2) Щеголихи в сатирической литературе XVIII века. М.. 1903.

[2] *Берков П. Н.* О языке русской комедии XVIII в. — Изв. АН СССР, Отд. лит. и яз., т. VIII, вып. 1. М.—Л., 1949.

создания комических эффектов. Выбор именно этих имен предопределен их ролью в развитии комедиографического жанра: Сумароков — зачинатель русской классицистической комедии, Фонвизин — создатель пьес, являющихся вершиной комедиографического наследия XVIII в., наконец, Крыловский театр представляет собою в известном смысле завершение классицистической традиции и переход к новой комедии XIX в. Спецификой жанра — комедия — обусловлено и второе направление работы.

Предварительно, для того чтобы можно было вычленить индивидуально авторское начало, останавливаемся на том, что можно назвать «общим фоном», то есть на «модели» щеголя и щеголихи и «модели» щегольского жаргона, извлекаемых из данных комедиографической и сатирической литературы XVIII в.

1. ЩЕГОЛИ И ЩЕГОЛИХИ В ЛИТЕРАТУРЕ XVIII в.

С самого начала введения персонажа щеголя в русскую комедию подчеркивается его ориентация на французский оригинал. Это проявляется даже внешне в его наименовании — заимствованном слове *петиметр* (фр. petit-maître, букв. 'маленький господин'), впервые зафиксированном в 1750 г. В дальнейшем появляется целая серия имен — *господчик* (как передача того же фр. petit-maître или калька с нем. Herrchen), *вертопрах, волокита, щеголь*. Последнее, наряду с *петиметр*, стало наиболее употребительным. Для дамы соответственно — *петиметерка* (с 60-х годов), но оставшееся единичным в употреблении, *вертопрашка, щеголиха, кокетка* (заимствование 40-х годов из фр. coquette).

Впервые в русской литературе щеголь появляется у Сумарокова. Это Дюлиж в комедии «Чудовищи», сочиненной, как указано автором, «в июне месяце 1750 г.» (в перечне действующих лиц обозначено: «Дюлиж, петиметер»).

Еще до появления Дюлижа на сцене он характеризуется следующим образом: «Волосы подвивает он хорошо, по французски немножко знает, танцует, одевается по щегольски, знает много французских песен; да полно еще не был ли он и в Париже» (Сум. Чуд. 252). Из слов и поведения самого Дюлижа выясняется, что он презирает все русское и пренебрежительно относится к немецкому языку и немецкому платью.

Во второй комедии Сумарокова, написанной в том же 1750 г., «Ссоре у мужа с женою»,[3] выведены кроме петиметра Дюлижа (использовано то же имя, что и в предыдущей комедии) две щеголихи — Деламида и ее приятельница Дюфиза. Здесь, кроме уже известных черт,[4] появляются детали, характеризующие нрав-

[3] Переработана позже в «Пустую ссору».

[4] Ср. негативную характеристику Фатюя, недостойного, по мнению Дюлижа, претендента на руку Деламиды: «Не умеют ни одеться, ни молвить, как должно, галантому, ни шпаги пониже спустить, ни о дамских говорить уборах» (Сум. Ссора 77).

ственный облик петиметров — любовные интриги, супружеская неверность («Деламида: Любить мужа, ха! ха! ха! Это посадской бабе прилично». Сум. Ссора 78), злословие («Дюфиза: А Клариса очень commun одевается». Там же, 79), а также и физическое состояние — щеголь существо изнеженное, отсюда жалобы на модные болезни («Дюфиза: Я хипохондриею замучилась». Там же, 78).

Последующие произведения, изображающие петиметров, связаны с полемикой, разгоревшейся вокруг сатиры «На петиметра и кокеток» Елагина (нач. 50-х годов).[5] В ней представлены занятия петиметра: он проводит время за туалетным столиком, «новые убсры вымышляет», чтобы прельщать ими «кокеток бешеных», слушает их похвалы своему наряду, «болтает всякой вздор» и под.

В откликах на елагинскую сатиру тема петиметрства фактически была отодвинута на задний план, поскольку она вылилась в полемику между приверженцами и противниками Сумарокова, Ломоносова и Тредиаковского.[6] Тем не менее или в виде кратких упоминаний, или в более развернутой форме тут было высказано одобрение этой темы, а также назывались иные пороки петиметров, достойные сатиры: «Представь ты в петиметре безбожность, трусость, лесть. Все важнее кудрей, хотя и те пристойны» (анонимная «Эпистола к творцу сатиры на петиметров». Поэты XVIII в. II, 383). Были также отклики, свидетельствующие о неприятии «петиметра» в качестве достойного объекта сатиры. Такова сатира «Защищение петиметра» Щербатова:

Зачем на беззаконный порок глас возвышаешь,
Петиметров ныне в своих стихах ругаешь?

(Поэты XVIII в. II, 377).

Сходная позиция высказана в сатирах Н. Н. Поповского «Возражение, или превращенный петиметр», в «Возражении на сатиру против петиметров» Тредиаковского.

Тем не менее для нас важно, что эта тема получила известный резонанс, хотя, пожалуй, новые, несколько неожиданные черты петиметра (безбожность) были сформулированы лишь в одном отклике. Обращаем внимание на то, что комедии Сумарокова еще не были напечатаны к этому времени, они исполнялись в кадетском театре силами придворных пажей в качестве добавления к большой трагедии.

---

[5] Сатира Елагина метила, по мнению П. Н. Беркова, в И. И. Шувалова, известного своим пристрастием к французскому.

[6] О литературных позициях в полемике и сами тексты см. в сб.: Поэты XVIII века. Т. 2. Л., 1972; *Мартынов И. Ф., Шанская И. А.* Отзвуки литературно-общественной полемики 1750-х годов в русской рукописной книге. — В кн.: Н. И. Новиков и общественно-политическое движение его времени. «Сб. XVIII век», вып. 11. Л., 1976.

В конце 50-х годов тема петиметрства вновь поднимается Сумароковым в его журнале «Трудолюбивая пчела». На этот раз Сумароков обращается к авторитету датского писателя Гольберга, помещая перевод с датского «Из Гольберговых писем». В статье, бичующей петиметров, приводится историческая справка о происхождении слова petit-maître, описываются манеры и поведение французских петиметров, различие между французскими и английскими петиметрами, называются имена сатириков, высмеивающих щеголей. Нет сомнения, что цель Сумарокова — обратить внимание русских читателей на распространенность этой «язвы» и дискредитировать русских щеголей.

В течение последующего десятилетия (с 1759 по 1769 г.) тема продолжает обрабатываться в комедии. Лукин в «Щепетильнике» выводит вертопрашек Нимфодору и Маремьяну, щеголей Полидора и Верхоглядова, занимающихся покупками модных безделушек и флиртом в галантерейной лавке. В середине 60-х годов появляется серия пьес, посвященных «русским французам», в которых показан петиметр, побывавший во Франции, то есть воплощение мечты галломанов, высказанной еще в первой комедии, представившей русскому зрителю петиметра («Не был ли он и в Париже». Сум. Чуд. 252). Центральное место среди них занимает Иванушка в «Бригадире» Фонвизина. Аналогичная ситуация была использована Кариным в пьесе «Россияне, возвратившиеся из Франции»,[7] Княжниным в комической опере «Несчастье от кареты», Хвостовым в комедии «Русский парижанец». Этот мотив вовлек в сферу внимания драматургов еще одну черту — презрение петиметров к тем, кто не бывал в «центре света» — Париже. Краткие упоминания о петиметрах или довольно развернутые их характеристики находим в некоторых журналах 60-х годов, например в «Полезном увеселении», «Свободных часах» и др.

Новый взрыв пристального внимания к образу петиметра связан с сатирической журналистикой конца 60-х—начала 70-х годов. «Всякая всячина» изображает щеголя во многих статьях, описывая его времяпрепровождение, невежество, непочтительность, увлечение карточными играми, перенос вестей и пр. (№ 4, 55). Щеголихам достается за их чрезмерно высокие прически, манерничанье, жеманство, кокетство, вольное обхождение с мужчинами, увлечение косметикой (№ 25, 39, 91, 118, 122, 144 и др.).

В журнале «И то и Сио» подчеркивается, что петиметры «начались здесь еще недавно», а затем приводятся уже известные нам характеристики (например, петиметр «ни о чем больше не думает, как только одеться по правилам моды, одевшись, должен быть самолюбив, тщеславен, и необуздан в своих жела-

---

[7] Не публиковалась. Некоторые извлечения из поздней переработки помещены в кн.: *Пигарев К. В.* Творчество Фонвизина. М., 1954, с. 93.

ниях» 171) и портреты петиметров — Нарцисс, Обезьяна, Ветер, Хамелеон, Арлекин.

В журнале «Смесь» подчеркивается, кроме обычных черт, пренебрежение к церковной службе. Эта линия эпизодически проскальзывает и дальше, ср. например у Николева:

Умей лишь в сборищах бранить закон и бога,
Во все тебе дома отверстая дорога.

(Поэты XVIII в. II, 23).

Особенно яркое изображение щеголей, самые резкие и ядовитые характеристики их несомненно принадлежат новиковским журналам. Пожалуй, новых примет щеголя у Новикова нет, но яркость образов, сатирический запал придают этой теме острое социальное звучание. Одним из первых Новиков рассматривает петиметра как зло социальное, как свидетельство порочности и развращенности дворянского общества, где нет места науке, образованности, искреннему чувству.

Вплоть до начала XIX в. образы петиметров остаются в арсенале сатиры и комедии. К ним обращались почти все сатирические журналы конца XVIII в., в том числе «Почта духов» и «Зритель» Крылова. В последнем, например, проходит целая галерея петиметров — мотов, франтов, расточителей (Ветрогон, Промот и др.). В статье под названием «Петиметр» дана исчерпывающая характеристика петиметра, как бы подводящая итог всему, что накопила сатирическая и комедийная литература об этом герое:

«Примаслить волосы французской помадой, усыпать свою голову благовонной пудрой, одеться в самом последнем вкусе; говорить обо всем ни чего не размышляя, и ни чего не зная; прельщаться и прельщать наружностию, менее всего помышлять о внутреннем; с гордою умеренностию говорить о своих достоинствах, не имея их; презирать дарования, не умея оценить их; ..не знать никого лутче себя, быть должну всем и не платить ни кому; говорить дерзновенно о заслугах, и проповедывать о своей неустрашимости и волокитствах; отзываться дерзко на счет добродетельных женщин; пресмыкаться по передним вельмож, желать снискать посредством низости чины и почести; вот что значит Петиметр! ежели слово petit-maître перевести литерально на русский язык, оно знаменует малинький господчик.. и подлинно, я ни чего не знаю менее и не значущее петиметра». (Зрит. I 130—131).

К началу XIX в. интерес к этой теме заметно снижается, хотя отдельные авторы прибегают к такому типажу; так в маске петиметра предстает Галлорус в сатире Боброва «Происшествие в царстве теней» (1805 г.).[8]

---

[8] Впервые опубликована в кн.: Учен. зап. Тартус. гос. ун-та, 1975, вып. 358.

С 60-х годов XVIII в. появляется много переводных произведений, по которым русские читатели знакомились с французскими, немецкими, английскими петиметрами.[9]

В предложенном выше кратком перечне главных произведений, изображающих русских щеголей и щеголих, обращает на себя внимание то обстоятельство, что образ этот фактически почти не изменялся на протяжении 50 лет. То, что было сделано впервые Сумароковым, представившим петиметров и петиметерок Дюлижа, Дюфизу, Деламиду, оставалось стабильным. Иногда добавлялись некоторые детали, смещались акценты, какие-либо признаки опускались или усиливались, но ведущие черты сохранялись. Можно сказать, что тип петиметра словно бы вылился сразу в готовую форму.

Нам представляется, что для объяснения этого нужно выяснить, каковы были источники маски петиметра. Несомненно, что главный импульс дала русская действительность. Заимствование русским двором, придворной знатью и столичным дворянством середины века внешних форм этикета, поведения, одежды и предметов быта французской аристократии, равно как и превращение некоторых вернувшихся из заграничных вояжей молодых дворян во французских щеголей, блиставших туалетами последней парижской моды, не могли не обращать на себя внимания и не вызывать соответствующей реакции. Но в то же время русским писателям (в частности Сумарокову), как нам представляется, не было необходимости нащупывать и отбирать для своего сатирического изображения реальные черты реальных отечественных петиметров. Как русские петиметры были копиями своих французских собратьев, так и их литературные портреты могли быть созданы по образцу иноземных, тем более что к середине XVIII в. западноевропейская литература уже имела вековую традицию воплощения образа петиметра.

Развращенность французского «высшего света», его пустота и ограниченность, с одной стороны, кастовая гордость и тщеславие, с другой, неоднократно служили объектом осмеяния французских писателей. Образы petits-maîtres как воплощение и квинтэссенция представителей дворянской верхушки стали особенно популярны во французской сатирической журналистике, в комедии и романе с начала XVIII в. Само название petit-maître в это время становится чрезвычайно популярным. Когда пети-

[9] Например: *Ковентри Ф.* Жизнь и приключения малого Помпе, постельной собаки. Перев. с нем. СПб., 1766; *Крицингер Ф. А.* Для молодых модных господ. Перев. Л. Д. М., 1766; Жена по моде, или Повесть о Гении Вестбури. М., 1793; Критика одного француза на нравы своих одноземцев. СПб., 1769; *Рабенер Г. В.* Сатиры. СПб., 1764 (другой перевод с более полного немецкого издания в 1792 г.); Перемена светской моды. Перев. с нем. Лодыгина. М., 1788; Женская уборная комната, или Точное изображение великого света. Перев. с нем. Д. Петров. М., 1781; *Нугаре П.-Ж.-Б.* Картина глупостей нынешнего века. Перев. с фр. М., 1782; *Додсли Р.* Галантерейная лавка. Перев. с англ. СПб., 1799 и др.

метры появляются в Англии, Германии, Дании и других западноевропейских странах, то вскоре и там они становятся объектами сатирических стрел (в частности, в Англии в журналах Стиля и Аддисона, в Германии в сатирических журналах «Патриот» и в сатирах Рабенера, в Дании — в комедиях и сатирах Гольберга). В нашем распоряжении было ограниченное число западноевропейских источников,[10] но и они позволяют судить о большой близости изображения европейских петиметров и русских щеголей. Например, пунктуальное следование моде в нарядах. Одеться по моде — это целая наука, которой отдается много труда и времени. Отмечаются пристрастие к духам, внимание к прическе, многократно обыгрываются такие детали туалета щеголя, как красные каблуки, мушки, лорнет и пр.

В русских текстах: «[Дюлиж:] Научиться тому как одеться, как надеть шляпу, как табакерку открыть, как табак нюхать, стоит целова веку» (Сум. Чуд. 273); «Одевшися совсем, полдня он размышляет, По вкусу ли одет» (Поэты XVIII в. II, 373); «Тут истощают все благоуханны воды, Которыми должат нас разные народы» (Там же, I, 373); «Перед зеркалом кабенясь, в третий раз велит перечесывать волосы себе: то побелее, то посерее себя пудрить. За один волос, который немного от букли отстал, он так на парикмахера сердится, как будто бы его чести сделана смертельная обида» (Княж. Мужья, 288).

В западноевропейских текстах: «Платье всегда должно быть окроплено благовонными духами» (Жена по моде 60); «На подобие голубиных крыльев убранная и по самыя плеча опудренная голова, превеликой сзади кошелек» (Мод. госп. 103).

Подчеркивается значение взглядов, «делание лица».

В русских текстах: «[Эраст:] Между тем выделывает глаза свои, как бы ими прекраснее казаться. То жмурит их, то выпяливает как можно более; то нос вытягивает, . . то рот сжимает. . и словом сказать, его искусство дерется с натурою и хочет победить ее» (Княж. Мужья 288).

В западноевропейских текстах: «[Спинетта:] Лицо кокетки никогда не бывает готовым, Над ним трудятся изо дня в день: учатся придавать ему разные выражения, бросать всякия взгляды. Разве неправда, сударыня, что вы однажды просидели битых три часа перед зеркалом — все репетировали один особливо нежный взгляд?» (Мариво Остр. 179); «Целония. . препроводит каждый день по четыре часа за своим уборным столиком в советах, какой бы ей взор, лучше всех пристал» (Ж. комн. 101).

Много общего в изображении манер, поведения щеголей. Ср., например, постоянные упоминания о напевании ими модных песенок, лорнировании женщин и пр. Так, Дюлиж (Сум. Чуд.)

---

[10] В основном использованы произведения, переведенные на русский язык уже в XVIII в.

знает много французских песен и напевает по ходу действия песенку, напевает в театре щеголь Филинт (АП 33), петиметр Ветрогон (Зрит. I 216), упоминает об этом, характеризуя поведение щеголя, Плаксин («то песню запоет» Клуш. СГ 68), поет французский куплет «из оперы комик» Фирлифюшков (Ек. II Им. 105). В западноевропейских текстах: «[Барон]каждую минуту попевал с трелями песенки, и непрестанно при представлении смотрел в лорнет на женщин» (Карт. глуп. 47); научился петь любовные романсы Жан де Франс (Гольберг 56), при встрече с мнимой мадам Лафлеш он спрашивает, не привезла ли она из Парижа новых песен (Там же 79).

Очень близки черты нравственного облика щеголей. Мы уже касались таких черт, как легкомысленное поведение, супружеская неверность (Сум. Чуд.). Эти моменты постоянно обыгрываются в русских произведениях. Щеголиха возмущена тем, что муж влюблен в нее «до дурачества», к тому же и ревнив. «Фуй! как ето неловко: муж растрепан от жены: ето радость гадко!» (Жив. 68); «[Модстих:] Жена и муж... смешна... смешна обоих роль» (Нклв Сам. ст. 133); «[Граф:] Влюбляться не мешает, но только на один час, а то залюбишься до смерти; это будет пахнуть старинным Селадоном» (Перем. нр. 69). В западноевропейских текстах: «[Старый барон] соединял с старинным образом любиться, способ, принятый в нашем веке, т. е. без всяких церемоний, помолодецки» (Карт. глуп. 28); «Он любил модным жаром, тоесть перелетал от черноволосой к белокурой. Зефирет весьма знал свет, следовательно стыдно бы ему было иметь вечную любовницу, и сдерживать свои клятвы» (Там же 105); «Этова нет ничего смешнее в природе, как хранимая любовь между супругами. Такой вкус был лишь только в старину» (Жена по моде 76). «Идеолог» французского светского общества граф де Версак так описывает «хороший тон», принятый в свете: «Развязность в манерах, которая у женщин доходит порой до распущенности, а у нас, мужчин, переходит границы того, что именуется непринужденностью и свободой; преувеличенная живость или, наоборот, медлительность движений; беззастенчивая и злая насмешливость..» (Кребийон 221). И далее: «Посмотрите, как я себя веду, когда хочу блеснуть: как я манерничаю, как рисуюсь, какой вздор несу. Словом, каких только дурачеств я себе ни позволяю» (Там же 215). Все эти черты мы находим и у русских петиметров. Сравним монолог русского щеголя: «[Граф:] Когда находишься с ними (красавицами — *Е. Б.*), должно быть до крайности веселу, смелу, не застенчиву, и некоторым образом наглу, говорить пропасть кстати, или не кстати.., шутить много, быть развязану, судить о модах, говорить о спектаклях, также упоминать о любовной страсти» (Перем. нр. 67).

Все пороки петиметров в изображении русских писателей имели своим источником слепое поклонение французским образ-

цам. «Франколюбие» — лейтмотив петиметра. В этом отношении персонажи русских произведений имели много общего с аналогичными персонажами английской, немецкой, датской, голландской литературы. Галломания не была прерогативой русского дворянства. Особенностью России было лишь то, что она позднее других западноевропейских стран стала приобщаться к французской культуре. В Германии же, например, французское влияние отчетливо проявляется с начала XVII в. Немецкие князья стараются подражать блеску французского двора; распространяются французские моды; этикет, правила поведения, обычаи A-la-mode, «amoureuses Treiben» (волокитство).[11] Уже тогда начинается как реакция на подавление национальной самобытности борьба против французского влияния, одной из форм которой была сатира на наиболее рьяных последователей Alamodeweisen. Ср., например, следующую эпиграмму:

Nach der mode Reden führen,
Nach der mode Glieder rühren,
Nach der mode Speise nehmen,
Nach der mode Kleider bremen,
Nach der mode Zucht verüben,
Nach der mode Menschen lieben,
Nach der mode Gott verehren,
Will Morinna alle lehren.[12]

К XVIII в. французское влияние на страны Западной Европы еще более усиливается, одновременно растет и сопротивление этому влиянию, в частности в форме сатирического осмеяния петиметрства. Отсюда изображение таких черт как презрение к тому, что делается и производится в своей стране, и благоговение перед любой вещью, вывезенной из Парижа. «Могут ли наши русские что-нибудь так зделать?» — спрашивает Граф, восхищаясь новым кафтаном, который, как его уверили, сшит французским портным (Перем. нр. 20). Ср. аналогичное представление у немецких модниц: «Она едва успела туда войти, то все ея окружили, говорили на французском языке: ах какой прекрасный убор! небо! как ето хорошо! Друг сердечной, где ты взяла такой дессейн? Не твой ли это вкус? Не здесь ли ты заказывала ето зделать? — Нет, это не может быть; нет, сударыня! лишь сей же час из Парижа получила чрез почту» (Бездушн. I 35—36). У английского петиметра «все парижское великолепие блистало в его доме, и он прославился сим в городе» (Помпе 19).

Сам Париж — место притяжения французоманов. Не считается тот настоящим человеком, «кто не ездил в Париж за тем, чтобы перенять, как говорят и обходятся Французские петиметры»

---

[11] *Бах А.* История немецкого языка. М., 1956, с. 216.

[12] *Schramm F.* Schlagworte der Alamode Zeit. — In: Zeitschrift für Deutsche Wortforschung, herausgegeben von Fr. Klüge. Strassburg, 1914, S. 29—30.

(Соч. и перев. 1761, 249). «Ах! может ли что сравняться с Парижем? .. O Paris! Incomparable Paris! — восклицает Граф (Перем. нр. 61). В восторге от Парижа побывавший там Иванушка (Фнв. Бриг.). О стремлении немецких модников в Париж и о развращающем влиянии последнего на немецких юношей пишет Рабенер (Сатиры Р. 1792, 274); с тоской вздыхает о Париже датский недоросль Ганс Франдсен: Ah, Paris, Paris! (Гольберг, 79).

Параллельны сожаления петиметров, что они не французы. «[Франколюб:] Я экспатрируюсь, и в том надеждой льщуся, Что во Французы я на сих же днях впишуся» (Хвост. Рус. париж. 154). «[Сын:] Тело мое родилося в России, это правда; однако дух мой принадлежал короне Французской (Фнв. Бриг. 57). «[Дюлиж:] Для чево я родился Русским! о натура! не стыдно ль тебе, что ты, произведя меня прямым человеком, произвела меня от русского отца?» (Сум. Чуд. 259). Ср. в немецком тексте: «Теперь все у ней чужее, кроме тела, которое она в отечестве, и то с досадою себе взрастить имела случай» (Сатиры Р. I, 15).

Приведенные сопоставления с очевидностью демонстрируют общность изображения петиметров в русских и западноевропейских произведениях. Говоря о воздействии западной литературы, мы имеем в виду прежде всего общее воспроизведение темы и уже сложившейся маски или модели петиметра. Но, кроме того, имело место и непосредственное использование зарубежных источников. Известны факты скрытых переводов и переделок (кстати сказать, явление, свойственное всей литературе периода классицизма). Например, в журнале «Всякая всячина» многие статьи, связанные с изображением щеголей и кокеток, а также новомодных обычаев, как установлено исследователями, непосредственно заимствованы из английского «Зрителя».[13] В журнале «Смесь», очень широко представляющем тему о петиметрах, многие сюжеты также заимствованы из сатирических журналов Ван Эффена, Бастида и из сатирических брошюр.[14] Некоторые комедии с персонажами-петиметрами являются переделками иностранных пьес или используют их мотивы.

Много общего в приемах изображения щеголей. Например, можно указать на частые «анималистические» сравнения петиметра с обезьяной, попугаем, насекомыми, а также на сравнение с куклой, марионеткой или машиной.

В русских текстах: «Взирая на петиметра и на обезьяну, можно подумать, что или душа обезьяны духовна, или душа Петиметра вещественна» (Крыл. ПД I, 103); «Здесь почитается

---

[13] *Левин Ю. Д.* Английская просветительская журналистика в русской литературе XVIII века. — В кн.: Эпоха просвещения. Л., 1967; *Солнцев В. Ф.* «Всякая всячина» и «Спектатор». — Журнал Министерства народного просвещения, 1892, № 1, отд. 2, с. 1125—1126.

[14] *Солнцев В. Ф.* «Смесь», сатирический журнал 1769 г. СПб., 1894.

наиважнейшею наукою переделываться из людей в обезьяны» (Страх. Переп. 8); «[Арлекин:] Едакое безобразие, стыд роду человеческому. Конечно это обезьяна; да не здешняя» (Сум. Чуд. 273); «Morbleu! — сказала сидевшая подле меня кукла в золотом кафтане» (Крыл. ПД I 113); «Вы с ног до головы похожи на машину, Котора действует через свою пружину» (Клуш. СГ 68).

В западноевропейских: «Агличане обыкновенно наших (то есть французских, — *Е. Б.*) щеголей обезьянами называют» (Мол. госп. 16); «Не подражал другим (как обезьяна)» (Перем. моды 33); «Мы их называем махинами» (Критика фр. 15).

Но, пожалуй, самой яркой и наиболее зло высмеиваемой чертой петиметрства было изображение речи петиметров. Петиметр постоянно подчеркивает свое презрение к родному языку и благоговейное уважение к французскому. «Я бы Русскова языка знать не хотел. Скаредной язык!» — восклицает Дюлиж (Сум. Чуд. 259); «По нужде говорю я этим (то есть русским — *Е. Б.*) языком С лакеем, с кучером, со всем простым народом, Где думать нужды нет. А с нашим знатным родом, Не знав Французского, Я был бы дураком», — сетует Ветромах (Княж. Чудаки 35). Помещица Фирюлина в отчаянии: «Наша деревня так близко от столицы, а никто здесь по-французски не умеет: а во Франции от столицы верст за сто, все по-французски говорят» (Княж. Несч. 259).

Чтобы облагородить свой язык, петиметры «украшают» его, употребляя французские слова и выражения. «Наш язык самой зверской, — утверждает Верхоглядов, — и коли бы не мы его чужими орнировали словами; то бы на него (так! — *Е. Б.*) добрым людям без ореру дискурировать было не можно» (Лук. Щепет. 214). «По-французски я и с наслышки говорю, и руской им язык, не меньше других моих сестер украшаю», — вторит ему престарелая модница Минодора (Сум. Мать 92).

На моду употреблять французские слова в разговорах обращается внимание во многих сатирических журналах. «Не забывайте мешать французские слова, как например: не сказать по Руски головная болезнь, это походит на старину, но вымолвить migraine», — иронически советует «Смесь» (4, 178). «Природной свой язык неважен и невкусен», — так считают щеголи, «хваляся десятью французскими словцами», «хоть праведно и тех не знают произнесть», — констатирует неизвестный автор «Сатиры на употребление французских слов в русских разговорах» (Поэты XVIII в. II, 394).

Пренебрежительное отношение русских щеголей к родному языку было сродни такому же отношению английских, немецких, датских галломанов к отечественному языку. Это нашло яркое отражение в английской комедиографии (Додсли), датской (Гольберг), в немецкой сатире (Рабенер, Ленц).

2. ЩЕГОЛЬСКОЙ ЖАРГОН В КОМЕДИИ И САТИРЕ XVIII в.

Жаргон петиметров по материалам русской комедии и сатирической журналистики уже был объектом внимания исследователей. О нем писали в связи с исследованием языка отдельных писателей и как об особом стилистическом средстве в жанре комедии. Намечены и определены основные разновидности жаргона.[15]

Первая разновидность жаргона характеризуется использованием французских слов и выражений, включаемых в речь часто в русифицированном виде. Она представлена, в частности, в речевых партиях Дюлижа (Сум. Ссора), Дюлижа, Деламиды и Дюфизы (Сум. Чуд.), кокетки Минодоры (Сум. Мать), Верхоглядова (Лук. Щепет.), Ветромаха (Княж. Чудаки), графа Никандра и Пульхерии (Вертопр.), Модстиха (Нклв Сам. ст.), слуг Пролаза и Марфы, изображающих щеголей (Княж. Мужья), служанки Плутаны в той же роли (Крыл. Проказн.).

Другая разновидность жаргона отличается наличием русских слов, слов-ка́лек, имеющих особую специфическую экспрессивную окрашенность. На этом жаргоне говорят «вертопрашки» Нимфодора и Маремьяна (Лук. Щепет.), граф Беглоумов (Перем. нр.). Фрагменты этого вида жаргона впервые были использованы в «Сатире на петиметра и кокеток» Елагина, что свидетельствует об одновременности появления в литературе обеих разновидностей, хотя второй вид жаргона особенно ярко представлен в комедиях лишь с середины 60-х годов, а кульминация его наблюдается в сатирических журналах Новикова («Письма щеголихи», «Опыт словаря щегольского наречия»).

Демонстрируется также и смешанный вид жаргона, с преобладанием той или другой его разновидности, например в речи Иванушки и Советницы (Фнв. Бриг), графа Дубового и Новомодовой (Крыл. Сочинитель).

Насколько нам известно, выяснив в общем виде вопрос о том, каковы источники жаргона, и признав имп французский язык, исследователи не предпринимали попыток сопоставить жаргон русских щеголей с жаргоном французских петиметров и с жаргоном немецких, английских модников. Мы не можем в рамках данной статьи провести такое сравнение в сколько-нибудь полном виде, так как для этого потребовалось бы выявить и обследовать значительно больше французских и иных иноязычных текстов, фиксирующих жаргон, а также привлечь достаточный круг исследований, посвященных его изучению и описанию, чем было осуществлено здесь. Тем не менее, как кажется, даже фрагментарное сравнение может дать интересный материал для предварительного ответа на вопрос о том, в каком отношении находится щегольской жаргон русских петиметров с жаргоном их

---

[15] *Берков П. Н.* О языке русской комедии XVIII в.

французских и западноевропейских собратьев. Для этого необходимо представить себе хотя бы в общем виде особенности жаргона французских петиметров.

Жаргон французских петиметров представляет собою результат развития и видоизменения прециозного жаргона предшествующего века. Изысканная жеманность прециозности отходит на задний план, уступая место грубоватости и сниженной экспрессивности речи, использованию вульгаризмов и особенно модных словечек. Жаргон по-прежнему «делают»,[16] создают новые слова, причудливые обороты речи, щедро украшают его восклицаниями, гиперболическими выражениями.[17]

В числе «les mot favorits» (излюбленных словечек) были междометия ah, oh, eh; восклицания: eh mais (да ну!), bon! (хорошо!), a propos (кстати), ma foi (правда!); формулы божбы, подтверждения или усиления высказывания: en honneur (по чести), vraiment (истинно), fi donc (а как же!), parbleu, pardieu, morbleu (черт побери), comment donc (а как же), quelle ideé (что за мысль), quelle folie! (какая глупость!), quele horreur! (какой ужас!) и пр. Излюбленные словечки, кроме того, могли быть самыми разнообразными, но каждое в речи определенного персонажа служило как бы знаком, отметкой его словесного облика.

Гиперболичность высказываний создавалась подбором слов, которым придавалось значение интенсивности характеристик, например: horriblement (ужасно), fatalement (неизбежно), joliment (очень), furieusement (страшно); использованием форм превосходной степени: au mieux, au parfait, au possible, au supréme; употреблением для характеристики действия усилительных формул: on aime à la fureur, à la folie, à la passion, à la rage (любить до бешенства, до безумия, до страсти), on loue outrance (хвалить до крайности), on rite aux éclats (смеяться очень громко), on est au désespoire, au supplice (быть в отчаянии, в муке), on rite à mourir (умирать от смеха, смеяться до смерти), on s'ennuie à mourir (скучать до смерти) и мн. др.

Определенный набор слов определял свойства светского человека. Он должен быть aimable (любезный), agréable (приятный), affable (приветливый), prévenent (предупредительный), complaisant (услужливый), gagnant (резвый) и пр.; по внешнему виду — élégant et retapé (элегантен и растрепан), moucheté (испещрен мушками), diamanté (осыпан бриллиантами), pomponné

---

[16] Теоретик прециозности Сомез писал: «Прециозницы прилагают все усилия к тому, чтобы разрушить старый язык, и создают совершенно новый язык, который присущ им одним». — Цит. по кн.: История французской литературы. Т. I. М.—Л., 1946, с. 370.

[17] В характеристике жаргона французских петиметров и демонстрации составляющих его лексических элементов использованы материалы, приведенные в исследовании: *François A.* La langue postclassique. — In: *Brunot F.* Histoire de la Langue Française, des Origines à 1900. Paris, 1930, T. 6. p. 2.

(разряжен), adonisé (наряжен — от Adonis), у него des talons rouges (красные каблуки).

Особенно богат, разнообразен и метафоричен был «jargon de la galanterie». Любовь, ухаживание имеют много детализированных имен (модно, например, сопоставление любви с военными действиями, поскольку «любовь есть состояние войны»); в обращении к даме используются ma petite, ma reine, petite reine.

В речи французских петиметров были употребительны наименования модных предметов обихода, одежды, украшений, экипажей и пр. (эти специфические слова купцов, ремесленников проникали в общий язык через жаргон и составляли одновременно одну из его особенностей).

Попробуем сопоставить материальные единицы, формирующие щегольской жаргон, представленный в русской литературе, с его возможным французским прототипом. Рассмотрим сначала первую разновидность его, связанную с использованием французских слов.[18] Какие же французские слова привлекались? Для этой разновидности жаргона характерно следующее:

Употребление междометий, напр.: ah, oh. «[Дюлиж:] Ah, mon ami vous êtes un très bon garçon» (Сум. Чуд. 259); «[Фирлюфюшков:] Ah! ma Princesse! bon jour» (Ек. II Им. 177); «[Фекла:] Ah! ma chére amie!» (Крыл. УД 567); «[Ветромах:] O! que le diable m'émporte!» (Княж. Чудаки 36).

Употребление восклицаний, формул божбы и пр., таких как *апропо*, à propos (Сум, Чуд. 262), parbleu (Смесь, 4, Вертопр. 474), pardieu, *пар дие* (Фнв. Бриг. 69, Лук. Щепет. 214), morbleu (Рус. париж, 182), fi donc (Княж. Чудаки 35), *фидом* (Лук. Щепет. 214, Ек. II Им. 101), que diable (Крыл. Проказн. 302), *кель диабле* (Лук. Щепет. 214), que la diable m'emporte (Княж. Чудаки 36), *диябль мань порт* (Нклв Попытка 159), devant dieu (Сат. на петим. 376); mon dieu (Фнв. Бриг. 52), grand dieu (Сум. Чуд. 257), *сур мон гониор* (Рус. париж. 173), juste ciel (Там же 174); употребление формул с quel — quelle pensee! quelle impertinence (Сум. Чуд. 257), mon dieu quel temps et quelles gens! (Ек. II Им. 99).

Употребление слов, создающих экспрессивную окраску и гиперболизацию изображаемого, например, *трезэмабль* (Сум. Ссора 78), *тре-галан* (Лук. Щепет. 214), *трез естиме* (Там же), un très bon garçon (Сум. Чуд. 258).

Употребление слов-ругательств, а также слов, придающих речи петиметров грубоватость, непринужденность;[19] например: bête (Сум. Ссора 76), quelle bête (Ек. II Им. 107), maraud (Княж. Чудаки 53).

Употребление слов, характеризующих внешность, манеры, поступки, состояние петиметров, например *адорабль* (Сум. Ссора

[18] Графически могли передаваться и русскими литерами.

[19] Ср. «Маленькое похабство, авек эсприт выговоренное, анимизирует компанию» (Лук. Щепет. 215).

76), *эмабль, aimable*[20] (там же 78, 84), *авантажен* (Перем. нр. 55); наименований — характеристик щеголей — galant homme,[21] чаще в транслитерированной форме *галантом, галантон* (Сум. Ссора 77, Лук. Щепет. 214), honnet homme, *гоннет-ом* (Лук. Щепет. 214). Характерно, что основное наименование *петиметр* обычно в качестве самоназвания не выступает. Антиподы петиметров — *педанты, игноранты* (Рус. париж. 181, Вертопр. 475).

Употребление слов «галантной» и любовной темы, например таких как: amour, rival, *риваль* (Сум. Чуд. 257, Лук. Щепет. 214), adorateur (Сум. Ссора 78), *амант*, amant (Сум. Ссора 78), amante, *аманта* (Сум. Чуд. 264, Смесь л. 4 26), *адорировать* (Сум. Ссора 78), *инфиделите, деклинация* (Сум. Мать 64, 65), *пассия, компассия* (Сум. Мать 92), *флатировать* (Сум. Ссора 78) и др. Обращения петиметров и кокеток друг к другу: mon coeur (Рус. париж. 244; Ек. II Им. 101), ma deesse (Ек. II Им. 181), ма рень (Княж. Мужья 281).

Употребление наименований модных предметов, причесок, модных оттенков цвета и т. п.: poudre grise, poudre blonde (Смесь 26), *тюрбан* (Крыл. ПД I 154), *фуро* (Там же I 6), *жабот* (Крыл. Зрит. II 43), *неглиже* (Полезн с приятн. I), *батавия* (Ек. II Им. 101), *круазе* (Там же 101) и мн. др.; прически — *анкрошет, аляќроше, ен кок* (Переп. моды 17); цвет — merdre d'oie (букв. 'цвет гусиного кала') (Рус. париж. 171, Собес. 1784 XI, 24). Княжнин в книге щеголя под названием «Елеман де ла туалет или систем де ла коафюр» перечисляет (иронически переосмысляя) головные уборы и модные прически: «Коафюр, для сокращения очень длинного лица. Убор на голову из блонд. Суплеман замысловатый для возвышения впалых щек. Корнет летучий, чтобы глаза выдавались вперед, дормез, чтобы поутру казаться умнее» (Княж. Мужья 296).

Приведенные нами примеры, как кажется, дают основание утверждать, что наблюдается значительная близость между лексическими единицами, включаемыми в речь русских щеголей, и лексикой французских петиметров. Это свидетельствует в пользу предположения о том, что основным источником, откуда наши

---

[20] Интересное рассуждение о слове aimable приведено в журнале «Зритель»: «Жан Жак Руссо весьма справедливо говорит, что слово *любезный*, переведенное с Французского aimable, ныне занимает место всех добродетелей в общежитии и должностей человека, — — и так не требуется для офицера храбрости и знания, когда похвала его вышла из уст прекрасных кокеток: ах как он мил. — — для судьи безполезна строгость правосудия, — — если раскрашенная en fresque сороколетняя девица промычит сквозь гебеновые зубы: как он любезен. — — всем равнодушна соделывается должность, кроме долгу быть милым и любезным в глазах женщин» (Зрит. II, 31).

[21] «C'est un galant homme marque un homme d'esprit, un homme enyou joué, argéable» (Галантный человек значит человек острого ума, человек веселый, приятный) — пишет один из французских писателей XVIII в. — Цит. по кн.: *Lathuillére R.* La préciosité. T. I. Geneve, 1966.

русские писатели черпали материал для речевой характеристики русских петиметров, был не французский язык вообще, а прежде всего жаргон французских петиметров.

В щегольской жаргон могли включаться, кроме того, и другие разряды и группы французской лексики, не являющиеся обязательной принадлежностью jargon des petits-maîtres, но получающие особую маркированность в речи русских петиметров. Это относится прежде всего к употреблению глаголов, оформленных суффиксом *-ировать*, например, *меритировать* (Сум. Ссора 78), *мепризировать* (Там же 78), *компренировать* (Там же 83), *орнировать* (Лук. Щепет. 214), *дискурировать* (Там же), *жужировать, офрировать, монтрировать, дивинировать, продюировать* (Там же); прилагательных и наречий с суф. *-абельн-*: *пардонабельно* (Сум. Ссора 78), *резонабельный* (Там же), *экскюзабельный* (Там же).

Этот вариант щегольского жаргона обнаруживается и в произведениях западноевропейских нефранцузоязычных писателей. Приведем в качестве примера некоторые извлечения из немецкого источника. В сатирической сценке «Elysium» Я. Ленца[22] в царство теней прибывает Меркурий в виде модного петиметра (bist gepudert, parfumirt, und geputzt) и говорит модным жаргоном, включая в свою речь французские слова: fi donc, mon dieu, que le diable m'emport, dieu me garde, pardonnez-moi, vous ne me componez pas и т. п. Ср. в его диалоге с Робинзоном Крузо: «[M e r k u r:] Ja, *pardonnez-moi* von velcher Insel reden sie? [R o b i n s o n:] Von meiner. [M e r k u r:] Das ist noch nicht genug; *vous ne me comprenez pas*; sie müssen wissen, das es drey Robinson Crusoés giebt» с. 497). Харон, обращаясь к Меркурию, говорит: «Bey den Donnerkeilen des Zevs! sag'an, hast du dein Deutsch vergessen, das du's immer so mit Französischen durchspickt?» (с. 499).

Обратимся теперь ко второй разновидности щегольского наречия. Значительная часть его примет совпадает с теми, которые установлены для первой его разновидности, с той лишь, естественно, разницей, что создаются они лексическими средствами русского языка. Таковы употребления междометий: «*Ах!* как же ты теперича стал мил!» (Перем. пр. 48); «*Ах!* как она играет!» (Зрит. I 216); ср. статью на *Ах* в «Опыте словаря щегольского наречия» в новиковском «Живописце» (Жив. I, 74—76).

Употребление восклицаний, формул божбы и пр.: *по чести, божусь. честью клянусь* (Трут. 1779, 42), *чорт меня возьми* (Жив. I, 25) и пр.[23]

[22] Für Leser und Leserinnen, 1781, B. III, N 18.

[23] На приверженность щеголей к клятвам неоднократно указывается. Так, служанка наставляет свою госпожу, переодетую молодым франтом: «Вам должно хорошенько ко всему привыкнуть и научиться поступкам придворных господ, украшать изредка речь вашу божбою, не смотря на то, в правде или во лже». (Лук. Нагр. пост. 138).

Употребление слов, создающих экспрессию и гиперболизацию изображаемого: *ужесть*, реже *ужасно*: «*Ужесть* как смешны ученые мущины» (Жив. I, 25); «*Ужесть* как мила», «*ужесть* как мне гадки» (Трут. 1770, 181, 92); «ты ужасно как мне досадила» (Крыл. Сочинитель 218); сочетания *до смерти, до чрезвычайности, до невозможности, до дурачества, до безумия* и т. п. (ср. возможное воздействие формул à la fureur, à la folie, à la passion и т. п.): «Все разхохочутся *до смерти*» (Жив. I, 67), «Мы бы тебя *до смерти* захвалили» (Там же), «залюбишься *до смерти*» (Перем. нр. 63), «влюблен в меня *до дурачества*» (Там же), «дурачиться *до безумия»* (Там же), «посыпаешь *до чрезвычайности* свою ученость» (Там же, 63); *беспримерно, бесподобно, решительно, славно, пропасть* и пр. (см. статьи в «Опыте словаря»).

Употребление слов, придающих грубоватость, непринужденность. Таковы слова, вовлекаемые в жаргон обычно со смещенным значением: *подтяпать, прокричать, вытащить, зацепиться, опрокинуть, привязаться, отвязаться, отцепиться, тащить* и пр.: «Веть мнение то Щеголихино ты у меня подтяпал» (Жив. I, 65); «Ты ето так славно прокричал, ..как книга» (Там же, 65); «Одну из моих подруг вытащил на театр» (Там же, 66); «Ты и сам зацепился, но ето шуткою» (Там же, 68); «Опрокинутое мое понятие» (Там же, 68); «Мужчина, притащи себя ко мне» (Там же, 75).

Ту же сниженную экспрессию выражают и слова, связанные с темой ухаживания, светских занятий: *махать, махаться, пришибать, бегать, привязывать* и пр.: «[Нимфодора:] Где ты так пришибать научился?» (Лук. Щепет. 205); «С которою машусь, ту одну хвалю» (Жив. I, 4); «[Граф:] Я за тобою примахнуть хочу» (Хвост. Мн. счастл. 325); «Молодые мущины толпами за мною бегают» (Трут. 1770, 45); «Я ни одному ничего не обещаю, но однако всех их к себе привязываю» (Там же); «За всякою девушкою я волочусь» (Кошелек 75).

Характерно для этого варианта щегольского жаргона употребление некоторых уменьшительных: *мужчинка* (Перем. нр. 67), *сердечные хлопотишки* (Там же 83), *прекрасные созданьица* (Там же 67). Использование десемантизированных обращений: *радость, душа моя, жизнь моя, ангел мой,*[24] например:

«[Марсмьяна:] Шутишь, радость» (Лук. Щепет. 205); «[Фирюлина:] Я удивляюсь, душа моя» (Княж. Несч. 176).

---

[24] Аналогичные обращения в переводных драмах Петровского времени, восходящие к метафорам западноевропейской поэзии, отмеченные Е. Г. Ковалевской («Интимные диалоги в переводных светских драмах Петровского времени». — В кн.: Новые черты в русской литературе и искусстве. XVII—начало XVIII в. М., 1976), имеют иную тональность, и вряд ли можно говорить о традиции в их использовании для речевой характеристики персонажей-петиметров.

Ему свойственны также особые модные выражения и обороты речи, например: *теснота в голове, уметь нравиться, сидеть разбросану, быть совсем развязану, резвый ребенок, дурачиться по-дедовски, гнилой взгляд, на четырех ногах поскачет, я от тебя падаю, посадил себе в голову вздор, не ловок выделан, сделать грубость палкою, разнять глаза* и пр. (приведены лишь некоторые примеры из числа выделенных разрядкой самим Новиковым).

При значительных чертах сходства обоих видов жаргона последний отличается значительно большей степенью экспрессивности и «преувеличенности» выражений.[25] Русский вариант жаргона, как это подчеркивается неоднократно в источниках, свойствен, прежде всего, щеголихам, это преимущественно дамская разновидность жаргона.

Основная часть приведенных здесь (и оставленных за пределами статьи) жаргонизмов связана с воздействием французского языка (точнее — французского жаргона петиметров), с процессами калькирования и семантической индукции. В общем виде на это уже указывалось; в частности, П. Н. Берковым были сделаны и некоторые разыскания для отдельных конкретных слов.[26] Тем не менее второй вариант щегольского жаргона и, прежде всего, образцы его, представленные в новиковских журналах, требуют особого исследования, — но это тема другой работы. Укажем лишь, что, по нашему убеждению, начинать надо с обращения к лексико-семантической основе жаргона французских петиметров.

В данной работе обращалось внимание прежде всего на черты сходства между французским жаргоном и русским, поскольку было важно выявить источники щегольского жаргона «русского извода». Более детальное сопоставление выявит, по всей вероятности, и несовпадения между ними. Уже сейчас можно отметить, например, что жаргон русских петиметров (как явление литературное) у́же, определеннее, однозначнее. Ему не свойственны, в частности, такие ответвления, как изысканный жаргон петиметров Мариво (так наз. мариводаж).

Завершая общую характеристику щегольского жаргона, обращаем внимание на то, что при довольно широком диапазоне лексических жаргонизмов вычленяется довольно четко очерченный круг наиболее частотных единиц, которые обладают особенно яркой маркированностью. Это как бы опознавательные знаки жаргона. Таковы для первого варианта формулы клятв,

---

[25] Ср. совет, как должна выражать свои чувства щеголиха. Она должна говорить о какой-либо вещи не «sie ist gut», но «bewundерswürdig, göttlich»; если она немного устала, но те «wenig müde», но «zermalmt, vernichtet»; если огорчена, то «rasend» и т. д. (Für Lesser und Leserinnen, 1781, B. III. S. 411).

[26] Из работ последних лет интересен комментарий к сатире Боброва «Происшествие в царстве теней». *Лотман Ю., Успенский Б.* Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры. — Учен. зап. Тартус. гос. ун-та, 1975, вып. 358.

божбы — parbleu, pardieu, morbleu, fi donc, que diable; слова-характеристики: aimable, adorable; обращения: mon coeur, mon ange и под. Для второго варианта, соответственно, также формулы божбы: *по чести божусь, честью клянусь*; слова и сочетания экспрессивного плана — *ужесть, до смерти, до безумия, до дурачества, бесподобно, беспримерно*; обращения: *радость, душа моя*; слова любовной темы: *махать, -ся, болванчик*.

3. РЕЧЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЩЕГОЛЕЙ В КОМЕДИЯХ СУМАРОКОВА, ФОНВИЗИНА, КРЫЛОВА

Переходя к исследованию особенностей воспроизведения щегольского жаргона в комедиографии Сумарокова, Фонвизина и Крылова, сделаем несколько предварительных замечаний. При изучении языка писателя XVIII в. необходимо учесть специфику исторического развития литературы той поры. Признано, что для литературной системы классицизма понятие индивидуального стиля проступает лишь в общих чертах. Литературно-художественное произведение соотносится не сколько с автором, сколько с жанром. «Стилистические приемы, образы, средства выражения, правила их комбинаций, нормы их применения, — утверждает вслед за Г. А. Гуковским В. В. Виноградов, — рассматривались как качества идеальных образцов жанра, а не как продукты индивидуально-художественного творчества».[27]

Однако, поскольку стремление к созданию «идеальных образцов» требовало использования не только уже выработанных, готовых форм, но и создания оптимальных, наиболее адекватных представлению об «идеале жанра», то индивидуальность творчества, личность сочинителя, по нашему мнению, не могли не проявляться и в том, что́ именно данный автор считал идеальным, и в том, какие средства избирал для его воплощения. Несомненно, что индивидуальное своеобразие писателя было ограничено требованиями жанра (если только он не ломал классицистические рамки), но в пределах жанра особенности его «почерка» могли проявляться более или менее отчетливо.

В глазах современников Сумароков был «отцом новой комедии». Образы петиметров Сумароков представляет уже в двух первых своих комедиях «Чудовищи» и «Ссора у мужа с женою». В соответствии с классицистической традицией давать персонажам имена-характеристики герои Сумарокова наделены романскими именами, намекающими на приверженность их носителей к иноземному. Это Дюлиж в «Чудовищах», Дюлиж, Деламида и Дюфиза в «Ссоре».[28] После первых комедий наступает

[27] *Виноградов В. В.* Проблема авторства и теория стилей. М., 1961, с. 60. Ср.: *Гуковский Г. А.* К вопросу о русском классицизме. — В кн.: Поэтика. Вып. 4. Л., 1928, с. 135.

[28] Значение их имен установить не удалось. Дюлиж возможно от diligе 'проворный' или du liège (liège — 'пробка').

значительный перерыв в обращении Сумарокова к комедиографическому жанру. В следующей группе комедий 1764—1768 гг. образы петиметров не привлекаются, и лишь в последних комедиях 70-х годов драматург выводит престарелую кокетку Минодору[29] (комедия «Мать совместница дочери»).

Комедии Сумарокова, особенно первые, по справедливому замечанию Г. А. Гуковского, представляют собою «ряд более или менее механически связанных сцен; одна за другой на театр выходят комические маски, действующие лица, представляющие осмеиваемые пороки, и в диалоге, не двигающем действие, показывают публике каждая свой порок. Когда каталог пороков и комических диалогов исчерпан, пьеса заканчивается».[30] Такое построение пьесы требует яркости и точности речевой характеристики каждого персонажа. Однако в первых пьесах Сумарокова речь действующих лиц еще мало индивидуализирована. Речевые партии «любовников» строятся на том же языковом материале, что и «бытовых» персонажей. Характерологическая окраска придается лишь речи педантов, подьячих и щеголей. Речь последних отчетливо маркирована приметами щегольского жаргона.

Маска петиметра была очень удобна для осмеяния галломании русского придворного общества. Петиметр был одним из персонажей, предложенных Сумароковым в качестве объекта сатиры за два года до реального воплощения им этого образа.[31] Изображение же щегольского жаргона шло в русле борьбы писателя за национальную чистоту русского языка; известно, что об опасности иноязычного воздействия («порче») на русский язык Сумароков писал неоднократно.

Очевидно, в связи со своими взглядами на иноязычные заимствования, Сумароков, изображая речь петиметра, демонстрирует ее первый вариант, характеризующийся использованием лексических галлицизмов.

Иноязычные элементы, формирующие речь петиметра Дюлижа («Чудовищи»), представлены как в написании языка-источника, так и в транслитерированном виде. Вероятно, при сценическом воспроизведении первые звучали с французским прононсом, а вторые произносились по правилам русской фонетики. Это были отдельные слова (justement, assurement, ridicule,

---

[29] Ее имя можно рассматривать в плане традиционного обозначения щеголих (ср. Нимфодора в комедии Лукина «Щепетильник»); не лишено основания сопоставление с фр. minauderie 'жеманство' (ср. Жеманиха в комедии «Русский парижанец» Хвостова).

[30] История русской литературы. Т. III, ч. 1. М.—Л., Изд. АН СССР, 1941, с. 402.

[31] Представь мне щеголя, кто тем вздымает нос,
Что целый мыслит век о красоте волос,
Который родился, как мнит он, для амуру,
Чтоб где-нибудь к себе склонить такую ж дуру
(Эпистола о стихотворстве. Сум. СС I 343).

риваль, метресса, аманта, канапе, сибу), а также сочетания слов (grand Dieu! quelle pensee! quelle impertinence! voila tout) и целые фразы (Ah! mon ami, vous êtes trés bon garçon; vous avés raison; vous parlés come un oracle), в том числе строчка французской песенки (Colin la, la la la jetta par terre). Обращает на себя внимание то, что количественно жаргонизмов не очень много (около десятка слов и несколько фраз), правда и речевая партия Дюлижа сама по себе не велика. Кроме того, показательно, что представленные жаргонизмы (особенно в русском оформлении) не являлись раритетами. Часть их уже функционировала в европеизированной речи дворянского общества (например, *аманта, риваль, метресса, канапе*). Более четкий «щегольской» характер имеют экспрессивные восклицания (grand Dieu! quelle pensée).

Можно предположить, что в своей первой комедии Сумароков еще нащупывает характерологические элементы, репрезентирующие речь щеголя. Поэтому «петиметрская» окраска речи Дюлижа создается не столько специфическими элементами французского щегольского жаргона, сколько использованием французских слов и фраз вообще.

Семантические галлицизмы в речи Дюлижа единичны. Опи особо подчеркиваются и обыгрываются, например *день ли у вас*: «[Дюлиж:] День ли уж у вас. [Арликин, слуга:] Когда во всем Петербурге день; так и у нас не ночь тогда. [Критициондиус:] Он меня привел в размышление, я об этом напишу диссертацию, что ето, день ли уж у вас, говорится не правильно. [Арликин:] На что марать бумагу, етава и без тово никто не говорит. [Дюлиж:] Однако ето слово вводят. [Арликин:] Едакое слово в Русской язык тяжело вводить, надобно ввозить» (Сум. Чуд. 264—265).

Степень насыщенности речи Дюлижа иноязычностью различна. Первая его реплика при выходе на сцену не маркирована. Увидев незнакомого ему человека с отцом предполагаемой невесты, Дюлиж спрашивает: «Что за тварь ето?» Так как ему не отвечают, он повторяет вопрос, используя вместо *тварь* равнозначное иноязычное *бестия*,[32] т. е. вторая его реплика уже маркирована: «Господин Бармас, что ето за бестия» (Сум. Чуд. 257). В последующих явлениях почти в каждой его реплике есть иноязычные элементы. Показательна сцена с педантом Критициондиусом, в которой Дюлиж выражает свое одобрение тому, что говорит партнер: «[Критициондиус:] Ето безчестье Французскому языку, что ты тому говоришь Colin la jetta par terre кто етова знать не достоин. [Дюлиж:] Vous avés raison. [К.:] Такия хорошия слова говорить перед ябедником,

[32] *Бестия* — заимствование XVII в. из лат. bestia. Употреблялось в знач. 'зверь, животное'; в разгорной речи — бранно. В речи Дюлижа — контаминация принятой лат. формы и значения, связанного с фр. bête 'живое существо'.

слово в слово как перед глухим петь. [Д.:] Justement. [К.:] Как слепому живопись показывать. [Д.:] Assurement. [К.:] Как перед безграмотным стихи читать. [Д.:] Vous parlés come un oracle» (Сум. Чуд. 260—261).

Но есть целые куски, например диалог с тем же Критициондиусом об отличии комедии от трагедии, в котором речь Дюлижа нейтральна; лишь в конце диалога, когда идет рассуждение о слове *седалище,* употребленном в трагедии, Дюлиж предлагает заменить его словом *канапе,* что создает ироническую ситуацию стилистического несоответствия.

Дюлиж — единственный петиметр в комедии. Поэтому при развертывании сценического действия его речь в диалогических сценах создает особенно яркий контраст с речью всех прочих персонажей. Ср. в вышеприведенной сцене с Критициондиусом, где логическим построениям педанта на тему «бессмысленно говорить тому, кто не понимает», аккомпанируют французские подтверждения петиметра. Кроме того, драматург использует при построении диалогов с участием Дюлижа комическую ситуацию непонимания. И отец невесты Бармас, и ябедник Хабзей не знают французского, речь Дюлижа им мало понятна, а то, что «мудрено», в их представлении, связано с немецким языком или латынью. Ср. в диалоге Дюлижа и Бармаса: [Бармас:] «Ето не бестия, человек, деловой, и мой нареченной зять, господин Хабзей. [Дюлиж:] Изрядной у меня риваль. Grande Dieu! [Б.:] Да нечево по немецки то говорить, конечно он зять мой будет. [Д.:] Что? вы думаете, что я говорю понемецки. Quelle pensee! quelle impertinence! чтоб я етим языком говорить стал. [Б.:] Ты к жене моей пришол..; говори с ней, а мне латынь твоя не нуждна» (Сум. Чуд. 257).

В диалоге Дюлижа и Хабзея обыгрывается, кроме того, и двойственное значение слова метресса. Во франц. жаргоне maîtresse означало 'возлюбленная, владычица сердца' и не имело пейоративной окраски, в русском же языке заимствование нач. века *метресса* (вар. *матресса*) означало 'любовница' и имело оттенок неодобрительности:[33] «[Дюлиж:] Естьли б он не был отец моей метрессы, я б ево конечно не почитал человеком. [Хабзей:] Как? отец твоей матресы? Высокородная госпожа Инфимена, у тебя в матресах не живала. [Д.:] Ah! mon ami, vous êtes un trés bon garçon [Х.:] Государь мой, я латинскому языку не учился. А честных девиц матресами называть не хорошо» (Сум. Чуд. 258).

В следующей комедии «Пустая ссора» щегольский жаргон в устах петиметра усиливает комическую ситуацию несоответствия слов и реальных поступков. Дюлиж, увидев упавшую

[33] Ср.: «Я его на публичной женщине, Ивана Картмазова метресе, жениться не допустил». Чист. 685; «Жену бросить и сокрушить это плюнуть, а метресу покинуть жаль». Псм[4] Румянц. 11; «Его метреса, простая девка, тирольская». АВ II 292.

Салмину, подает реплики, свидетельствующие о его галантности, но не торопится помочь даме: [«Д ю л и ж:] Я вас в премудреной вижу ситуации. [С а л м и н а:] Ето мне все за тебя, муж меня бить было хотел за то, что я за тебя, а не за Фатюя дочь свою выдаю; насилу я от него ушла, от того та я упала, что от него побежала, да еще и ногу зашибла, подыми меня. [Д.:] Гоняться за дамой! как ето гнусно! [С.:] Однако подыми меня прежде. [Д.:] Да еще за такой дамой, которая адорабль, и которая тот один имеет порок, что не бывала в Париже. [С.:] Подымиж меня пожалуй. [Д.:] И которая лучше умрет, нежели выдаст дочь свою не за галантома. [С.:] Подымиж меня напеpед. [Д.:] Дама, которая в молодости своей человек по десяти воздыхателей имела. [С.:] Чтож подымешь ты меня? [Д. *Кимару*:] Пожалуй друг мой сыщи мне перчатки. *Оборотясь*: ето сударыня очень не учтиво будет, ежели мне вашу руку взять голою рукой» (Сум. Ссора 76).

В этой же комедии впервые появляются диалоги одного речевого уровня, а именно, диалоги петиметра и кокеток (Дюлижа с Деламидой и Дюфизой). В этих сценах наблюдается концентрация примет жаргона. Реплика каждого персонажа отчетливо маркирована. Диалог Дюлижа и Деламиды насыщен словами, характерными для «галантерейных» бесед дам и кавалеров. Реплики, как правило, короткие — одна фраза; иноязычные слова в них несут главную семантическую нагрузку — именно в них смысловой центр высказывания. «[Д е л а м и д а:] Вы так мне флатируете что уж невозможно, по чести. [Д ю л и ж:] Вы мне еще не верите, что я вас адорирую. [Дел.:] Я етого, сударь, не меритирую. [Д.:] Я думаю, что вы довольно ремаркировать могли, что я в вашей презанс всегда в конфузии. [Дел.:] Что вы дистре, так это может от чего-нибудь другого. [Д.:] Я все, кроме вас, меприsирую. [Дел.:] Я этой пансе не имею, чтобы я и впрямь в ваших глазах эмабль была. [Д.:] Трезэмабль, сударыня, вы как дееса в моих глазах» (Там же, 78).

В этой комедии статус щегольского жаргона можно считать уже полностью сформированным. Если в изображении речи петиметра в «Чудовищах» было известное ограничение в использовании жаргонизмов даже с грамматической стороны (преимущественно существительные), то в «Ссоре» представлены лексические жаргонизмы почти всех частей речи: существительные (*галантом, дееса, аманта, адоратер, ситуация*), неизменяемые прилагательные (*адорабль, емабль, трезэмабль, дистре*), суффиксально оформленные прилагательные (*экскюзабельный, резонабельный*), наречия (*пардонабельно*), глаголы с суф. *-ировать* (*адорировать, ремаркировать, меприsировать, кассировать, компренировать, флатировать, меритировать, финировать*), *-овать* (*естимовать*). Количественное распределение жаргонизмов сле-

дующее: в речи Дюлижа около 30 слов (плюс строчки из французских песенок), Дюфизы — 20, Деламиды — 15. Применительно к последним число жаргонизмов находится в соответствии с уровнем их знания французского языка. Деламида признается, что знает не более двух десятков французских слов — деталь, которая часто будет обыгрываться и у других авторов. Сам Сумароков развивает этот момент в комедии «Мать — совместница дочери». Престарелая кокетка Минодора, по-французски говорящая «с наслышки», неточно употребляет французские слова, которыми она украшает русский язык. Ср. в диалоге с дочерью Олимпией: «[Минодора:] Я давно приметила, что ты к нему имеешь *деклинацию,* и что ты к нему аташирована. [Олимпия:] Я к нему подлинно склонность имею. [М.:] Какую склонность? Со всем таки деклинацию имеешь. [О.:] Матушка, да ето все равно, что *инклинация,* что склонность. [М.:] Нет, склонность то и ко другу иметь можно, а деклинация то к одному амуру надлежит» (65) (фр. declination — отклонение, отвращение, вм. inclination — склонность, любовь).

Она же употребляет слова в испорченном или не соответствующем французскому фонетическом облике, ср. *каришпанденция* (фр. correspondence), *рапитрую* (фр. rapporter). Позже аналогичный прием использует Княжнин в речи Лентягиной: «От нажимации конечно боль случилась» (вм. imagination Княж., Чудаки, 36).

Известно, что Сумароков в своих комедиях изображал не только типичных, но и конкретных носителей того или иного порока. «Портретность» и «памфлетность» его комедий придавала им еще большую остроту, а гротескность и шаржированность изображения усиливали разящую силу смеха. Такой метод соответствовал представлению писателя о назначении комедии: «Свойство комедии — издевкой править нрав, Смешить и пользовать — прямой ее устав». Для многих персонажей «подлинники» не определены, хотя исследователи и не сомневаются в том, что перед нами «снимки с живых людей». Применительно к нашей теме для образов щеголей и щеголих не найдено определенных «подлинников». Но даже наличие реальных прототипов не меняет того положения, что Сумароков использует прежде всего литературные источники — сложившуюся в западноевропейской сатирической и комедиографической литературе маску петиметра.

Речь персонажей щеголей и щеголих Сумарокова строится на материале первого варианта щегольского жаргона, с довольно значительной концентрацией жаргонизмов, усиливающейся в диалогах одного речевого уровня. Кроме того, наблюдается известное развитие в речевых партиях персонажей. В первой комедии щегольской жаргон вводится ограниченно; во второй он представлен широко и разнообразно в речи трех действующих лиц, наконец, в третьей комедии дается его «испорченная» модифи-

кация, со смещениями в употреблении и фонетико-морфологическом облике слов, связанными с плохим знанием языка.

Комедия Фонвизина «Бригадир» (1769 г.) считается первой самобытной комедией, подготовленной достижениями сумароковской комедиографии. Построенная по внешним канонам классицизма, комедия отличается в то же время реалистическими тенденциями, яркими бытовыми характеристиками, социальным аспектом в изображении отрицательных персонажей. Ханжа и сутяга Советник, грубый солдафон Бригадир, дура и скопидомка Бригадирша, галломаны Иванушка и Советница раскрыты в своих поступках, манере поведения, и во взаимных и автохарактеристиках, и в особенностях своей речи. В именах персонажей Фонвизин отходит от традиции давать откровенно значимые имена. Его герои обозначены по их служебно-семейному положению и имеют русские имена (Бригадир Игнатий Андреевич, Бригадирша Акулина Тимофеевна, их сын Иван, Советник Артамон Власьевич, Советница Авдотья Патапьевна, их дочь Софья, исключение — Добролюбов). Характерно, что, представляя образ петиметра, Фонвизин дает ему самое распространенное русское имя.

Речь Ивана представляет собою образец щегольского жаргона в том виде, как он уже выработался в сатирической и комедиографической литературе.[34] Фонвизин использует, прежде всего, сумароковский галлизированный вариант щегольского жаргона, второй вариант жаргона в речи Ивана представлен немногими элементами.

Подобно героям Сумарокова для Фонвизинского Ивана характерно включение в речь нетранслитерированных отдельных слов (18 единиц, причем некоторые из них повторяются неоднократно, в частности обращения madame, monsieur, mademoiselle), словосочетаний, обрывков фраз, целых предложений (около 40), ассимилированных, т. е. переданных русскими буквами, слов (свыше 20). К специфически жаргонным элементам можно отнести экспрессивные восклицания и междометия: o! helas! Dieu! grande dieu, pardie, o bonheur, bravissimo, quelles espeses!; слова, связанные с любовной темой: *риваль,* declaration en forme; гиперболизированные выражения: oh que nous sommes heureux, même fort honnetes gens, le plus bourru.

В этом же плане использованы и русские жаргонизмы: *свет мой, душа моя; черт меня возьми; смертно влюблен; пламень мой к вам* и др., однако число их в речи Ивана незначительно. Его речевая характеристика строится в основном на использовании французских элементов, в том числе и вкраплений французских слов и фраз, которые, не являясь отчетливо жаргонными,

---

[34] К этому времени, кроме комедий Сумарокова, были созданы «Щепетильник» Лукина, «Наказанная вертопрашка» Ельчанинова, «Россияне, возвратившиеся из Франции» Карина.

в общей тональности речи Ивана поддерживают и усиливают ее специфический иноземный облик и сами приобретают особую экспрессию, жаргонную маркированность. Ср., например, такие вставки: «Je vous prie, не льстите мне» (12); «c'est plus interessant» (16); «ваш резоман справедлив» (22); «я индиферан во всем, что надлежит до моево отца и матери» (22); «мне этурдери свойственно» (51); «это такой defaut» (53) и пр.

В целом иноязычные вкрапления в речи Ивана даны с чувством меры. Даже в более насыщенных галлицизмами диалогах с Советницей (диалогах одного речевого уровня) нет такой концентрации жаргонизмов, которая наблюдается в диалоге Дюлижа и Деламиды (Сум. Ссора). Ср.: «[Сын:] Madame! ты меня восхищаешь, ты, я вижу, такое же тонкое понятие имеешь о сердце, как я о разуме. Mon Dieu! как судбина милосердна! она старается соединить людей одного ума, одного вкуса, одного нрава; мы созданы друг для друга. [Сов.:] Без сумнения, мы рождены под одною кометою. [Сын:] Все нещастие мое состоит в том только, что ты Руская. [Сов.:] Это, Ангел мой, конечно для меня ужасная погибель. [Сын:] Это такой defaut, которова ничем загладить уже нельзя. [Сов.:] Чтож мне делать? [Сын:] Дай мне в себе волю. Я не намерен в России умереть. Я сыщу occasion favorable увезти тебя в Париж. Тамо остатки дней наших les restes de nos jours будем иметь утешение проводить с Французскими».

В речи Советницы наблюдается небольшой перевес французских жаргонизмов, причем, как правило, в транслитерированном написании и включенных в речь в адаптированном виде, напр.: «я *капабельна* с тобою развестись» (13); «для меня нет ничего *комоднее* свободы» (32); «вы не можете шутки отделить от *суриознова»* (50); *«вы ужесть как бизарны»* (107); *«я сама с тобою одних сентиментов»* (26); *«как несносно признаваться в своей пассии»* (29); *«он мне делает свой кур»* (54); *«благодарствую сударь за вашу эстиму»* (70); *«разве нельзя о другом дискюрировать»* (15); *«нескромность твою я ничем бы не могла экскюзовать»* (52); *«мне кажется, что вам время уже себя этаблировать»* (76); *«он сам себе контрадирует»* (122) и пр.

В то же время значительная доля принадлежит и русской жаргонной лексике: *радость, душа моя, ангел мой, жизнь моя, шутишь, черт меня возьми,*[35] *умираю с скуки, влюблена до безумия, ужесть как* и пр.

В комедии применен прием двуязычного дублирования. Русские фразы как бы переводятся и повторяются по-французски. Этот прием особенно часто используется в репликах Ивана.

[35] То, что в языке петиметров была наклонность «чертыхаться», отмечает П. Н. Берков по поводу комедии Татищева «Свадьба господина Промоталова». — *Берков П. Н.* История русской комедии XVIII века. Л., 1974, с. 142.

«Madame! вы говорите правду. O! vous aves raison!» (11); «О щастье. О bonheur» (30); «Тамо остатки дней наших les restes des nos jours будем иметь утешение проводить с Французскими» (53); «я вам еще сказываю батюшка, je vous le repete, что мои уши к таким терминам не привыкли» (58); «я вас прошу, Je vous en prie не обходиться со мною так, как вы с вашим ефрейтором обходились» (58); «не все ли животные les animaux одинаковы» (60); «с чевож начать? par ou commence?» (66); «С великою охотою, avec plaisir; нам надобно взять свои меры, prendre nos mesures» (122); «за такую безделицу, pour une bagatelle честным людям сердиться не возможно» (125). В речи Советницы: «Продолжайте, Monsieur, continuer» (66).

Завершающим аккордом является прощание Ивана и Советницы, где использовано перекрестное дублирование — реплики идентичны по смыслу, но русские слова в реплике Ивана переданы французскими в реплике Советницы и, наоборот: «[Сын *к Советнице кинувшись*:] Прости la moitié de mon aime. [Советница *кинувшись к сыну*:] Adieu, пол-души моей» (130).

Фонвизин продолжает развивать использованный Сумароковым прием построения диалога «на разных языках». Так, Иван, разговаривая с отцом, вставляет французские слова, которые последнему непонятны: «[Сын:] Mon pere! не горячитесь! [Бригадир:] Что! не горячитесь. [С.:] Mon pere! я говорю не горячитесь! [Б.:] Да первова-та слова, чорт те знает, я не разумею!» (17—18). «[Б.:] Я от армии Бригадир. [С.:] Je m'en moque. [Б.:] Что это за манмок? [С.:] То, что мне до вашева Бригадирства дела нет». (58). Ср. аналогичный прием в сцене игры в карты: «[Сын *показав карты*:] Санпрандер шесть матадоров. [Бригадирша:] Что мой батюшка, что ты сказал Матадуры. Вот нынче стали играть и в дуры, а бывало так все в дураки игрывали». (87). Наконец, в диалоге Бригадирши и Ивана: «[Б.:] Дай-то господи, чтоб и тебе так же удалось жить как нам. [С.:] Dieu m'en preserve. [Б.:] Буди с вами милость божия, и мое благословение. [С.:]Très obligé. [Б.:] Или я глуха стала, или ты нем. [С.:] Ni l'un ni l'autre. [Б.:] Чтой-то мне с тобою будет Иванушка? да покаковски ты со мною говорить можешь? [С.:] Виноват. Я и забыл, что мне надобно говорить с вами по Руски. [Б.:] Иванушка друг мой, или ты выучи меня по французскому, или сам разучись». (118).

В построении реплик Ивана элементы щегольского жаргона служат созданию комического обыгрывания двойственного смысла высказывания. Так, на реплику Бригадира, недвусмысленно намекающего на глупость сына: «Вить в теле твоем гораздо больше связи, нежели в уме», Иван отвечает: «Вот батюшка, теперь вы уже и льстить мне начинаете», — ответ, на первый взгляд, нелогичный. Но дело в том, что здесь Фонвизин использует эффект переосмысления слова *связь* в специфически-петиметрском употреблении. Если у Ивана *мало связи в уме*, то

это значит, что он *развязан в уме* — последнее одна из часто используемых для характеристики петиметров примет, само же слово *развязан* — элемент щегольского жаргона (ср. фр. délié — avoir l'esprit délié).

Для комедии «Бригадир» характерно преобладание комизма выражения над комизмом положений. «Острые слова и замысловатые шутки рассыпаны на каждой странице», писал в свое время Новиков в «Опыте исторического словаря о российских писателях». Немалую роль в создании «смешного» играет и щегольский жаргон двух героев этой комедии.

В историко-литературоведческих работах неоднократно обсуждался вопрос о степени воздействия на «Бригадира» Фонвизина комедии Л. Гольберга «Жан де Франс». Обнаруживалась похожесть некоторых сцен, черт персонажей, больше всего внимания обращалось на сходство двух героев — Ганса Франдсена, по возвращении из Парижа именовавшего себя Жан де Франсом, и Иванушки.[36] Указывалось на знакомство Фонвизина с драматургией Гольберга, на его особенный интерес к этому чрезвычайно популярному в России того времени писателю, произведения которого читали, главным образом, в немецких переводах; многие комедии и сатиры Гольберга были переведены на русский язык, сам Фонвизин перевел гольберговские Басни. Как нам представляется, были неправы те исследователи, которые находили в комедии Фонвизина лишь русский вариант датской пьесы, скрупулезно и, подчас, тенденциозно подбирая факты даже отдаленно или случайно сходных ситуаций и реплик. С другой стороны, неправомерно вообще отбрасывать вопрос о воздействии комедиографии Гольберга, что также имело место. Важно, что наблюдаемые совпадения и аналогичные моменты имеют прежде всего характер внешнего сходства. Что же касается построения всей пьесы, изображения действующих лиц, то в этом Фонвизин был вполне самостоятелен и национален (насколько это вообще было возможно для произведений XVIII в.).

Нам важно сопоставить основные особенности речевых характеристик фонвизинского Ивана и гольбергова Жан де Франса, тем более что в обеих пьесах демонстрируется аналогичная языковая ситуация — вторжение французского языка в стихию родного языка (у Фонвизина — русского, у Гольберга — датского).

В изображении обоих персонажей много сходных черт. Иванушка недавно вернулся из Парижа, возвращением Жана из того же Парижа начинается комедия Гольберга.[37] Оба вывезли

---

[36] Из работ последних лет можно указать предисловие М. Эстерби к датскому переводу комедий Фонвизина: *Fonvizin D. Y.* Brigaderen. Landjunkeren, ed. M. Østerbu. Manusprod, 1973.

[37] Для сопоставления использован современный перевод пьесы (*Хольберг Л.* Комедии. М.—Л., 1957), а также немецкий перевод XVIII в.

из своего путешествия преклонение перед всем французским и презрение к своему отечеству. Наконец, оба обожают французский язык и изъясняются так, что окружающие их не всегда понимают.

Для галлизированной речи Жана характерно механическое смешение французских и датских элементов, переход от одного языка к другому, четко отделяемому и отчленяемому. Здесь почти не наблюдается ассимилированных форм, подобных тем, которые представлены в щегольском жаргоне русских щеголей и щеголих, и в частности в речи Ивана и Советницы. С другой стороны, — куски французского текста даются с искажениями, подчеркивающими плохое знание языка (ср. pagrade вм. pas grave — наименование фигуры танца), иногда создающими комические ситуации.

В целом наблюдается значительная насыщенность речи Жана французским, что находит свое оправдание и в стремлении героя «практиковаться во французском языке, не говоря ни слова по-датски». Кроме Жана, французские слова примешивают в свою речь его слуга Пьер, слуга Эспен, изображающий лакея светской дамы, и мнимая парижанка мадам ла Флеш. Речь последней представляет собою смесь испорченного французского с добавлением немецкого (это уже чисто датская черта, поскольку для Дании, считавшейся провинцией Европы, немцы были тоже представителями европейской образованности). Диалоги Жана и мадам ла Флеш, достаточно многословные, целиком состоят из перевранных французских фраз. В немецком переводе, который мог быть знаком Фонвизину, французский текст в некоторых местах исправлен, немецкие же вкрапления не было необходимости особо выделять, поскольку действие перенесено в Германию и филиппики Жана против датского языка превратились в аналогичные выпады против немецкого.

В речи Жана есть элементы, характерные для жаргона французских петиметров (восклицания, клятвы, божба; много экспрессивной лексики; приводится, например, целый список модных ругательств, и Жан упражняется в их произнесении; излюбленные словечки — pardi, non pardi, non fait, которые без конца вставляются в его речь), но в то же время, как уже указывалось, при создании речевого костюма своего героя Гольберг использует прежде всего прием интенсивного и широкого использования французских реплик. Последнее не свойственно щегольскому жаргону, представленному в русской комедиографии и сатире.

Произведенное сопоставление дает возможность сделать вывод, что при чертах сходства в изображении речи персонажей

(Jean de France oder Der deutsche Franzose. — Die deutsche Schaubühne, Th. 2, Leipzig, 1746).

петиметров у Гольберга и Фонвизина есть и значительные расхождения, объясняющиеся тем, что в русской литературной практике уже сложился известный стереотип щегольского жаргона, в русле которого был и жаргон героев Фонвизина.

Комедии Крылова в известном смысле являлись завершением комедиографии XVIII в. и началом новой комедии XIX в. Сам Крылов считал театр делом очень важным и почетным. Об этом свидетельствует тот факт, что драматург стремился к теоретическому обоснованию своих взглядов на театр, положив начало теоретической театральной критике. Он выдвигал принцип реалистичности, правдивости драматургии («Автор не должен казаться чудотворцем, но подражателем природы»), требовал художественной обоснованности, логичной необходимости в построении действия пьесы, в появлении каждого персонажа и в раскрытии его образа.

Продолжая традиции русской комедии, Крылов обращается и к постоянным маскам щеголя и щеголихи. Это граф Дубовой и госпожа Новомодова в «Сочинителе в прихожей» (1786), служанка Плутана в роли щеголя в «Проказниках» (1789), сестрицы Фекла и Лукерья в «Уроке дочкам» (начало XIX в.).

В первой комедии Крылов использует второй вариант щегольского жаргона для речевой характеристики графа Дубового и госпожи Новомодовой. Титулованные петиметры довольно часто действуют на сцене, например граф Пустозвяков, граф Новосветов, граф Никандр, граф Пусторечин, граф Беглоумов и пр. Граф Дубовой продолжает этот ряд. Фамилия его также традиционно связана с именами-характеристиками глупых щеголей. Имя госпожи Новомодовой ориентировано па приверженность ее носительницы к «новым модам», т. е. к новому образу жизни («не по-дедовски»).

На то, что они принадлежат к числу щеголей, кроме имен-характеристик, непосредственно указывается в самом тексте комедии, в аттестации слуг: «[Андрей:] Твоя госпожа и мой барин, кажется, друг для друга родились. Твоя госпожа самая модная кокетка влюбившаяся в себя, а мой барин вложил себе в голову... 4 банки французской помады» (Крыл. Сочинитель 160).

Речь графа Дубового и госпожи Новомодовой включает некоторое, чрезвычайно умеренное число жаргонизмов. Таковы *бесподобно, болванчик, ужесть как, душа моя, божусь, о небо* — у графа Дубового, *ужесть, ужасно, дурачество, божусь, божественный* — у госпожи Новомодовой. Уже этот маленький список свидетельствует о том, что речь щеголя и кокетки у Крылова маркирована очень осторожно. Действительно, в этом отношении Крылов отходит от предшествующей традиции. Он отбирает са-

мое типичное, обязательное для жаргона — ср. наличие всех этих элементов в наиболее яркой интерпретации второго варианта жаргона — в письмах щеголих и в «Опыте словаря щегольского наречия» Новикова (Жив. I, 73—76). Но метод построения речевой характеристики иной — одно-два слова, придающие речи данного персонажа определенный ореол. Приведем для подтверждения диалог графа и Новомодовой, т. е. диалог одного речевого уровня: «[Новомодова:] А, Граф! тебяль я вижу; я умирала, думая, что мне севоднишней день должно будет томиться в скуке невидя тебя; и ты не поверишь, что все утро ворожила о тебе в карты. Извини, что я давича не приняла, божусь тебе, что у меня был смертельный мигрень. [Граф: *особо*] Ну, можноль удержаться. (*ей*) Я сударыня только для тово отлучался, чтоб зделать новую маленькую жертву моей любви; вот склаваж, он хотя недостоин украшать прелестную вашу грудь, но мое усердие достойно тово, чтобы ево вам поднести. [Н.:] Граф! ты заставляешь меня краснеться, но я люблю тебя, принимаю твой подарок — — — но чтоже твой раздел. [Г.:] Севодни обнадежили меня получить копию с указа на мою часть; и так сударыня, по получении ево вы согласитесь наконец, чтоб нам зделать из себя пару» (196—197).

Как видим, на довольно большой диалог всего несколько жаргонных слов. При этом обращает на себя внимание еще такая деталь, как появление изысканных оборотов, более свойственных «прециозному», нежели «петиметрскому» жаргону — *зделать маленькую жертву моей любви, зделать из себя пару.*

Иноязычность представлена в их речи лишь словами, обозначающими предметы светского обихода, — *склаваж, бюро, тафта* и модным обозначением болезни — *мигрень.* При этом Крылов подчеркивает особенную внимательность графа к щегольскому жаргону и к такой его детали, как «выдумывание» новых слов. «[Граф:] Вот прекрасно сказано: вложить в голову французской помады, это новой термин и совершенно щегольской. Знаешь ли ты мой друг, что я ево введу в употребление? Как это остро! .. Как же ето прекрасно, когда вместо чтоб сказать, у нево намазана голова французскою помадою, будут говорить: у нево в голову накладена французская помада; бесподобно!» (161).

Граф стремится сам ввести в язык свои модные слова и с восторгом принимает выдумку служанки Дарьи говорить вм. *пудра — пыль*: «[Граф:] У тебя ужесть как голова набита пылью» (162). Это метафорическое переосмысление имеет целью создание комической двусмысленности — «модного» смысла (пудра) и общеязыкового значения слова.

В комедии «Проказники» роль щеголя играет ловкая служанка Плутана, которая, чтобы помочь влюбленным, появляется в доме сочинителя Рифмокрада и его жены Тараторы под име-

нем Славолюбова. Следовательно, мы имеем здесь дело с мистификацией, и перед нами не щеголь как персонаж, а игра в щеголя.

Сюжет переодевания был очень популярен в европейской драматургии XVIII в., причем в русской комедии он часто сопрягался с маской петиметра. Так, героиня комедии «Награжденное постоянство» Лукина Пульхерия, переодевается в мужское платье, чтобы под видом молодого щеголя обольстить старую кокетку Старосветову и расстроить предполагаемый брак; в комедии Княжнина «Мужья женихи своих жен» слуги Пролаз и Марфа, переодетые господами, изъясняются гротескно-комизированным щегольским жаргоном, что вызывает иронические замечания их господ.[38] Крылов также использует приметы щегольского жаргона, в соединении обеих его разновидностей, для речевой характеристики Плутаны-Славолюбова. При этом он пользуется традиционными приемами включения отдельных слов, сочетаний слов, обрывков фраз. Степень насыщенности речи мнимого петиметра значительно выше, чем в речи графа Дубового и госпожи Новомодовой, хотя и остается в целом весьма умеренной.

Ср. использование экспрессивных восклицаний: parbleu, diable m'emporte, que diable: «Parbleu, madame, что до меня касается, так более ста кавалеров могут доказать, что я не девка!» (Крыл. Проказн. 259); «Diable m'emporte, если у вас не другое теперь на уме» (193); «Que diable, madame, я не думал, чтоб у вас была такая острая голова» (245); постоянных обращений madame, monsieur, французских слов и фраз: «Ah! madame. Pardonnez! Я весь виноват перед вами» (243); «Sans vanité сказать: я довольно умен» (183); «mais je crois, что все дамы завидуют вашему нежному сердцу» (268).

Из русских жаргонизмов использованы слова божбы, экспрессивная лексика: «Если вы еще триста и пятьдесят лет проживете, то, божусь вам, что вы прекраснее не будете» (184); «умру с отчаяния; чорт меня возьми, сударь, если я о том сомневаюсь» (185). Наибольшая насыщенность жаргонизмами лишь в сцене, когда впервые появляется Плутана-Славолюбов: «Pardonnez, moi, monsiuer, что не имея чести вас знать, я рискую своими знаниями к вам адресоваться. Ваше познание, monsieur, и ваша слава, мадам, так фраппировала мои уши, что я сам, интересуясь Парнассом, должностью почел сделать с вами connaessance» (183).

---

[38] Ср. их диалог: «[Пролаз:] Но теперь, ма принцесс! уже мне от вас не спать! [Марфа:] Гелас! мон пренс, — я думаю это неправда; но одно только галантери. [П.:] Могу ли я — о, красота саппарель! иметь когда нибудь эспуар тронуть ваш сердце? [М.:] Гелас! [П.:] Что значит этот томный гелас, или признание, что ваше сердце нежно?» (Княж. Мужья 276).

Как нам представляется, здесь Крылов средствами речевой характеристики показывает образ молодого щеголя, т. е. речь Плутаны-Славолюбова является своеобразной авторекомендацией для хозяев дома.

Можно предположить, что Крылов, избегая концентрации жаргонизмов, преследовал цель не столько сатирического разоблачения щегольского жаргона (это было сделано уже до него), сколько реалистической достоверности в речевых партиях соответствующих персонажей.

* * *

Изучение щегольского жаргона русских петиметров в комедиографии XVIII в. позволило уточнить имеющиеся в научной литературе представления об этом явлении. Выяснилось, что сама маска щеголя и щеголихи имеет своих прототипов в западноевропейской литературе, соответственно и щегольской жаргон, репрезентированный в произведениях русских авторов, во многом совпадает с основными характеристиками жаргона французских петиметров. Близки главные слагаемые жаргонов — экспрессивность, часто соединяемая с грубоватой, сниженной ее тональностью; гиперболизация, создаваемая применением слов, выражающих интенсивность характеристик, форм превосходной степени, усилительных формул и пр.; использование модных словечек, являющихся своеобразными опознавательными знаками речи петиметров. При этом «русский извод» щегольского жаргона имел два варианта, связанных с разными способами трансформации его французского источника. Совпадая в своих главных чертах, они отличались материальным составом — в первом варианте характерологические приметы жаргона формировались вовлечением французских слов, во втором — создавались на русской основе, путем калькирования, семантической индукции, буквальных переводов французских жаргонных фразеологизмов и типичных сочетаний и т. п. Таким образом, первый вариант жаргона открыто ориентировался на французский прототип, в то время как второй представлял эту зависимость в завуалированном виде.

Жаргон русских щеголей сопоставим также с щегольским жаргоном, представленным в произведениях западноевропейских нефранцузоязычных писателей, что свидетельствует как о широте распространения этого явления, так и о тождественности процессов формирования жаргонов в разных языках. Сопоставление авторской манеры в построении речевых партий персонажей петиметров показало, что при изображении речи щеголей и щеголих у данных авторов обязательно используются элементы щегольского жаргона. Преимущество отдается первому варианту жаргона. У Сумарокова он представлен в чистом своем виде, у Фонвизина с вкраплением элементов русских жаргонизмов, у Крылова в речи Славолюбова — первый вариант, в комедии

«Сочинитель в прихожей» — второй вариант с некоторыми элементами первого.

Степень насыщенности иноязычными жаргонизмами в целом идет по линии уменьшения — от высокой концентрации их в комедиях Сумарокова до минимального использования у Крылова. Наблюдаются чисто лексические совпадения в речи персонажей разных произведений, что обусловлено, на наш взгляд, стереотипом щегольского жаргона.

Жаргон оказался одним из сильных средств разоблачения и осмеяния героев. В то же время он был очень «на месте» для создания чисто комических эффектов — комизма действия и комизма речей.

И. М. Мальцева

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВИЙ XVIII ВЕКА КАК ИСТОЧНИК ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА)

Проблема изучения языка художественной литературы XVIII в. неразрывно связана с проблемой формирования русского литературного языка. Дальнейшая дифференциация литературных жанров, происходившая на протяжении всего XVIII в., и их последующее совершенствование, возникновение новых литературных жанров способствовали развитию не только языка художественной литературы, но и литературного языка в целом. Равно как дальнейшее формирование литературного языка других функциональных сфер подготавливало и создавало все более прочную основу развития языка художественной литературы.

Для исследования данной проблемы чрезвычайно перспективным представляется обращение к запискам путешествий, язык которых ориентирован на устную речь.[1] Выбор произведений этого жанра представляется тем более целесообразным, что до настоящего времени они в этом плане остаются малоизученными.[2]

Как источник литературного языка записки путешествий характеризуются следующими особенностями:

1. Путевые записки занимают в литературе XVIII в. значительное место. Возросший в век науки и просвещения интерес к познанию мира во всех его проявлениях, в том числе к познанию быта, культуры, природных условий России и других стран, к изучению географии Земли, ее растительного и животного мира, дал толчок к многочисленным путешествиям, что вызвало появление большого количества их описаний.

2. В большей части записок путешествий повествование о впечатлениях ведется в форме свободного непринужденного рас-

[1] В данной статье мы обращаемся к поставленной проблеме, имея в виду лишь ее лексикологический аспект.

[2] Под жанром записок путешествий имеется в виду «литература путешествий» (Д. С. Лихачев) — широкий круг источников, написанных в виде путевых дневников или по материалам, собранным во время путешествий. Употребление слова «жанр» в указанном значении применительно к запискам путешествий см.: *Михельсон В. А.* «Путешествие» в русской литературе. Ростов, 1974. *Маслова Н. М.* Путевые записки как публицистическая форма. М., 1977.

сказа, как бы воспроизводящего речь автора, близкую к разговорной. Это позволяет говорить об их языке как имеющем разговорно-речевую основу. Но записки путешествий — это вместе с тем и рассказ, подвергшийся при записи воздействию письменной речи, особенности которой также сказываются в языке этих памятников.

3. Разнообразные по тематике, увлекательные по содержанию, писавшиеся, даже в период существования ярко выраженного литературного двуязычия, преимущественно простым, тяготеющим к обиходной речи образованных слоев общества языком, они на протяжении всего XVIII в. привлекали к себе внимание читателей. О популярности этих произведений в XVIII в. свидетельствует не только рост их публикаций во второй половине века, но и распространение некоторых рукописных текстов записок в большом количестве списков.

4. Основная часть записок XVIII в. представляет собой беллетризованные отчеты о путешествиях и, таким образом, уже по самой своей природе занимает «пограничное» положение по отношению к произведениям ряда функциональных сфер. В зависимости от того с какой целью совершались путешествия и создавались записки, они в той или иной мере могли сближаться с произведениями художественной, научной литературы (или представлять их), с памятниками деловой письменности.

5. В связи с этим в них получает отражение чрезвычайно разнообразный по принадлежности к семантическим полям и тематическим группам, сферам функционирования, социальной стратификации круг лексики.

6. Так как записки путешествий в рамках одного произведения совмещают черты «пограничных» с ними произведений других литературных жанров и функциональных стилей, их влияние на развитие языка, его словарного состава, представляется особенно плодотворным.

7. Повествующие о новом, увиденном автором во время путешествия, записки вводили в употребление большое количество ранее не использовавшихся в письменной речи слов, часть которых в дальнейшем входила в словарный состав литературного языка, обогащая его и обеспечивая тем самым новые возможности для развития языка художественной литературы.

В связи с неизученностью этих источников круг проблем, встающих при их исследовании, очень велик. Особенно большой интерес представляет вопрос о влиянии этих источников с разговорно-речевой основой языка на формирование литературной нормы. Существен также и более частный вопрос — о том реальном вкладе, который они внесли в развитие словарного состава русского литературного языка. Однако освещение этих вопросов станет возможным лишь в результате последующих этапов исследовательской работы. Задача данной статьи — охарактеризовать состав этого круга источников XVIII в. от записок дипло-

матических представителей конца XVII в. до научных путешествий конца XVII—начала XIX в.[3] Это позволит уточнить место «путешествий» в ряду произведений других функциональных стилей и более реально представить их роль в развитии лексического состава литературного языка и языка художественной литературы.

Создававшиеся в течение XVIII в. путевые записки довольно разнообразны по цели, с которой предпринимались путешествия, по кругу вопросов, в них освещаемых, по их идейной и социальной направленности.[4] Так как записки путешествий — это журналы личных впечатлений, существенным для их характеристики как источника языка является личность автора, его социальная принадлежность, область его профессиональных интересов, степень его образованности, литературной одаренности и пр.

Чтобы нагляднее показать изменения, произошедшие в составе этого круга источников в XVIII в., укажем коротко, что́ представляли собой путевые записки до начала царствования Петра I. Среди записок путешествий, созданных до конца XVII в., выделяются следующие три основные разновидности:[5]

1. Записки путешествий духовных лиц и других паломников в «святые места».

2. Записки официальных лиц (послов, посланников, гонцов), направлявшихся с различными миссиями в иностранные государства, которые представлены а) статейными списками послов,[6] б) описаниями их путешествий по пути к месту назначения.

3. Записки путешествий, совершавшихся другими лицами с разными целями.

Особенно широко в кругу этой литературы представлены па-

---

[3] О хронологических границах этого периода см.: *Сорокин Ю. С.* О словаре русского языка XVIII века. — В кн.: Материалы и исследования по лексике русского языка XVIII века. М.—Л., 1965, с. 13—18.

[4] В дальнейшем будут рассмотрены преимущественно непереводные записки путешествий в публикациях XVIII в. и позднейших. В статье, как правило, не рассматриваются: а) переводы, исследование которых имеет свои особые задачи; б) журналы военных походов, входящие в тематически обособленную группу источников, которые составляют предмет самостоятельного изучения.

[5] Основная часть этих источников известна в публикациях XIX в. В XVIII в. они были единичны, причем при издании тексты рукописей подвергались сильной правке, а иногда и переработке. Так, по свидетельству исследователей, «Путешествие московского купца Трифона Коробейникова» (1583) в 1786 г. было издано в редакции, близкой к тексту. Что касается 2-го издания (1798 г.), то, по мнению С. И. Пономарева, оно представляет «очень произвольную переработку текста», а по мнению В. Н. Хитрово, в нем «осталась только тень подлинника» (См.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725—1800. Т. II. М., 1964, с. 488.

[6] О статейных списках см.: *Лихачев Д. С.* Повести русских послов как памятник литературы. — В кн.: Путешествия русских послов XVI—XVII веков (статейные списки). М.—Л., 1954.

мятники первых двух типов.[7] Записки путешествий третьего типа весьма немногочисленны.[8] В XVIII в. продолжают создаваться путевые записки всех трех типов. Поток их так велик и разнообразен, что требует дополнительных комменариев.

Путешествия в «святые места» составляют несколько обособленную группу произведений этого круга. Бо́льшая их часть написана книжно-славянским языком или под сильным его влиянием и по своему содержанию и составу лексики примыкает к церковно-богослужебной литературе.[9] Поэтому для изучения литературного языка широкой сферы употребления наибольший интерес представляют такие, например, как «Путешествие в святую землю священника Лукьянова»,[10] в котором наряду с книжно-славянской и архаичной широкое отражение получила лексика обиходно-разговорная и просторечная; или «Путешествие во Иерусалим Саровския общежительныя пустыни иеромонаха Мелетия в 1793 и 1794 годах». (М., 1798), являющееся образцом «светского» языка XVIII в.

Существенные изменения претерпевают в XVIII в. путевые очерки второго типа. Наряду со статейными списками послов — отчетами о выполнении деловых поручений — в это время появляется целый ряд путевых записок официальных лиц (ездивших в другие государства в составе дипломатических представительств), именитых особ (путешествовавших в царской свите), частных лиц, совершавших поездки по городам России и европейским странам и знакомившихся во время путешествий с бытом, нравами, культурой, религией народов других стран, разного рода достопримечательностями, национальными сокровищницами. театрами, музеями и под. В их числе — ряд памятников конца XVII в. — «Путешествие стольника П. А. Толстаго. 1697—1699»,[11] «Записки путешествия в европейские государства, в Краков, в Вену, в Венецию, в Рим, па Мальтийский остров»

---

[7] Библиографические данные о некоторых памятниках указанных типов XVI в. см. в кн.: *Минцлов С. Р.* Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий, относящихся к истории России и напечатанных на русском языке. Вып. 1. Новгород, 1911. Например, Тип I: № 195, 205, 231, 232, 1064 (12, 14, 15) и др.; Тип II а): № 234, 249, 251, 262, 273 и др.; Тип II б): № 238, 246, 286 и др.

[8] Один из наиболее известных памятников этого типа — Путешествие тверского купца Афанасия Никитина в Индию в 1468 г. — В кн.: *Сахаров И.* Сказания русского народа. Т. II. СПб., 1849. Др. издания: *Никитин Афанасий.* Хождение за три моря в 1466—1472 гг. СПб., 1857. То же в кн.: Учен. зап. II-го Отделения АН, кн. II, вып. 2. СПб., 1856.

[9] См., например: Пешеходца Василия Григоровича-Барскаго-Плаки-Албова, урожепца Киевскаго, монаха антиохийскаго путешествие к святым местам в Европе, Азии и Африке находящимся, предприятое в 1723 г. и окончанное в 1747 году, им самим писанное. СПб., 1788. 5-е изд. СПб., 1800; *Григорович-Барский-Плаки-Албов Василий.* Второе посещение святой Афонской горы. СПб., 1887; Описание путешествия отца Игнатия в Царьград (1766—1776). СПб., 1891.

[10] Русский архив, 1863.

[11] Русский архив, 1888, кн. 1, 2. Далее «Путешествие стольника...».

Б. П. Шереметева (М., 1773) [12] и «Журнал путешествий 1697—1698 годов», автор которого неизвестен.[13] Долгое время считалось, что это — путевые записки Петра I.[14] Однако несовпадение некоторых фактов биографии Петра I [15] и получивших отражение в «Журнале» дали основание для предположения, что «Журнал» мог быть написан либо Б. И. Куракиным, либо И. М. Головиным, сопровождавшими царя в поездке по европейским странам.[16] Существует также мнение, что автором Записок был не Петр I, и не кто-то из его свиты, а частное лицо, совершавшее путешествие «по своей охоте».[17]

. Хотя все три лица путешествовали по одним и тем же местам, их путевые записки различны по содержанию. Записки Б. М. Шереметева более других близки к своему первоисточнику — статейным спискам. Об этом свидетельствуют и содержание, и язык памятника. Основное внимание автор уделяет описанию встреч и почестей, оказывавшихся «великому боярину»; указывается, какой титул и звание имело встречавшее лицо, кому какое место было отведено во время обеда, кем и какие речи произносились, какие дары вручались послами и какие были ими получены и т. п. В источнике подробно описывается, сколько времени члены посольства провели в том или ином населенном пункте, сколько стоил проезд от места до места и т. п. Вот одна из характерных для этого путевого дневника записей: «Того дня приѣзжал от Корол. Вел-ва секретариус ево, пан Клест, и говорил болярину

---

[12] Текст этого путешествия представлен также в «Статейном списке посольства ближняго боярина и наместника Вятскаго Бориса Петровича Шереметева в Краков, в Венецию, Рим и Мальту 7205 [1697] годе». — Древняя российская вивлиофика. 2-е изд., ч. V. М., 1788. См. также: Похождение на Мальтийский остров боярина Бориса Петровича Шереметева в 1697—1699 гг. — В кн.: Памятники дипломатических сношений. Т. X. СПб., 1871.

[13] Впервые этот памятник был опубликован в XVIII в. под названием «Записная книжка любопытных замечаний Великой особы, странствовавшей под именем дворянина Российского посольства в 1697—1698 гг.» (СПб., 1788). Последующие публикации по разным рукописям относятся к XIX в.: 1) Московский вестник, 1830, ч. VI, № 21—24; 2) Отечественные записки, 1830, ч. 43; 3) Отечественные записки, 1846, т. V; 4) Отечественные записки, 1848, т. VII; 5) Русская старина, 1879, т. 25. «Журнал путешествия» далее цитируется по изданию: Отечественные записки, 1830, ч. 43.

[14] Таково, например, мнение П. Свиньина. См. «Путевые записки, веденныя самим государем Петром Великим, во время путешествия своего в 1697 и 1698 годах по чужим краям под именем дворянина Российскаго посольства». Отечественные записки, 1830, ч. 43, с. 32.

[15] Разные сроки отправления в путешествие Петра I и автора дневника, то обстоятельство, что Петр I во время путешествия не был в Италии, тогда как в «Журнале путешествия» путевые впечатления о поездке в Италию занимают большое место; и под.

[16] Журнал путешествия по Германии, Голландии и Италии в 1697—1699 годах. Сообщил с примечаниями М. Ф. Горбунов. — Русская старина, 1879, т. 25, с. 104.

[17] *Лихачев Д. С.* Повести русских послов как памятник литературы, с. 339.

от лица королевскаго, как похочет принят быть во авдиенции, видѣх особу Корол. Вел-ва, публично ли с церемониею или приватнѣ? и бояриn просил ево секретариуса, чтоб принят был приватнѣ без церемонии. . И назавтре ноября 6-го числа от часу 5-го дни тот же секретариус приѣхал Корол. Вел-ва с (корѣтою), которая корѣта зело богата, вызолочена вся и рѣзи штучные, а в ней выбито бархат золотой, 6 возников в гнезде чалы, и в той корѣте против боярина сидѣл секретариус да разыдент дьяк Московской Алексей Никитин, а перед корѣтой ѣхали дворяне и дому боярского люди верхами».[18]

Наряду с этим в Записках отражены путевые впечатления, не относящиеся к посольским делам, — описания городов, памятников архитектуры, горячих источников, вулканов и т. п. См., например, впечатления автора об извержении вулкана в Неаполе: «И в той Неополи. . два дни в великом страху и ужасѣ были тутошние жители от горы той, которая гора горит непрестанно, превеликой из той горы в тѣ два дни исходил огнь, и гром, и шум, и кидало вкруг версты по три и по четыре камение превеликия огненныя, и многие с той горы текли огненныя рѣки: и пожгло, и побило и переранило камением множество людей, которые вкруг той горы жили, и всякия пожгло заводы, от чего сбѣжалось людей с тритцать тысящь в город Неаполь».[19]

В «Журнале путешествия» тоже находим упоминания о посольских делах — приемах, встречах, приезде в Амстердам десятника и под.: «Встрѣчали 2 человѣка стат, а статы всѣ были и сидѣли за столом 37 человѣк, наших послов посадили посреди стола, а мы стояли за ними».[20] «Сперва был посол Свѣйской в 3 каретах о шести конях всѣ в черном платьѣ. На другой день был Брандабурской в 4 каретах о 6 конях, тогож дня был посол Английской в 9 карѣтах о 5 о 6 о 4 конях».[21]

Но основное его содержание составляют описания того, что обратило на себя внимание автора в пути, поразило его своей необычностью: «На ярманкѣ видѣл мѣтальников, которые через 3 человѣк перескоча на лѣту обѣрнутся головою в низ и станут на ногах».[22] «Трубку зрительную видѣл, через которую смотрят на мѣсяц и на звезды, на мѣсяц смотрели и можно видѣть, что есть земля и горы, а мѣрою та труба сажен 10».[23] «В Венеции смотрѣл, как играют сенаторы; мѣх кожаной великой надут духом инструментом гораздо крѣпко бьют руками, а на руках у них кто играет в то время точеныя деревянныя до самого локтя будто лукошко».[24]

---

[18] Памятники дипломатических сношений, т. X, с. 1596.
[19] Там же, с. 1686.
[20] Отечественные записки, 1830, ч. 43.
[21] Там же, с. 39.
[22] Там же, с. 34.
[23] Там же, с. 46.
[24] Там же, с. 67.

В отличие от путевых записок Б. М. Шереметева и «Журнала путешествия» «Путешествие стольника» — путевой дневник светского лица, совершающего поездку по странам Европы с целью познания нового. Как человека именитого его с почетом принимают в знатных домах различных государств. Автор подробно описывает эти приемы, все примечательное из того, что он видит, что происходит вокруг и случается с ним самим. Большое внимание он уделяет вопросам религии, особенностям вероисповедания в разных государствах. Он осматривает монастыри, госпитали, учебные заведения, принимает участие в диспутах. Записки свидетельствуют о высокой образованности автора, его умении хорошо разбираться в произведениях искусства, предметах роскоши, памятниках архитектуры и компетентно о них судить. См., например, типичную для дневника запись об одном из многих частных домов, которые автор посещал во время путешествия: «Потолки в палатах дѣланы Итальянскою работою из гипса, подобны альбастру рѣзному, и убор богатый, и палат зѣло много. Одна палата обита парчами, двѣ комнаты обиты байберeками золотыми, и всяких вещей для украшения в тех палатах много».[25]

Различны все эти три источника и по языку. Записки Б. М. Шереметева содержат больше архаизмов и более тяготеют к деловому языку, по крайней мере в части описания посольских дел. Язык Путешествия П. А. Толстого представляет собой дальнейшее развитие другой языковой струи, истоки которой восходят к повествовательному типу языка.[26] В «Журнале путешествия» представлен более лаконичный его вариант.

Вместе с тем все они отличаются конкретно-информативным характером изложения. Авторы стремятся прежде всего сообщить об увиденном, дать точное описание предмета или явления. В одних случаях это — краткие описания, в других — более пространные, но все они содержат конкретную информацию о предмете. Для Записок Б. М. Шереметева и «Журнала путешествия» более типичны краткие описания. См., например, «‹Костел› весь сдѣлан от земли и до креста из разных мрамуров, а простого нигдѣ нет. .; колоколня сдѣлана из бѣлова кампя в столпах резных, а на пей крест на одном деревѣ виноградном, такова дерева виноградного тот столп нигдѣ не обрѣтается».[27] Для П. А. Толстого характерны значительно более подробные описания. Вот как говорит, например, автор о часах на воротах ратуши в городе Ульмунце, «Тѣ часы бьют перечасье мусикийским согласием, и как тѣ часы станут бить перечасье, в то время видимо, что люди вырѣзанные из дерева, бьют в колокола руками. Ниже того сдѣланы два человѣка рѣзные из дерева и учнут в тож время тру-

[25] Путешествие стольника... — Русский архив, 1888, кн. 1, с. 193.

[26] О трех типах древнерусского письменного языка см.: *Филин Ф. П.* О свойствах и границах литературного языка. ВЯ, 1975, № 6, с. 11.

[27] Похождение на Мальтийский остров..., с. 1688.

бить на трубах. И с одной стороны у тѣх часов выходят люди пѣшие рѣзные ж из дерева, и с другой стороны тѣх же часов выезжают на лошадях люди, вырѣзанные из дерева так же что вышепомяненные пѣшие из-за стѣны».[28]

Однако во всех трех источниках встречаются также и приемы более живого образного описания, вносящие элемент беллетризации. Чаще всего авторы прибегают к сравнениям. У Шереметева они встречаются довольно редко, преимущественно в виде сопоставлений с конкретными предметами: «Алмаз граненой, величиною с яблоко лесное, и жемчугу бурмицкого премножество, величиною с орех руской. ., лал красной, величиною с яблоко великое лесное». (с. 1691). Более часты и разнообразны сравнения у автора «Журнала путешествия»: «Из стороны тѣх гор текут источники, подобно как великие двери отворены»; «Многия горы такия высокия, что облака ниже их ходят».[29] Но особенно многочисленны они у П. А. Толстого: «Іюля в 24-й день. В Венеции был. . великий град подобен яйцу Русской курицы» (с. 354). «В тѣх органах удивительно, что пребезмерно громогласны и кажется так от голосов тѣх органов, якобы всей церкви потрясатися. . . В тѣх органах свищет подобно птицѣ канарейкѣ или соловью; потом, . . когда отопрет всѣ голосы и трубы, тогда не останется ни один инструмент ото всей музыки, который бы в тѣх органах не отзывался игранием: вначалѣ органы, цимбалы, скрипицы, басы, шторты, арфы, флейты, вилиочамбы, цитры, трубы, литавры и иные всякие мусикийские инструменты; когда запрет многие голосы, тогда на тѣх органах будут отзываться трубы власно как трубят трубачи на двойных на перекличках, якобы один издалека, а другие изблизка» (с. 360). «А как той горячей воды не растворишь холодною водою, и в ней по нуждѣ может малое мясо свариться, а яйцо куричье без нужды сварится в ней скоро» (с. 363). «А на тѣх столпах поставлены вырезаны из бѣлаго камени два подобия конския преудивительною работою власно как живы и в меру возраста немалой Нѣмецкой лошади» (с. 519); и др.

В «Путешествии стольника» изредка встречаются и пейзажные зарисовки: «И от того мѣстечка почали видеться оболока, лежащия на горах и выше оболоков лежащих видѣться горы, и о тѣ горы оболока стираются, а иныя оболока с тѣх гор подымаются высоко, однакож еще ниже верхов самых тех помянепных гор» (с. 334). «На тѣх горах всегда лежит много снѣгов, потому что для безмѣрной их высокости великие там холоды, и солнце никогда там промеж или лучами своими не осѣпяет» (с. 334). Однако и тут автор стремится не столько живописать, сколько точно обрисовать то, что он видит.[30]

---

[28] Путешествие стольника. . . — Русский архив, 1888, кн. 1, с. 321.

[29] Отечественные записки, 1830, ч. 43, с. 61.

[30] О записках путешествий Б. М. Шереметева, П. А. Толстого и неиз-

В первой четверти XVIII в. еще наблюдается характерное для XVII в. объединение в одном источнике статейного списка и путевого журнала. Таково, например, «Посольство к Зюнгарскому Хун-Тайчжи Цэван Рабтану капитана от артиллерии Ивана Унковского и путевой журнал его за 1722—24 годы».[31] Этот источник ценен тем, что знакомит с некоторыми сторонами истории народов Сибири, в частности зюнгарских калмыков, с их обычаями, обрядами, легендами и соответствующим кругом лексики, а также тем, что представляет образец письменной речи лица иного социального происхождения и иного уровня образованности, чем авторы Великого посольства.

Записки путешествий официальных лиц второй половины XVIII в. немногочисленны. В основном они представлены описаниями поездок, совершавшихся по поручению правительства с военно-разведывательными целями. По содержанию и характеру изложения — это полуделовые журналы, написанные литературным языком второй половины XVIII в. В их числе «Описание путешествия в 1786 году.. Александра Борисовича Куракина в низ по Суре от Красноярской до Чирковской пристани, находящейся при устье впадающей в Суру реки Инзы, с приобщением известий о той реке» (СПб., 1793), публикация XIX в. «Журнальная записка происшествиям во время экспедиции.. князя Юрия Долгорукова.. в Черную Гору.. 1769-ый год»[32] и некоторые другие.[33]

Во второй половине XVIII в. появляется довольно большое количество путевых дневников частных лиц. Их авторы — люди разных социальных слоев — совершают поездки по России и за границу с разными целями: для установления и поддержания различных контактов и связей, для знакомства с жизнью и обычаями других народов, для развлечения, познания нового, оказываются в чужих краях по независящим от них обстоятельствам. Среди них и статские советники Н. А. Демидов[34] и В. Н. Зиновьев,[35] и оставшийся неизвестным автор «Повседневных записок в Сицилию и Мальту» (СПб., 1784), судя по их содержанию

вестного автора см.: *Лихачев Д. С.* Повести русских послов как памятники литературы.

[31] Записки РГО по отделению этнографии. Т. X, в. 2. СПб., 1887.

[32] Русский Архив 1886, т. I.

[33] К этому же ряду записок путешествий относятся также 1) Записка о поездке А. И. Бибикова в русскую Финляндию в 1769 г. — В кн.: Памятники новой русской истории. Т. 3. СПб., 1873. 2) Поездка полкового квартирмистера поручика Арефия Незпаева из крепости Усть-Каменогорской в г. Хобдо в 1771 г. — Известия РГО. СПб., 1868, № 5. Однако при изучении этих публикаций как источников языка необходимо иметь в виду, что они сделаны с искаженных копий.

[34] Журнал путешествия... Никиты Акинфиевича Демидова по иностранным государствам с начала выезда его из СПб-га 17 марта 1771 по возвращение в Россию ноября 22 дня 1773 г. М., 1786.

[35] Журнал путешествия по Германии, Италии, Франции и Англии, 1784—1790. — Русская старина 1878, т. 23.

весьма образованный человек, прекрасно знающий классические и современные европейские языки, историю, искусство, архитектуру и т. д.

К этому ряду путевых записок примыкают еще два появившихся во второй половине XVIII в. произведения — «Российского унтер-офицера Ефремова.. десятилетнее странствование и приключение в Бухарии, Хиве, Персии и Индии и возвращение оттуда через Англию в Россию. Писанное им самим» (СПб., 1786) и «Нещастныя приключения Василья Баранщикова мещанина Нижняго Новагорода в трех частях света: в Америке, Азии и Европе с 1780 по 1787 год» (СПб., 1787), записанные неизвестным лицом со слов Баранщикова.[36] Оба они относятся скорее к жанру, совмещающему черты записок путешествий и приключенческой литературы. Второе из них сразу же подверглось критике за «смешанный и неприятный слог, доказывающий нерадение»,[37] что в равной мере могло быть сказано и о первом произведении. Тем не менее и тот и другой источники, описывающие местные обычаи, природу, оружие, уборы, пищу жителей, предметы торговли и пр., интересны по составу лексики, содержащей большое количество ориентализмов.

К смешанному жанру — записок путешествий частного лица за границу, в «святые места» и военных мемуаров — относятся также «Дневныя записки путешествия из архипелагскаго, России принадлежащего острова Пароса, в Сирию и к достопамятным местам в пределах Иерусалима находящимся.. Сергея Плещеева» (СПб., 1773). Их автор, офицер русского флота, оказавшийся по делам службы в Малой Азии, описывает места, связанные с библейскими преданиями, которые он посетил, сообщает различные исторические и географические сведения о Сирии, о войне ее правителя и своем в ней участии, рассказывает о приключениях, случившихся с ним и его товарищами во время путешествия.

Особую ветвь записок путешествий официальных лиц составляют путевые журналы царствующих особ и членов царской фамилии, которые начали появляться с конца XVII—начала XVIII в. Ее открывают собственноручные записки Петра I «Юрналы и камер-фурьерские журналы (1695—1713, 1715—1725)» (СПб., 1835—1855) и «Журнал или поденная записка блаженныя и вечно достойныя памяти государя императора Петра Великого с 1698 г. даже до заключения Нейштадского мира» (СПб., 1770, 1772), автором и главным редактором которых был Петр I.[38] Все

---

[36] См. Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725—1800. Т. III. М., 1966, с. 296.

[37] Зеркало света, 1787, ч. VI, № 97.

[38] В его составлении и редактировании принимали участие А. В. Макаров, П. П. Шафиров, Феофан Прокопович. См. Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века. 1725—1800. Т. I. М., 1962, с. 352. Военные журналы Петра I рассматриваются в ряду записок путе-

остальные, довольно многочисленные записки о путешествиях Петра I,[39] Екатерины II,[40] Павла I[41] и др., велись, как правило, очевидцами из числа сопровождавших или встречавших лиц.

Отчеты о путешествиях царей предназначались для широких кругов читателей, они печатались в газетах и в виде отдельных изданий.[42] Одни из них по содержанию и характеру изложения близки к памятникам официально-делового языка, другие — представляют собой беллетризованные повествования описательного типа. Из последних как источники литературного языка прежде всего заслуживают внимания «Журнал о высочайшем путешествии. . Екатерины II от Ярославля до Костромы 1767 г.», написанный одним из встречавших Екатерину II депутатов,[43] «Путешествие Павла в Казань в 1798 г.», представляющее собой выдержку из рукописи, хранившейся к моменту публикации в музее в Павловске.[44]

Рассмотренные выше записки путешествий либо написаны по типу уже существовавших до XVIII в., либо представляют собой их ответвления. Совершенно новую разновидность источников

шествий как исключение, в связи с тем что они начинают новую ветвь в развитии этого жанра.

[39] Путешествие его величества в Париж. СПб., 1771. См. также: Журнал ежедневный пребывания в Париже государя императора Петра Алексеевича. — Русский Вестник, 1841, т. 2.

[40] Журнал путешествию ея императорского величества в Эстляндию и Лифляндию. СПб., 1769. См. также: Повседневныя записки о путешествии императрицы Екатерины II в Эстляндию и Лифляндию, в 1764 г. (отрывок из того же источника). — Сын Отечества, 1843, кн. 8, 9; Журнал о высочайшем путешествии ея императорскаго величества императрицы Екатерины II от Ярославля до Костромы 1767 года. — Журнал Министерства Внутренних дел, 1837, ч. 26, № 10; [*Храповицкий А. В.*] Журнал высочайшаго путешествия ея величества государыни императрицы Екатерины II, самодержицы всероссийской, в полуденныя страны России в 1787 году. М., 1787; Журнал высочайшему ея императорскаго величества путешествию из С. Петербурга в Киев, из Киева через Кременчуг в Херсон и Старый Крым, а оттуда через Полтаву в С. Петербург, продолжавшемуся 1787 года генваря с 2 дня июля по 12 число. — Записки Одесского Общества истории и древностей, 1853, т. 3; [*Пущин П. И.*] Капитана I-го ранга П. И. Пущина записка о речном плавании государыни императрицы Екатерины Великой от Твери до Казани, Болгарь и Симбирска вместе с табелью. — Славянин, 1828, ч. 5, № 5.

[41] [*Вороблевский В.*] Описание путешествия его имп. высочества благовернаго государя цесаревича и великаго князя Павла Петровича в Берлин и обратнаго прибытия в Санктпетербург в 1766 году. М., 1766; *Плещеев С. И.* Начертание путешествия их императорских высочеств великого князя Павла Петровича и государыни великой княгини Марии Федоровны, ..предпринятаго в 1781 и окончаннаго в 1782 г. СПб., 1789; Путешествие императора Павла в Казань в 1798 г. — Русская старина, 1892, т. 76.

[42] Например, описание В. Вороблевского (см. сн. 41) составлено из публикаций о путешествии великого князя Павла Петровича в Берлин в 1776 г., печатавшихся в «Московских ведомостях».

[43] См. сн. 40.

[44] Русская старина, 1892, т. 76.

этого круга составляют научные записки путешествий, появление которых, начиная с середины XVIII в., ознаменовало также начало нового этапа в развитии русского просвещения. Большая серия таких работ была написана членами Академии наук, в число первоочередных задач которой (сразу же после ее создания в 1724 г.) входило изучение различных районов России — их географии, растительного и животного мира, полезных ископаемых, промышленного и промыслового хозяйства, этнографии населяющих эти районы народов, и т. д.

Первым научным трудом, положившим начало этой серии исследований, была работа С. П. Крашенинникова «Описание земли Камчатки» (СПб., 1755), в которой автор обобщил материалы 5-летней экспедиции на Камчатку (1737—1741).[45]

Начиная с 70-х годов появляется целый ряд такого рода работ — членов Академии наук — И. И. Лепехина «Дневные записки путешествий по разным провинциям Российского государства в 1767—71 гг.»,[46] С. Г. Гмелина «Путешествие по России для исследования трех царств естества»,[47] П. С. Палласа «Путешествие по разным провинциям Российской империи»,[48] В. Ф. Зуева «Путешественные записки от СПб-га до Херсона в 1781 и 1782 гг.» (СПб., 1787), Н. Я. Озерецковского «Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому» (СПб., 1792), В. Севергина «Записки путешествия по западным провинциям Российского государства, или минералогические, хозяйственные и другие примечания, учиненные во время проезда через оныя в 1802 г.» (3 ч. СПб., 1803—1805) и их продолжение (1804).

К научным путешествиям членов Академии примыкают также труды первого члена-корреспондента Академии наук П. Н. Рычкова «Топография оренбургская» (ч. 1—2. СПб., 1762 г.), его сына, адъюнкта Академии наук Н. П. Рычкова — «Журнал или Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства 1769 и 1770 году» (СПб., 1770) и их Продолжение (СПб., 1772) и его же «Дневные записки путешествия

---

[45] О научных экспедициях членов Академии наук см. в нашей статье «Локализмы в Словаре Академии Российской». — В кн.: Словари и словарное дело в России XVIII в. Л., 1980.

[46] 4 части. СПб., 1771, 1772, 1780, 1805. В IV части, помимо материалов И. И. Лепехина, представлены (с 81 стр.) записи Н. Я. Озерецковского, подготовившего этот том к печати, а также В. В. Крестинина и А. И. Фомина. — См.: Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века, т. II, с. 143.

[47] Впервые издано на немецком языке: Reise durch Rußland zur Untersuchung der drei Natur-Reiche. SPb., 1770—1784. Перевод с немецкого. 3 части. СПб., 1771, 1777, 1785.

[48] Впервые было опубликовано на немецком языке: Reise durch verschiedene Provinzen des Rußischen Reichs. SPb., 1771—1776. Перевод с немецкого. 3 части. СПб., 1773, 1786, 1788. В III часть вошло описание путешествия В. Ф. Зуева к берегам Северного Ледовитого океана, предпринятого им по поручению Палласа. См. Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века, т. III, с. 387.

в Киргиз-Кайсацкую степь в 1771 году (СПб., 1772). Сюда же относятся и некоторые научные путешествия частных лиц, совпадавшие по направлению и цели с указанными выше исследованиями — П. И. Челищева «Путешествие по северу России в 1791 г.» (СПб., 1886), Я. М. Марковича «Записки о Малороссии, ея жителях и произведениях» (СПб., 1798) и др.

Почти все авторы этих записок, разносторонне образованные ученые, проявляли большой интерес к вопросам развития языка. Поэтому их сочинения — очень яркое явление не только в науке, но и в истории развития литературной письменной речи. В произведениях блестящих знатоков русского языка послепетровской поры — Крашенинникова, Лепехина, Зуева и др. — представлен тот тип единого литературного языка «для книг и для общества», на необходимость использования которого через несколько десятилетий укажет Н. М. Карамзин, — «чтобы писать как говорят и говорить как пишут».

Лексический состав этих произведений в связи с разносторонними научными интересами и просветительскими устремлениями их авторов особенно разнообразен. В них представлена терминология многих научных отраслей (географическая, ботаническая, зоологическая, этнографическая и др.), различная промышленная, промысловая и ремесленная терминология; впервые зафиксирован ряд новообразований с суффиксами книжного происхождения: *бурлачество, вальяжность, гончарство, заквашивание, замечание, выделывание малочисленность, мозглость, мохнатость, мыльность, намазывание, обозревание, оборонительство, пластание, подделывание, предостерегание, прозябаемость, размытие, раскаление, растаивание, рыбачение, сверчивание, унавоживание, уютность, хрупкость, шаманство, шумность* и др.;[49] здесь же представлены слова, получившие в дальнейшем более широкую сферу распространения: *зыбь, наст, сланец* ('стланец, стланик, низкорослые, стелющиеся по земле деревья или кустарники'), *слиток, сплавка* (леса по реке) и др.[50]

---

[49] См.: *Мальцева И. М., Молотков А. И., Петрова З. М.* Лексические новообразования в русском языке XVIII в. Л., 1975. Словоуказатель.

[50] См. некоторые примеры употребления этих слов в источниках XVIII в.: «С кладью по торной дороге переежжают верст по 30 на день и больше, а налегке, особливо же весною по насту, на костяных полозьях верст по полтораста» (Краш. ОЗК[1], 400). «Наст есть отвердѣлая поверьхность снега; бывает только вѣсною, когда снѣг от солнца притаевает во время дня, а ночью замерзает» (Пут. Сарычева I, 65). «На обоих <островах> нет лесу кроме сланца и ерьнику» (Краш. ОЗК[1], I, 166). «Оныя <места> всѣ в тундрѣ и моховых кочках, на которых растет только мох, кедровник и ольховник сланцы» (ПСЗ XV, 63). «Слитки некоторых перегорелых материй» (Краш. ОЗК[1], 107). «Иверни песчанаго камня и смѣшаннаго гранита много сходствуют с веществом оных слитков и подают новое доказательство, что всѣ сии вещества были нѣкогда огнем разтоплены» (Ист. Бюф. I, 310). «С меньшею трудностью лес получается, ежели реки к сплавке способны» (Краш. ОЗК[1] 199). «В летнюю же пору оные Якуты по случаю в... сплавке... лесов... употребляются» (РМ I 402).

Особенно обширен в этих произведениях слой лексики, находившейся на границе литературного употребления, источником которой служила народно-разговорная речь.[51] Здесь и слова, стилистически маркированные в «Словаре Академии Российской», такие как *знать* (простонар. 'знатность, знатные люди'), *вострый* (в простор. Зри *острый*), *вкруте* (простонар. 'круто') и др.,[52] и множество слов, не имеющих в словаре стилистических помет или вообще в него не вошедших, используемых в XVIII в. в произведениях среднего и низкого слога или фольклорных записях, в числе которых такие, как *беречись, впусте, гололедь, голомень, заживный* ('зажиточный'), *землица, изголовь* ('конец мыса'), *лепиться* ('тесно прижиматься к чему-либо, находясь на ограниченном пространстве'), *летовать, невступно, нутренний, оголодать, плавить* ('сплавлять'), *позадь, поминутно, портки, скутывать* (печь) и др.,[53] в научных записках путешествий содержится множество подобных слов, имевших в письменном языке XVIII в., судя по материалам Картотеки, ограниченную употребительность: *встрелить* (на что, куда), *заметать, объясачить, перемежиться, прибавливать, приплавливать, родный* ('урожайный'), *разводиться* (чем), *следовать о чем* ('исследовать, изучать что'), *ускок* ('прыжок') и др.[54]

---

[51] О народно-разговорной лексике в научных записках см.: *Куликова В. Н.* Семантико-стилистические изменения в лексике (на материале путешественных записок П. Челищева, Н. Озерецковского, И. Лепехина, П. С. Палласа). — В кн.: Вопросы грамматики и стилистики русского языка. Иркутск, 1974.

[52] Далее при описании словарного состава научных записок путешествий в качестве иллюстраций приводятся материалы из «Описания земли Камчатки» Ст. Крашенинникова (Краш. ОЗК[1]). См. некоторые примеры: «В знать приходить оной <Охотск> начал с тех пор, как морской ход на Камчатку проведан» (158). «А близь нее есть небольшая вострая горка» (127). «А напоследок изворотясь вкруте <река Камчатка>... в Восточной окиан устьем падает» (101).

[53] См. некоторые примеры употребления этих слов в Краш. ОЗК[1]: «Надобно беречись, чтобы выжиганием лесов не отогнать соболей прочь» (198). «Но после того данное зимовье оставлено было за отдалением впусте» (152). «А хлеб у заживных людей токмо по праздникам употребляется» (158). «Камчатскою землицею .. называется ныне оной великой мыс» (98). «Тайноцкой мыс .. столь далеко в море простирается, что с изголови его можно видеть камчатский берег» (152). «Удской острог находится в 55½ ширины и невступно в 153° длины» (161). «От устья Шонхада реки залегла в южную сторону нутренная губа» 125). «Плавят его <топольник> как и дрова, привязав к лодке» (199). «Позадь горы находятся два великие озера» (106). «Натапливают юрту или балаган, как баню, и скутывают жарко» (394).

[54] См. примеры из того же источника: «Тот по их мнению долго проживет, кто на яр встрелит» (110). «На осьмом острову Сияскутане.. живут немногие люди, которые еще не объясачены» (169). «Я плывучи рекою должен был в тех местах верст прибавливать, где мера через мысы ведена была для близости» (111). «А приплавливают их <дрова> весьма мало» (198). «Злаки, которые многой влажности требуют, весьма бывают родны» (196). «Народная тяжесть и без того отвратится, когда тамошние переведенцы лошадьми разведутся» (116). «Они не столь любо-

В произведениях этой жанровой разновидности как ни в каком другом круге литературных источников широко отражена локально ограниченная по распространению лексика,[55] включающая диалектизмы[56] и этнографизмы. См., например, в «Описании земли Камчатки»: *ер[ь]ник* ('мелкий лес'), *заносье, застой, кекур* ('каменный столб'), *кошка* ('полоса мелей'), *наботеть* ('набухнуть'), *отпрядыш, плодбище, покать, поторчина, порса, прилук, приярый, россошина, россошь, сивуч, солощий* ('лакомый, жадный в еде'), *сувой* или *сулой* и др.;

алаки, барабан, барабара, бат, заисанка, копыл, коча и кочь, кухлянка, побѣжник, парка, хомяга, чекуша, чирела, юкола и др.[57]

пытны, чтоб следовать о вещах, которые до них не касаются» (136). «Сказывают они, что сей их Пегаз поднявшись с прежнего своего места, в третий ускок очутился на нынешнем» (106) и др.

[55] Содержание понятия локализм раскрыто в нашей статье «Локализмы в Словаре Академии Российской». — В кн.: Словари и словарное дело в России XVIII в. Л., 1980, с. 103.

[56] *Князькова Г. П.* О диалектной лексике в русском языке XVIII в. — В кн.: Процессы формирования лексики русского литературного языка. М.—Л., 1966.

[57] Примеры употребления этих слов в тексте Краш. ОЗК[1]: «Места, где нет никакого лесу, кроме мелкого ивняку и березнику, под именем ерьника в тех странах известного» (197). «Заносьем называются места от Анадырска к Камчатке лежащие» (99). «Такие застои белой рыбы есть и выше Идягуна реки» (108). «На верхах их ‹гор› усматриваются каменные столбы или кекуры» (184). «Между устьями реченных проток на кошке находятся в разных местах летние ламутские жилища» (153). «Недалеко от южного конца объявленного острова есть небольшой отпрядышь или каменный островок» (163). «От устья ее ‹реки Амура› верстах в полуторесте учреждено плодбище, .. где морские служители и охотские казаки по нескольку судов .. ежегодно строили» (159). «Вершины ее ‹реки Пенжины› прилегли к покатям Колымы реки» (151). «В противном случае наносит их ‹суда с привязанными к ним дровами› на шиверы, на хлам, и на поторчины» (198). «Между Виллигою и помянутым мысом есть прилук, именуемый Келиги» (152). «Большая река имеет берега приярые и нарочито высокие» (197). «Удь река вершинами сошлась с россошинами зейскими» (160). «Во время отлива на несколько верст ходит вал с белью и засыпью.. Казаки называют оные валы сувоем или сулоем» (166). «‹Судно «Березовка»› наботело» (199). «Ежели бы солощие оные животные не ели всего того, что только может принять желудок» (203). «Алаки или лямки делаются из широких мяхких и в двое изогнутых ремней» (396). «Над устьем Озерной реки .. есть несколько балаганов и барабар, где казаки летом живут для промыслу рыбы» (115). «Камчатские лодки или по тамошнему баты» (381). «Большие лодки или заисанки» (100). «Санки.. делаются о двух копылах» (396). «Морское судно, называемое кочь» (101). «Верхнее платье ‹камчадалов› называется кухлянка» (387). «Побежник называется долгой ремень, у которого на одном конце привязывается кляп» (398). «Лучшее платье, которым и казаки и камчадалы щеголяют, по казачьи называется парка» (387). «Камчадалы.. взяли по хомяге (посуда, с чем по воду ходят)» (423). «Чекуши.. называются у них костяные рагульки о четырех рожках, которыя насаживаются на долгия ратовья» (404). «Служители.. всю юрту и полки услали чирелами (травяными рогожами)» (423—424), «Сия сушеная рыба ‹лососевых пород› свойственно юколою называется» (49).

Появление научных путешествий, особенно «Описания земли Камчатки», — новый этап в истории записок путешествий. Это — одно из первых больших научных сочинений, написанное прекрасным литературным языком, в котором приемы научного описания материала сочетаются с научно-популярными[58] и литературно-художественными. Автор стремится не только непринужденно и увлекательно рассказать об увиденном во время путешествия, но и придать своему изложению красочность и эмоциональность.

О выразительности языка этого произведения свидетельствуют, например, обширные ряды встречающихся в нем синонимов. Так, река не только *течет*, но и *имеет течение, склоняется, падает, бежит, устремляется*; она *вытекает, выходит, выпадает* откуда, из чего-либо. Часто она как бы уподобляется живому существу, которое «принимает в себя множество рек и речек», впадая в другую реку, «сбивает ее с своей дороги» (с. 108). «По заметании устьев она .. сыскала себе другую дорогу в море» (с. 102), «от устья сего истока переменила течение» и т. п.

В книге широко используются сравнения, в том числе образные: «Ключи бьют во многих местах как фонтаны .. Некоторые стоят как озера в великих ямах, а из них текут маленькие ручейки, которые соединяясь друг с другом, всю помянутую площадь как на острова разделяют» (с. 202). «Находятся весьма многие скважины, иные как булавкою проткнуты, иные побольше, а иные и около полуаршина в диаметре» (с. 213). «Вся гора Камчатская казалась раскаленным камнем. Пламя .. устремлялось иногда вниз, как огненные реки, с ужасным шумом» (с. 210). «Под ним <льдом> ил как кисель» (с. 197). «Камчадалы на басни такие ж художники, как старинные греки» (с. 104). «<В горячих источниках> кипит вода белым ключем как в превеликих котлах с таким шумом, что не токмо разговоров между собою, но почти и крику не можно слышать» (с. 217). Описывая бегство предводителя восстания Федора Харчина, автор пишет, что его не могли догнать, «ибо он так резво бегал, что мог постигать диких оленей» (с. 495).

Свидетельством умения автора сказать об одном и том же не монотонно, живо, не навязчиво, так чтобы обратить внимание читателя, могут служить, например, различные способы, используемые им при обозначении расстояния.[59]

1. Указывается точное расстояние (в верстах): «От нового до старого устья реки Охоты 2 версты 200 сажен» (с. 156). «В шести верстах от устья Камчатки .. есть великое озеро» (с. 102).

---

[58] См. *Сердобинцев Н. Я.* Выразительность как средство становления научно-популярного стиля литературного языка. Проблемы лингвистической стилистики. Тезисы докладов. М., 1965, с. 131.

[59] См.: *Тимофеева Т. А.* Стилистические особенности научно-популярной литературы (на материале обозначения количества). — В кн.: Единицы различных уровней в языке и речи, ч. 3. Краснодар, 1976.

Автор указывает чьи-то данные о точном расстоянии: «А всего расстояния с устья реки Еловки до устья Ешхмина по мере геодезистов 114½ верст» (с. 112). «От устья Камчатки до острога намеряно тридцать верст» (с. 103). Со словами *считается, почитается, почитают* и т. п.: «От речки Крестовой до Гренича почитается 12½ верст» (с. 108). «Ширина его ‹Нерпичьего озера› с юга к северу почитается на 20 верст» (с. 102). «От Харчина до Горбунова прямою дорогою считается только 11 верст мерных» (с. 111). «‹Река Быстрая› вышла из под Байдары гривы, до которой с устья ее почитают десять верст» (с. 112).

2. Указывается примерное расстояние. С указанием верст, путем инверсии: «Версте в полутретье от Хапичи следует Еймолонречь ручей» (с. 102). «Первый залив версты на три длиною» (с. 102). «Такие застои есть .. не доежжая верст за 5 до речки Паменовой» (с. 108). «До вершины ее ‹реки Коонан› от устья верст с 50 полагается» (с. 112). «От устья Быстрой реки до помянутого яру верст с 18 положить можно» (с. 112). Со словами *около, без мала, не больше*: «Расстояние между вторым и третьим заливом около полуверсты» (с. 102). «Речка Пименовая без мала в 12 верстах выше Идягуна течет в Камчатку» (с. 108). «Расстояние там между Камчаткою и Ратугою не больше семидесят сажен» (с. 103). Без обозначения верст: «Между хребтами знатное расстояние» (с. 100). Расстояние измеряется временем перемещения на чем-либо или каким-либо образом: «В двух днях пешего ходу от речки Ижиги» (с. 152). «От Тактамы день езды на собаках или на байдаре морем до Макачи» (с. 152). «От речки Тамелики до Лепиока почитают два дни» (с. 153).

Известную живость и беллетристичность придают тексту научных записок приводимые автором в большом количестве камчатские легенды, в которых, как он отмечает, «без сумнения заключается некоторое известие о древней перемене сих мест» (с. 107). Такова, например, легенда об озерах Кайначь и Кульхколянгын, которые образовались «от ступени горы Шевелича», т. е. в углублениях, сделанных «ступавшей» горой, когда она якобы переходила на другое место (с. 106—107). Или легенда о Камчатской горе: «Камчадалы почитают объявленную гору за жилище умерших и сказывают, что тогда она говорит, когда покойные юрты свои топят, которые питаются по их мнению китовым жиром, а китов ловят в море под землею к ним подходящем. Тот же жир употребляют они и на свет, а костями вместо дров юрты свои топят» (с. 211) и мн. др.

Особую группу научных путешествий составили в XVIII в. записки морских экспедиций, предпринимавшихся русскими мореплавателями на протяжении всего XVIII в. с целью новых исследований и открытий. Особенно большое внимание русских мореходов и промышленников привлекали районы северо-востока России, Камчатки, Аляски, Алеутских и Командорских островов, обследовавшиеся ими, начиная с середины XVII в. Однако наи-

более обстоятельное описание этих мест мы находим в записках морских путешествий, начиная с 80-х годов XVIII в., в числе которых, например, путевой дневник купца Г. И. Шелихова, стяжавшего себе славу российского Колумба,[60] который представляет собой подробное описание путешествия «из Охотска по Восточному океану к Американским берегам.. с обстоятельным уведомлением об открытии новообретенных им островов Кыктака и Афагнака.. приобщением описания образа жизни, нравов, обрядов, жилищ и одежд обитающих там народов, покорившихся под Российскую державу: также климат, годовыя перемены, звери, домашния животныя, рыбы, птицы, земныя произрастения и многие другие любопытные предметы там находящиеся».[61] Частично те же места и примерно тот же круг вопросов освещается в не менее капитальном и обстоятельном «Путешествии флота капитана Г. Сарычева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану в продолжении осьми лет при географической и астрономической морской экспедиции, бывшей под начальством флота капитана Билингса с 1785 по 1793 г.» (2 части, СПб., 1802).

Описанию побережья Белого моря и Соловецкого монастыря посвящены записки морского путешествия архангельского купца и члена-корреспондента Академии наук А. Фомина.[62] К этой же группе источников относятся записки, содержащие описание единственного, предпринятого в первые годы XIX столетия кругосветного путешествия.[63]

Морские записки путешествий, как и научные, создавались не только для специалистов, но и для более широкого круга читателей. Один из авторов записок Г. Сарычев по этому поводу писал: «Кромѣ пользы для мореплавателей, я желал бы изданием сего Путешествия угодить и почтенной публикѣ. Я не старался по примѣру нѣкоторых странствователей украсить повествование свое привлекательными, чрезвычайными и забавными, но вмѣстѣ вымышленными приключениями, а только слѣдуя всегда одной истинѣ, с точностию вносил в оное подлинныя произшествия, и мѣстами дѣлал свои замѣчания».[64]

---

[60] О Г. И. Шелихове см.: *Адамов А.* Г. И. Шелихов. М., 1952. Григорий Иванович Шелихов — Колумб Российский. — В кн.: Куряне — выдающиеся деятели науки и техники. Курск, 1950, с. 8—21.

[61] Российского купца Григорья Шелехова странствование с 1783 по 1787 год из Охотска по Восточному океяну к Американским берегам. СПб., 1791. См. также Российского купца Григорья Шелехова продолжение странствования по Восточному океану к Американским берегам в 1788 году. СПб., 1792.

[62] *Фомин А.* Описание Белаго моря с его берегами и островами.. СПб., 1797.

[63] Путешествие вокруг света в 1803—1806 гг.. на кораблях «Надежда» и «Нева» под начальством флота капитан-лейтенанта Крузенштерна. 3 части. СПб., 1809—1813; *Лисянский Ю.* Путешествие вокруг света в 1803, 1804 и 1806 гг. на корабле «Нева». Ч. I. СПб., 1812.

[64] Путешествие флота капитана Г. Сарычева., с. XII.

Язык этих источников хотя и близок к языку научных путешествий, но несколько от него и отличен, поскольку их авторами были не ученые, проявлявшие специальный интерес к изучению русского языка и его диалектов, а капитаны судов, купцы, промышленники. Это отмечали и сами авторы записок. Так, А. Фомин в предисловии к своей книге писал: «При чтении оных моих писем[65] не требуйте от меня той в сочинении знаменитости, коя по достоинству ученым особам присвояется .. Натура нашего чиносостояния доставила нам в жребий трудолюбие: а сие дарует, свойственную ему простоту изъяснения».[66] Язык морских путешествий не перегружен специальной терминологией, не отягощен иноязычной лексикой и почти не содержит архаизмов и славянизмов.

В морских записках путешествий, так же как в научных, получали отражение многие северные и северо-восточные локализмы. В их числе такие, например, не встречавшиеся в более ранних источниках слова, как *однодеревка, соломата, увал, шар* ('пролив'), *голыш* ('обточенный волной, торчащий над поверхностью воды камень'), *уброд* ('снежная целина и сугробы') и др.[67] Поэтому записки морских путешествий представляют особый интерес для изучения этой части лексики, а также для прослеживания дальнейших судеб многих слов, вошедших в письменную речь с появлением труда С. П. Крашенинникова (ср. *байдары, кекур, коча, кошка, сувой* или *сулой, щека* и др.).

Качественно новой ступенью в истории развития изучаемого жанра явилось использование формы путевых записок для создания литературно-художественных произведений сентиментализма. Начало развитию такого рода художественных произведений, как известно, было положено «Сентиментальным путешествием по Франции и Италии» Стерна (1768). Если объектом наблюдения всех рассмотренных выше разновидностей записок путешествий являлись предметы и события внешнего мира, то внимание авторов сентиментальных путешествий сосредотачивается на описании чувств, переживаний, настроений героя. Окружающие предметы, события, люди, их быт, природа существует для автора сентиментальных путешествий лишь постольку, поскольку они связаны с его мироощущением, вызывают какие-то мысли, чувства,

---

[65] Записки путешествий написаны в форме писем.

[66] *Фомин А.* Описание Белаго моря., с. 8.

[67] См. примеры употребления этих слов в источниках XVIII в.: «Однодеревки, род небольших лодок» (Пут. Сарычева I, 46, примеч.); «Я приказал нарочно сварить из ржаной муки густую саломату» (Там же, 127); «Морские львы, или по здѣшнему сивучи» (Там же, 139); «Увал есть понижение высокаго и ровнаго берега косогором» (Там же, 81); «Беломорские крестьяне, проливы морские называют Салмами, а мезенские Шарами» (Фомин, Белое море 88); «Повсюдно почти разметанные голыши, устрашительно из вод торчащие» (Там же, 92); «По убродам (т. е. цѣликом и сугробами. — *Прим. ред.*) часто до упаду, для поспѣшности шел пѣшком». (Пут. Шелихова 56).

создают настроение. В этих произведениях все описывается, как правило, в преломлении через личное восприятие путешествующего героя. Наиболее выдающиеся произведения этого жанра — знаменитые «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева и «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина. На границе XVIII и XIX вв. появляется еще целый ряд разных по своим художественным достоинствам произведений этого жанра. В их числе, например, «Путешествие в полуденную Россию, в письмах» (4 части, М., 1800) Владимира Измайлова, «Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 г.» (М., 1800) и «Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду» (2 ч. СПб., 1803 и 1805) П. И. Сумарокова, «Путешествие в Казань, Вятку и Оренбург в 1800 г.» (М., 1803) М. И. Невзорова, «Путешествие к Липецким минеральным водам в 1803 г.» (М., 1804) неизвестного автора, «Путешествие в Малороссию» (2 части, М., 1803—1804) и «Путешествие в Кронштадт 1805 года» (М., 1817) К. П. Шаликова и некоторые другие. В большинстве этих сочинений содержатся ценные научно-исторические сведения о тех местах, по которым проходило путешествие.[68] В этом литературно-художественный жанр сентиментального путешествия является прямым продолжением описанных выше путевых записок и по объекту описания, и по кругу используемой лексики. Вместе с тем принадлежность этих произведений к литературному направлению сентиментализма обусловила специфику другой части лексического состава, используемой при описании переживаний героя, его восприятия окружающего мира. Тема литературно-художественного произведения — показ общества и природы, преломленных через призму авторского восприятия, — вызвала потребность в употреблении новых языковых средств — новых слов и значений, раскрывающих внутренний мир человека. Таким образом, литературно-художественные произведения сентиментальных путешествий явились той почвой, на которой происходило дальнейшее развитие литературного письменного языка и языка художественной литературы.

Рассмотренные материалы показывают, что в XVIII в. состав записок путешествий существенно изменяется — появляются новые разновидности жанра 1) официальные отчеты о путешествиях царей и членов царской фамилии; 2) научные записки путешествий; 3) литературно-художественные произведения сентиментализма; значительно возрастает количество путевых дневников частных лиц.

В связи с развитием в XVIII в. литературы «путешествий», сфера «совмещения» и границ «соприкосновения» этих произве-

[68] Известно, например, что Н. М. Карамзин включил в «Письма русского путешественника» большой исторический материал о тех местах, по которым он путешествовал, собранный им во время работы над этим произведением в Москве. См.: *Сиповский В. В.* Н. М. Карамзин — автор «Писем русского путешественника». СПб., 1899.

дений с произведениями других жанров и функциональных стилей значительно увеличивается. Теснее всего записки путешествий смыкаются с не менее быстро развивающейся в XVIII в. мемуарной литературой.

Увеличение числа публикаций записок путешествий в другие страны упрочило их связь с произведениями страноведческой литературы. Подобно этим источникам они вводили в литературный обиход или способствовали вхождению лексики, относящейся к характеристике природы этих стран, быта, сферы культурной, духовной социальной и политической жизни народов, их населяющих.

Появление научных записок путешествий способствовало еще более тесному сближению этого жанра с произведениями научной литературы различных функциональных сфер — географической, ботанической, зоологической, этнографической и др. Эти записки служили источником научной терминологии, «книжной» лексики, локализмов и слов разговорно-обиходной речи.

С появлением литературно-художественных путешествий сентиментализма создаются новые дополнительные возможности для обогащения языка исторической, философской, политической лексикой, новыми семантическими и тематическими группами слов, характеризующих внутренний мир человека, его интеллектуальный и моральный облик.

Таким образом, в записках путешествий получили отражение многие «жизнеспособные и исторически продуктивные элементы русской речевой культуры» (В. В. Виноградов), на основе синтеза которых в XVIII в. формировался литературный язык.

З. М. Петрова

ЭПИТЕТЫ М. Н. МУРАВЬЕВА

В ряду поэтов XVIII в. имя Михаила Никитича Муравьева (1757—1807) не принадлежит к числу «громких». Его поэтическое наследие сравнительно невелико, к тому же при жизни поэта была опубликована только половина его стихотворных произведений.

Едва ли не впервые в истории русской литературы серьезную оценку поэтического наследия М. Н. Муравьева дал Г. А. Гуковский. Говоря о зарождении нового стиля в русской поэзии последней четверти XVIII в., Г. А. Гуковский отмечает: «Характерной фигурой .. представляется мне М. Н. Муравьев, более или менее учитель всех литераторов 1790-х., а в особенности 1800-х годов, связанных с Н. М. Карамзиным».[1]

Благодаря многолетней исследовательской работе Л. И. Кулаковой, собравшей все или почти все поэтические произведения М. Н. Муравьева и издавшей их в «Библиотеке поэта», стало возможным всестороннее изучение идейного содержания и стиля его поэзии.[2]

Собрание стихотворений в указанном издании предваряет обширная вступительная статья о жизни поэта, его творческих идеалах и исканиях. По справедливому мнению Л. И. Кулаковой, М. Н. Муравьев — «поэт, всю жизнь искавший новых путей в поэзии», «предшественник Н. М. Карамзина (а по некоторым линиям и Г. Р. Державина), зачинатель русского предромантизма, непосредственный учитель К. Н. Батюшкова».[3]

---

[1] *Гуковский Г. А.* Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века. Л., 1938, с. 251.

[2] *Муравьев М. Н.* Стихотворения. Вступительная статья, подготовка текста и примечания Л. И. Кулаковой. Л., 1967. (Библиотека поэта, Большая серия). В дальнейшем произведения М. Н. Муравьева цитируются по этому изданию.

[3] Там же, с. 5. Об историко-литературном значении М. Н. Муравьева как поэта, стоявшего у истоков русского сентиментализма и предромантизма, писали также Б. В. Томашевский (*Батюшков К. Н.* Стихотворения. Вступительная статья, редакция и примечания Б. В. Томашевского. (Библиотека поэта. Малая серия). 2-е изд. Л., 1948, стр. XXIII), А. Н. Бруханский (*Бруханский А. Н.* М. Н. Муравьев и «легкое стихотворство». —

Истоки поэзии М. Н. Муравьева нужно искать в лирической поэзии классицизма. Образцы ее Муравьев находил у Ломоносова и особенно у Сумарокова и поэтов его школы (Херасков, Майков и др.). В так называемых «малых жанрах» лирической поэзии классицизма — элегиях, посланиях, эклогах, песнях, стансах и др. — разрабатывались темы частной жизни человека: темы дружбы, любви, философских вопросов счастья и смысла жизни и т. п. При этом имелся в виду человек вообще, его чувства, переживания, восприятие им окружающего мира, но без примет индивидуальности автора, лирического героя. Это мы находим впервые в русской поэзии у М. Н. Муравьева. Он пишет о своей любви к отцу Н. А. Муравьеву, о дружбе с сестрой Федосьей Никитичной, о своих друзьях-сверстниках, о своем личном отношении к поэтам и поэзии и т. п. Его зарисовки природы во многих случаях связаны с определенным местом и временем (ср. описание осенних вологодских полей, Невы, Мсты, Наровы и т. д.).

Ранние поэтические опыты Муравьева (похвальные оды, оды «на случай», басни) выдержаны в традициях классицизма. Признаки новаторства и индивидуальности содержат прежде всего его элегии, послания, а также стихотворения других жанров лирической поэзии.

Обращение к новым поэтическим темам требовало новой стилистики, новых языковых средств. В поисках нового Муравьев постоянно уделял внимание работе над поэтическим языком. Именно у него, по верному замечанию Г. А. Гуковского, «формируется тот поэтический словарь, который характеризует поэтику Жуковского и Батюшкова».[4]

В подготовке поэтического словаря русского романтизма важная роль принадлежит эпитету. И именно в эпитете все основные темы и мотивы творчества Муравьева находят свое выражение. Вот что пишет Г. А. Гуковский о роли и месте его эпитета в ряду поэтизмов, определивших новые тенденции новых литературных стилей последней трети XVIII в.: «Характерно, что большинство слов новой семантики у Муравьева — эпитеты, прилагательные. Позднее эта система выдвинет эпитет на ведущее, определяющее стиль место».[5] Вместе с тем обзор всех эпитетов-определений Муравьева убеждает в том, что роль его в формировании поэ-

---

В кн.: «XVIII век». Вып. 4. М.—Л., 1959). Г. О. Винокур в числе ближайших предшественников и учителей Пушкина, сыгравших важную роль в формировании его поэтического языка, назвал М. Н. Муравьева. — См.: *Винокур Г. О.* Наследство XVIII века в стихотворном языке Пушкина. — В кн.: *Винокур Г. О.* Избранные работы по русскому языку. М., 1959, с. 328.

[4] *Гуковский Г. А.* Очерки по истории русской литературы.., с. 276. Примечательно, что в одном из новейших исследований о русском романтизме в числе первых предвестий этого направления названа элегия М. Н. Муравьева «Ночь» (*Манн Ю. В.* Поэтика русского романтизма. М., 1976, с. 143).

[5] *Гуковский Г. А.* Очерки по истории русской литературы.., с. 279.

тического словаря русской поэзии выходит за рамки только элегического словаря. Эпитеты Муравьева отличаются особым лексико-семантическим составом, особой стилистикой и экспрессией. Отметим также, что эпитет-определение получают у Муравьева те предметы и темы, которые важны в плане его индивидуального стиля и поэтики предромантизма.

Своеобразен мир его чувственных, прежде всего зрительных представлений. При описании пейзажа, предметов окружающего мира поэт не часто пользуется эпитетами — прилагательными, конкретно называющими цвет. При этом они всегда традиционны, а в ряде случаев принадлежат к устойчивым. Назовем, в частности, эпитеты *желтый, голубой, синий, лазурный: зрелый желтый клас* (Видение, 189), *свод небесный голубой* (К Феоне, 179), *синие волны* (там же, 180), *лазурны небеса* (Ода, 120) и др.

Особенность зрительного восприятия Муравьева проявляется в его стремлении дать цвет обобщенно, в отвлечении от предмета. Идея обобщенности цвета передается при помощи абстрактных существительных. Примечательно в этом отношении стихотворение «Зрение» (160—162), в котором описывается окружающий мир, видимый человеком. Это — *вселенной живопись, зелень лугов, багрец розы, небесная синева.* Ср. также: *белизна полей* (Желание зимы, 158), *лугов зеленость* (Сельский житель, 84), *светлость дня* («О милое мечтанье...», 174) и т. п. Ср. описание реки:

Меж тучных там брегов томится
И плавно искрами струится,
Переливаясь, синева.

(Ода, 151);

радуги:

Фаумантийска дева блещет,
Прекрасна спутница дождей;
И, ставши новою денницей,
Лазурь и злато с багряницей
Нам кажет в радуге своей.

(Ода десятая. К Майкову, 127).

Такие эпитеты встречались в русской поэзии и до Муравьева. Ср. у Ломоносова:

Там тьмою островов посеян,
Реке подобен океан;
Небесной синевой одеян
Павлина посрамляет вран.

(Соч. 1757, I, 80);

у Тредиаковского:

Видит одни наядрены ветрила токмо,
Мало своей белизной на воде мелькающи синей.

(Тилем. II, 215).

У Муравьева такой способ цветописи становится обычным.

Отступление от традиции в цветовых характеристиках природы можно отметить там, где Муравьев передает не только общее зрительное впечатление, но одновременно с этим и настроение, отношение к окружающему. Его палитра построена на антитезе яркого света, блеска, сияния, чистоты и прозрачности, с одной стороны, и мрака, тьмы, — с другой: *сияющие цветы* (Зрение, 162), *цветуща мурава* (Сельская жизнь, 194), *прозрачные струи* (Там же, 194), *прозрачная дымка* (226), *ясный полдень* (238), *ясный неба свод* (227), *чистая роса* (170), *ток чистых вод* (227) и т. п. противопоставляются *мрачной глубине* (Слава России, 188), *мракам бесконечным* (Обаяние любви, 232), *густой тьме* (Благоразумие, 193) и т. п.

В противопоставленности таких рядов эпитетов как символе позитивных и негативных эмоций заключается один из важных признаков предромантизма.[6]

Зрительные, а также звуковые и другие чувственные впечатления автора, передаваемые эпитетами к словам *море, река, буря* и т. п., заключают в себе черты романтического пейзажа. Они всегда эмоциональны. И хотя предметом описания часто является природа русского севера, благодаря особому подбору эпитетов она приобретает черты, ей не свойственные, оссиановские. Таковы, например, описание бури, ветра, разбушевавшейся водной стихии и т. п.: *грозная буря* (200), *буйный вихрь* (153), *свирепый ветр* (189), *сердитый океан* (243), *яростный борей* (147), *неистовые* валы (Ладоги. — *З. П.*) (144), *свирепый понт* (143), *яростные валы* (152) и т. п.

Вот примеры обычного для М. Н. Муравьева пейзажа:

Густой покрыто небо мглою,
Разимый яростной волною,
Разносит брег унылый вой.

(Буря, 244).

В погах его, быстра, сурова,
Свергаясь с каменной скалы,
Бежит, шумя еще, Нарова
В морские броситься валы.

(К Феоне, 181).

Носимы ладией средь влажныя дороги,
Мы видим, Мста, твои шумящие пороги.
Преградою их скал в пути раздражена,
Кипящая твоя свергается волна.

(Путешествие, 144).

Отметим еще одну особенность эпитетов Муравьева, относящихся к теме природы. Его пейзаж не только эмоционален, но

[6] О взаимодействии и борьбе поэтических оппозиций в поэзии предромантизма см.: *Манн Ю. В.* Поэтика русского романтизма, с. 19—22.

и динамичен. Он отражает изменчивость чувств лирического героя. Идею непрерывности движения в природе передают эпитеты к словам *река, море, погода, тень* и т. п.: *зыблемая тень* (Роща, 170), *грозящий спор стихий* (Буря, 244), *лиющийся поток* (Сила гения, 227), *колеблющись былинки* (Ода, 127), *поспешные волны Вологды* (Эклога, 85), *журчащий ручей* (Роща, 171), *мельницы шумящий водопад* («Итак, опять убежище готово. . .», 200) и т. п.

Он восхищается пейзажем живым, полным перемен:

Что может нас вовлечь приятней в восхищенье,
Как сладких перемен природы ощущенье,
Безмолвие ночей, полудня тяжкий зной
И пременяющись погоды с тишиной!

(Об учении природы, 185).

Или:

Там зыблющаясь тень и падающи воды
Прохладу мне дарят,
И с нимфами вдали сатиров хороводы
Прельщают и манят.

(Ода, 155).

Как можно заметить, в функции эпитетов, передающих движение, процесс, выступают обычно причастия или отглагольные прилагательные.

Элегические настроения автора находят свое выражение в особого рода эпитетах, относящихся к теме природы, эмоционально насыщенных, утрачивающих или почти утрачивающих предметность. Такие эпитеты, как *сладкий, сладостный, тихий, легкий, тонкий, нежный,* передают чувства умиротворенности и покоя на лоне природы, любования природой вдали от шумного, «пышного» города: *вечер тих* (Бедственное мгновение, 164), *тихая нощь* (Прискорбие стихотворца, 156), *пространство тихое лесов невозмущенных* (Ночь, 159), *легкий пар* (К Феоне, 179), *тонкий туман* (О милое мечтанье. . ., 177), *зеленых ветвей нежна сень* (Ода, 151), *нежные произрастенья земли* (Возвращение весны, 141), *кротки, нежны птицы* (Эклога, 88), *сладкие перемены природы* (Об учении природы, 185), *сладкая тишина* (Весна, 125), *сладкий мох* (Желание зимы, 159), *сладкая влага* (Ода, 126), *сладостное дыхание ветра* (Эпистола к Н. Р. Р., 146) и т. п.

Особым подбором и особой экспрессией отличаются эпитеты, характеризующие человека. Поэт не часто применяет эпитеты, дающие точное представление о внешнем облике персонажа (цвете его глаз, волос и т. п.), причем эти эпитеты содержат одновременно и более глубокую его характеристику. Они выражают любование свежестью, красотой юности:

Все прелести увидишь в этом взоре,
Какие глаз вмещает голубой.

(«Все прелести увидишь в этом взоре. . .» 246);

В черные очи его проникает пламень внезапно.

(Роща, 171);

И ямочки румяныя ланиты
Улыбкою украсят образ твой.

(«Итак, опять убежище готово...»,
202);

Мне мил твой образ спящей,
Мил образ юности, заботы не терпящей.
Пусть медлит долее румянец на щеках,
У ног твоих любовь пребудет на часах.

(Зила, 167).

В других случаях — это меланхолические настроения, навеянные мыслями о старости:

Блажен я, коль главу власы покроют седы,
Коль доведется мне жезлом стопы блюсти
И вам, уж старикам, средь тихия беседы,
Друзья! сказать: «Прости».

(Ода, 153);

Любовь — отрада душ, коль юность посещаешь,
Любовь — отрава есть, коль старость обольщаешь.
Ты мещешь мрачный огнь на снежны седины,
Нет боле прелестей близ Стиксовой волны.

(«Любовь — отрада душ...», 203).

Однако больше всего его интересует не внешний облик, а духовный мир, все многообразие чувств и переживаний лирического героя. Он стремится «нарисовать духовный портрет человека» — своего современника: [7]

А я любил бы чрезвычайно,
Когда бы дар позволил мой
Входить в сердца, хранящи тайны.

(«Успех твой первый возвещая...»,
183).

Обязательно получают определения-эпитеты *взор, взгляд, очи, глаза, душа, дух, сердце* и другие слова такой же семантики, благодаря которым раскрывается внутреннее состояние человека, его интимный мир.

Глаза, взгляд Муравьев называет «превосходным души орудьем»:

Во глубине души сокрытые движенья
Особые в очах находят выраженья.

(Зрение, 161).

Вот обычные эпитеты слов *взор, взгляд, глаза, очи, зеницы: взор, взгляд — гордый, важный, холодный* и *хладный, алчущий, отваж-*

[7] *Муравьев М. Н.* Стихотворения, с. 34.

ный, внимательный, сияющий, тайный, томный, слезящий, непорочный, невинный, ласковый; очи — томные, ясные, умильные; глаза — завистливые, нежные, огненные; зеницы — усталые и т. п. Такие эпитеты рисуют духовный портрет человека. В стихотворении «Роща» — это чувство любящей своего мужа крестьянки («Зрите умильные очи ее, устремленны к супругу», 171). В «Письме к***» — образ Руссо, «проникнувшего в грудь смертных тайным взором» (216), в «Нравоучителе» — образ светской красавицы («Нисы томны взоры», 215) и т. п.

Душевные движения, состояния выражают такие эпитеты: *душа — чистая, нежная, мягкая, легкая, незлобивая, добрая, умилившаяся, одаренная, восторженная, чувствительная, томящаяся, прельщенная, смутная, горящая, отяжелевшая, грубая, омраченная, тщеславная; дух — пылкий, гордый, жадный; сердце — юное, нежное, сокрушенное, жестокое, твердое, ожесточенное* и т. п. Приведем примеры:

Для *добрыя, незлобивой души*
Минуты счастия текут во всяко время.

(Размышление, 245);

Душе его *прельщенной*
Вотще сияющи мечтаются цветы.

(Зрение, 162);

Отяжелевшая и грубая душа
Едва сквозь облако вспомянет дни минувши.

(«Черта, как молния, незапна и сильна. . .», 229);

К музам страсть есть страсть души моей, —
Позвольте, юноши, мне вам гласить о ней.
Как сыплет тучная земля произрастенья,
Горящая душа желает упражненья.

(Опыт о стихотворстве, 131).

Эпитеты к словам *улыбка, смех, голос* дополняют духовный портрет человека: *улыбка — скромная, сладостная, принужденная; смех — легкий; голос — сладостный, волшебный, прелестный* и т. п.

Чувства, испытываемые лирическим героем, его разнообразные внутренние состояния, его нравственный облик раскрываются с помощью эпитетов: *сладостная тоска* (175), *обманчивые мечты* 160), *горькая тоска* (154), *радость безмерная* (183), *мечтания любезны* (193), *кроткое величество* (170), *кроткий нрав и милый* (149), *суетные мысли* (216), *чувствованья страстны* (232), *тяжка скорбь* (161), *сильны страсти* (238), *горесть глубокая* (241), *красноречивая печаль* (228), *подлый эгоизм* (217), *юная любовь* (218), *непобедимая страсть* (138), *неутешимые скорби* (234), *бесполезные желанья* (229) и т. п.

В поэтических произведениях Муравьев пишет о близких ему людях (отце, сестре, друзьях), о поэтах, писателях, ученых, общественных деятелях древности и своего времени, русских и иностранных, о героях русской и мировой литературы, мифологических и условно-поэтических персонажах и т. п.

Л. И. Кулакова отметила, что именно М. Н. Муравьев впервые в русской поэзии ввел «манеру вплетения в повествование индивидуальных характеристик».[8] Небольшой объем лирического стихотворения не позволял ему давать подробные и развернутые характеристики, и, как правило, он ограничивался одним—двумя эпитетами-определениями: *Ломоносов — отважный* (143), *Княжнин — вздыхающий* (136), *Мильтон — чувствительный* (161), *небесный певец* (171), *Дорат — щегольский* (220), *Гораций — милый собеседник* (192), *Дюсис — нежный, мрачный* (228), *Феокрит — сладкий* (190), *Тимон — горестный* (172), *Буало — строгий* (136), *Гомер — сияющ красотою* (191), *Траетта — премрачный* (205), *Эдип — сирый* (228), *Медея — коварная* (203), *Темира — томная* (226), *Елена — нежная* (196), *Аглая — небесная* (202), *Алина — робкая* (183), *сестра — несравненная* (143), *дражайшая* (196), *родитель — нежный* (209) и т. п.

В образно-тематической системе поэзии Муравьева преобладает определенный набор мотивов, предметов и ситуаций, которые последовательно снабжаются эпитетами-определениями. Кроме рассмотренных выше, такими являются, в частности, мотивы сна, сновидений, поэтического творчества и творческого вдохновения, раздумий о целях и назначении поэзии, тоски и разочарования и т. п.

Поэтическую мечтательность, разрушение границ реального и воображаемого отражает типичная для его поэтических произведений ситуация сна и сновидений:

Зачем стеснять пределы вображенья?
Нам мал тот мир, что видим каждый день,
В невидимый мы любим посещенья.
Прелестных снов мы осязаем тень.

(«Итак, опять убежище готово...», 201).

Таким образом, сон уводит от реальной действительности в прекрасную, идеальную страну. Это эмоциональное состояние отражают эпитеты к слову *сон — золотой* и *златой, сладкий, тихий, легкий, восхитительный, прелестный, резвый, томный, тонкий* и т. п. Отрицательные эмоции характеризуются эпитетами *мрачный, хладный* и т. п. Образ *железного сна* символизирует смерть («Железный сон сковал его зеницы». — Жребий Декартов, 243).

Обратим внимание на образ «ленивых маков», символизирующих сон. Этот образ встречается у Батюшкова, у Пушкина-лицеиста.[9] Но впервые мы находим его у Муравьева:

---

[8] Там же, с. 33.

[9] *Винокур Г. О.* Избранные работы по русскому языку, с. 375.

Меж тем как сна ленивы маки
Содержат пленных наших дам,
Через долины, буераки
Мужчины ездят по лесам
Того часа во ожиданье,
Когда нас к чаю позовут.

(К Феоне, 179).

Особенно часто Муравьев обращается к теме поэтического творчества. Обычные перифрастические обозначения поэзии у него — *лира, арфа* (реже — *свирель*), *музы.*

В соответствии с образным строем его поэзии такие перифрастические выражения почти всегда сопровождаются эпитетами: *Лира* получает определения *страстная* (120), *стройная* (229), *златая* (131), *томная* (156), *позлащенная* (154), *расстроенная* (227) и т. п. Ср. также: *заснувшие струны лиры* (229), *арфы стройны струны* (242), *тихая свирель* (208), *лиры звонкие струны* (129) и т. п.

Символом поэтического вдохновения традиционно являются музы. Муравьева вдохновляет муза *юная* (198), *прекрасная* (228), *чистая* (155), *сладчайшая* (154), *мыслящая* (169), *скромная* (236) и т. п.

Одним из излюбленных поэтических приемов оценки творчества поэта, передачи своего представления о слоге и художественном слове стал у Муравьева эпитет, определяющий стихи, слог, слово, язык и т. п.: *стихи — простые* и *благородные* (222), *свободные* и *легкие* (213), *бесхитростные* (83), *неоскудные* (208), *стих — изломанный* (222), *стишки — приятные* (213), *слог — мужественный* (172), *лицемерный* (221), *неровный* (204), *слова — острые* (183), *праздные* (133), *буйные* (81), *язык — отважный* (223), *выраженья — пустые* (222), *речения — отборные* (219) и т. п.

В своих оценках поэзии, содержащихся в эпитетах, Муравьев рисует идеал многообразной, глубокой по содержанию и совершенной по форме поэзии. Он требователен к себе, и в минуту разочарования называет свои стихи блеклыми, сравнивая их с осенними листьями:

Мои стихи, мой друг, — осенние листы:
Родятся блеклые, без живости и цвету,
И, восхищаемы дыханий злых усты,
Пренебрегаемы разносятся по свету,
Не чтомые никем.

(«Мои стихи, мой друг, — осенние листы...» 246).

Рассмотрев эпитеты Муравьева, относящиеся к основным темам его творчества, мы убеждаемся в том, что одной из важных примет его стиля является эмоциональный эпитет. «Язык классицизма — язык логических понятий, — пишет Л. И. Кулакова, — оттесняется в поэзии Муравьева языком чувства».[10] Его эпитет

[10] *Муравьев М. Н.* Стихотворения, с. 39.

зачастую содержит в себе лишь экспрессивно-эмоциональную оценку изображаемого предмета, отношение поэта к действительности, его миропонимание. Он характеризует не конкретные качества предмета, а определяет его поэтически, эстетически.

С этой точки зрения интересен ряд любимых эпитетов Муравьева: *нежный, сладкий, сладостный, златой, прекрасный, прелестный, милый, волшебный, небесный, томный* и др. Они могут определять почти любой предмет, любое чувство и состояние, которые вызывают у поэта эмоции восхищения, любования: *нежный — родитель, отец, друг, бог, глаз, вкус, союз; нежная — душа, Елена, весна, жалость, сень, речь, трель Хлои; нежное — смущенье, перо, сердце; нежные — воздыханья, мечты, смущенья, нимфы, Лидии, лета, дни, птицы, произрастенья* и т. п.; *сладкий — Феокрит, глас, миг биения сердца, покой, сон, мох, стон; сладкая — тишина, часть, влага; сладкое — чувство, воспоминание; сладкие — гласа наклонения, обманы, слезы* и т. п.; *сладостный — глас дружбы, певец; сладостная — тоска, улыбка, неволя; сладостное — дыханье, примирение, присутство; сладостные — сирены, уроки* и т. п..; *златой — сон; златая — весна, драгая; златые — сны, сновидения* и т. п.; *прекрасный — день, вид природы, образ, свет, всход зари; прекрасная — страна, округа, муза, Иро, подруга; прекрасное — село; прекрасные — девы, дни, черты, стихи, власы, Томсоновы картины, невские берега* и т. п.; *прелестный — ребенок, глас; прелестная — лень, Нина, Филомела; прелестные — минуты, сны, страны* и т. п.; *милый — собеседник; милая — вдова, Бетси, суета; милое — природы чадо* и т. п.; *волшебный — глас, покров; волшебная — область юности, серенада* и т. п.; *небесный — дар, певец; небесная — красота, Аглая, музыка, радость, любовь; небесные — подруги, черты нравоученья* и т. д.

Приведенные и подобные им эпитеты Муравьева Г. А. Гуковский относит к так называемой «сладостной лексике».[11] Это, по выражению Гуковского, эпитет «украшающего» типа, эпитет, который «преодолевает внешность предмета».

Необходимую часть элегического словаря Муравьева составляют меланхолические эпитеты, олицетворяющие мотивы увядания, грусти, разочарования и унылости. Таковы эпитеты *унылый, тоскливый, печальный, угрюмый, сирый, скорбный, смутный* и т. п.:[12] *унылый вой* (244), *тоскливая Филомела* (86), *тоскливый соловей* (165), *стихотворец печальный* (157), *угрюмая пустыня жития* (203), *скорбно заточенье* (166), *смутные волшебства* (230), *юности поблекшие цветы* (2) и т. п.

[11] *Гуковский Г. А.* Очерки по истории русской литературы.., с. 279.

[12] Ю. В. Манн называет эпитет *унылый* характерным элементом элегического словаря русского романтизма, приводя многочисленные примеры с ним из Батюшкова, Карамзина, Жуковского (*Манн Ю. В.* Поэтика русского романтизма, с. 150).

Индивидуальность творческой манеры Муравьева проявляется в создании метафорических эпитетов, впервые встречающихся у него: *бедственная ладья* (128), *отважные паруса* (180), *сердитый океан* (243), *седая древность* (180), *премудрая седина* (206), *печальные стопы* (181), *стыдливая луна* (160), *стыдящиеся ланиты* (225), *отмщающая праздность* (176), *мрачная кисть* (192), *пустыня скучная* (241). Ср. также метафорические образы: сна (*ленивые маки*), смерти (*железный сон*).

Удачен, например, метафорический образ мрачной кисти, раскрывающий поэтические вкусы Муравьева:

О муза, я тебе кисть мрачну возвращаю,
В прекрасном виде зреть природу поспешаю.
Погибни мрачна кисть, когда ее черты
Бессильны выражать душевны красоты.

(«Порока иногда успехом раздражаюсь. . .», 192).

Поэтический словарь Муравьева расширяется за счет постоянных эпитетов русской народной поэзии. Имеются в виду не только постоянные эпитеты в стихотворениях, стилизованных под народные, таких как, например, «Неверность» (ср.: *чужа дальна сторонка, мать сыра земля, горючие слезы, злые бусурманы* и др.), но и эпитеты, уходящие корнями в народно-поэтический язык, употребляющиеся в его посланиях, эклогах, элегиях и стихотворениях других жанров: *брег крутой* (К Феоне, 180), *чисто поле* (там же), *трава густая* (Эклога. К А. В. Олешеву, 86), *красные дни* (Сельская жизнь, 85), *заморски вина* (Нравоучитель, 214), *горькая тоска* (К Хемницеру, 154), *море сине* (Ода десятая. Весна, 125) и т. п.

Таким образом, художественная функция эпитетов Муравьева не ограничивается рамками элегического стиля, подготовившего романтизм. Разрушение норм поэтики классицизма вызвало существенное обновление лексического состава эпитетов-определений в поэзии Муравьева.

Отказываясь от старых жанрово-стилистических норм, Муравьев обращается к таким лексическим пластам русского языка, которые в поэзии классицизма во всяком случае не были основными.

Переходя к характеристике лексического состава эпитетов Муравьева, остановимся прежде всего на том, от чего он отказывается.

Неприятие классицистической оды с ее «высокими» темами повлекло за собой резкое сокращение числа славянизмов в стихотворениях Муравьева. Так, например, среди его эпитетов-определений почти полностью отсутствуют неполногласные формы. Эпитеты *хладный, златой* составляют немногие исключения, но и они воспринимаются не как славянизмы, а как поэтизмы. Сравнительно редки формы превосходной степени на *-ейший,*

-айший, с приставками *все-, пре-*. Редко обращается поэт и к обычным для классицизма сложным словам с устойчивыми компонентами *благо-, велико-, веле-, добро-, досто-, само-, -носный, -видный, -зарный, -творный* и др. Поэтике Муравьева вообще был чужд сложный эпитет, дань увлечения которым отдали Тредиаковский, Державин и другие поэты — ближайшие предшественники и современники Муравьева.

Избегая архаичной, а также стилистически сниженной лексики, Муравьев не стремится и к созданию неологизмов. В составе его эпитетов они представляют собою редкие вкрапления. Ср., например, созданный Муравьевым эпитет *безогненный* 'о человеке апатичном, холодном, ко всему равнодушном':

Принадлежа по случаю ко скопу
Медлительных, безогненных особ,
Которые рифмуют сморща лоб, —
В сердитый час я встретил Каллиопу.

(Общественные стихи, 213).

К новообразованиям Муравьева относится причастие *хладенеющий*, составленное, по-видимому, по аналогии с причастием от глагола *леденеть* (*леденеющий*):

Ты стенал в снегах рифейских,
На танайских берегах;
Кровь лиюща истощалась,
Евридика лишь вещалась
В хладенеющих устах.

(Ода четвертая, 120).

Ср. также неологизм Муравьева *мудреческий*:

‹Вольтер› Величествен в мудреческих пареньях,
Писал безделицы и сказочки точил
Друзьям своим, начинены соблазном,
Всегда смышлен, сияющ, мил,
Являя истину во одеянье разном.

(Послание о легком стихотворении, 221).

Принцип отказа от «пышности» и «прикрас» высокого слога становится для Муравьева главным принципом отбора эпитетов-определений. Основной лексический пласт его эпитетов-определений — это нейтральная лексика, принадлежащая к «среднему» слогу. Это по большей части первообразные и простые по структуре прилагательные типа *добрый, милый, нежный, гордый, изящный, мудрый, быстрый, слабый, громкий, тихий, прекрасный, густой, твердый, темный, чистый* и т. п. Такие эпитеты придают стиху и слогу Муравьева простоту, легкость, музыкальность, свойства «разговорного языка дворянской гостиной».[13]

[13] *Муравьев М. Н.* Стихотворения, с. 43. О закреплении этого стиля в поэтической речи последней четверти XVIII в. писал Г. О. Винокур: «Именно здесь, в этом сглаживании границ и переходов от „простого"

Вместе с тем это «разговорное начало» русского литературного языка к последней четверти XVIII в., как отмечает Г. О. Винокур, «успело пропитаться многими книжными элементами».[14] Укажем на один из лексических пластов определений-эпитетов Муравьева, придающий его стихотворной речи оттенок книжности. Это — отглагольная лексика, причастия и отглагольные прилагательные, выступающие в художественной функции эпитета.

Такие эпитеты выражают качество не в застывшем состоянии, а в движении, в процессе. Мы уже касались эпитетов такого рода, относящихся к теме природы. Эпитеты — причастия и отглагольные прилагательные могут определять почти любой предмет поэзии Муравьева. Такой эпитет выражает изменчивость, динамизм в природе, в области человеческих чувств, переживаний. Следует иметь в виду, что обозначение качества в процессе, а не в застывшем состоянии — одно из требований Муравьева к поэзии:

Движенье — жизнь души, движенье — жизнь и слога,
И страсти к сердцу суть вернейшая дорога.

(Опыт о стихотворстве, 133).

Эпитеты-причастия нередки у Ломоносова и у других поэтов — ближайших предшественников Муравьева. Ср., например, действительные причастия у Ломоносова, придающие его слогу «громкость» и «парение»: *хлябь паляща, гремящие перуны, жажоущие степи, гремящая арфа, звучащая слава, блещущий престол, гремящая победа* и т. п. Эпитеты-причастия и отглагольные прилагательные в стихотворной речи Муравьева отличаются от ломоносовских прежде всего экспрессией.

Значительно расширяется производящая база таких прилагательных и причастий: как правило, они образуются от глаголов нейтрального лексического пласта. Как действительные, так и страдательные причастия во второй половине XVIII в. претерпевают с особенной интенсивностью процесс адъективации, что еще больше благоприятствует их применению как эпитетов. Приведем наиболее типичные примеры эпитетов — причастий и отглагольных прилагательных у Муравьева.

а) Действительные причастия настоящего времени: *ласкающи мечты* (154), *кипяща младость* (151), *взор слезящий* (242), *томящаяся душа* (208), *дышащая роза* (135), *падающие воды* (201), *отмщающая праздность* (176), *воскипающая кровь* (238),

---

к „высокому", в создании „средней" почвы для решения проблем литературной речи, нашла себе продолжение та культура русского общенационального письменного слова, первые семена которой были посеяны Тредиаковским и Ломоносовым». — *Винокур Г. О.* Избранные работы по русскому языку, с. 339.

[14] Там же.

пременяющаяся погода (185), *таящиеся рвенья* (156), *умилившаяся душа* (170), *колеблющиеся тени* (169), *стыдящиеся ланиты* (225), *сияющие цветы* (162), *ропщущая любовь* (205), *вздыхающий Княжнин* (136) и т. п.

б) Действительные причастия прошедшего времени: *иссохшие руки* (91), *заросшая тропа* (227), *прославившиеся россы* (143), *минувшие мечты* (229), *пленявшие мечты* (129), *отяжелевшая душа* (229), *запекшиеся уста* (202), *умилившаяся душа* (170) и т. п.

в) Страдательные причастия прошедшего времени: *расстроенная лира* (227), *старец заблужденный* (196), *принужденная улыбка* (196), *чувства обольщенны* (205), *отягощенный воздух* (220), *сердца ожесточенны* (84), *сокрушенное сердце* (124), *стих изломанный* (222), *прельщенная душа* (162), *тронутая Зила* (168), *простертые долины* (185), *обремененный стол* (201), *испужанные нимфы* (213) и т. п.

г) Отглагольные прилагательные с суффиксом *-тельн-*: *спасительная жажда* (216), *медлительные особы* (213), *разительные черты* (172, 205), *мстительные огни* (95), *спасительная урока* (209), *мечтательный образ* (206) и т. п.

д) Отглагольные прилагательные с суффиксом *-ем-* (*-им-*) и приставкой *не-*: *невозвратимо время* (152), *невидимый друг* (193), *неумолимая смерть* (185), *непобедимая страсть* (138), *неминуемая напасть* (138), *неподражаемые черты* (237), *неутешимые скорби* (234), *невидимый огонь* (203). *непроходимы степи* (214), *непостижимая власть (красавицы)* (214) и т. п.

е) Отглагольные прилагательные с суффиксом *-л-*: *созрелые бразды* (167), *зениц усталых круги* (160), *несозрелы лета* (131), *унылый вой* (244) и т. п.

Новые принципы Муравьева в отборе эпитетов не коснулись их внешней формы. Морфологический облик его определений строго выдержан в уже установившихся к 70-м годам XVIII в. поэтических традициях. Мы здесь имеем в виду прежде всего те «поэтические вольности», которые связаны с родовыми и падежными окончаниями прилагательных и причастий.

К традиционным для поэзии XVIII в. формам относятся окончания *-ыя/-ия* у прилагательных и причастий женского рода ед. числа родительного падежа, к тому времени уже вышедшие из употребления в литературном языке. У Муравьева их очень много: *Бетси милыя присутство* (162), *прелести небесныя музыки* (162), *вокруг роскошныя природы пленяет разностию вид* (180), *привел бы я тогда Линдора Алины робкия к стопам* (183), *ток глубокия реки* (185), *царицы бодрыя участвовал в совете* (190), *дерзкия стихом сатиры воружась* (192), *в подножии высокия горы* (200), *богини чистыя присутство* (203), *ямочки румяныя ланиты* (202), *из чаши полныя, счастливый отрок, пил* (205), *дух восторгом наполняю, твоей священныя внимая звук трубы* (207), *для добрыя, незлобивой души* (245), *плавный скат про-*

стертыя долины (185), *глас зовущия трубы* (84), *для восприятия стыдящияся Лины* (227) и т. п.

В числе «поэтических вольностей», канонизированных В. К. Тредиаковским, были названы и «прилагательные сокращенные», т. е. усеченные формы прилагательных (а также других разрядов слов, изменяющихся по их парадигме).[15] В им. падеже ед. числа мужского рода усечения прилагательных и причастий наблюдаются редко: *червь неумирающ* (140), *взор сияющ* (224), *пиитов сонм стеснен* (190). Обычны усечения в формах им. падежа ед. числа женского и среднего рода, в вин. падеже женского рода, в род. падеже мужского и среднего рода, а также в им.-вин. падеже всех трех родов:

а) Им. падеж ед. числа женского рода: *небесна красота* (191), *прелестна лень* (219), *мрачна мысль* (230), *нежна речь* (162), *резва Нина* (164), *лира стройна* (229), *умильна красота* (162), *бедственна ладья* (128), *тяжка скорбь* (161), *волшебна сила* (175), *безмерна трата* (161), *томна кровь* (227), *приятна мгла* (177), *обманчива стезя* (139), *кипяща младость* (202), *горяща колесница* (188) и т. п.

б) Им. падеж ед. числа среднего рода: *хладно размышленье* (226), *бурно житие* (130), *время едко* (223), *чисто поле* (180), *вещество благоуханно* (202), *душевно заблужденье* (205), *рассужденье трезво* (221), *комедии пространно поле* (183), *бегуще время* (137) и т. п.

в) Вин. падеж женского рода ед. числа: *непостижиму власть* (214), *во снедь его любезну* (154), *в глубоку нощь* (191), *ночь бессонну* (236), *громку песнь* (150), *томну лиру* (156), *ветвей нежну сень* (151), *кисть мрачну* (192), *легку стаю* (202), *дышащу природы прелесть зрим* (165), *на жизнь взираю преходящу* (208), *душу омраченну* (175), *животворящу кисть* (207) и т. п.

г) Род. падеж мужского и среднего рода ед. числа: *пространство ясна неба* (245), *величественна лика* (191), *для похищенья тленна злата* (152) и т. п.

д) Им.-вин. падеж мн. числа: *мещешь мрачный огнь на снежны седины* (203), *вносит* <..> *в их домы неогромны ласкающи мечты* (154), *лазурны своды* (162), *забрел в непроходимы степи* (219), *в их чувства обольщенны* (205), *несозрелы лета* (131), *разительны черты* (172), *мстительны огни* (95), *прохладны своды* (173), *тихи сени* (159), *сладостны дыханья* (155), *испытывать творца несчетны чудеса* (160), *чувствованья страстны* (232), *сильны страсти* (238), *дерзки руки* (150), *отважны паруса* (180), *и Марс простер кровавы руки* (96), *мои незвонки струны* (122), *сна ленивы маки* (179), *Нисы томны взоры* (215),

[15] *Тредиаковский В. К.* Новый и краткий способ сложения российских стихов, СПб., 1735, с. 19. Об усеченных формах прилагательных и причастий в поэзии XVIII—начала XIX в. и у Пушкина см.: *Винокур Г. О.* Избранные работы по русскому языку, с. 346—355.

тяжки вежды (157), *лета юны* (221), *нежны воздыханья* (194), *сладки изумленья* (207), *клевещущи усты* (84), *сияющи цветы* (132), *цветущи дни* (143), *охлажденны лета* (236), *сердца ожесточенны* (84) и т. п.

К чисто условным формам стихотворного языка, возникшим для версификационных целей, относятся усеченные формы причастий от возвратных глаголов. Усечение таких форм в необходимых случаях сокращало многосложные причастия на один, а чаще на два слога. В 70—80-х годах XVIII в. такие формы в русской поэзии становятся традиционными — ср.: «Низвергни запустенья мерзость, Насильно вторгшусь в Божий дом».[16] «Тучи, как дымящись своды, Как движущись шатры идут».[17] Усеченные возвратные причастия для Муравьева обычны. Рассмотрим соответствующий материал по формам.

а) Им. падеж ж. рода ед. числа: *покоящась река* (245).

б) Им. падеж ср. рода ед. числа: *рождающесь понятье* (209), *новое таившесь дарованье* (174).

в) Род. падеж м. и ср. рода ед. числа: *ярмо совлекает со дмящась коня земледелец* (170), *земледельца трудящась* (170), *от продолжающась сего небытия* (207).

г) Вин. падеж ж. рода ед. числа: *воздух собой проникает и землю покоющусь будит* (170), *кому кончающусь Дидону оставляешь* (91).

д) Им.-вин. падеж мн. числа всех родов: *вход под тихо колеблющись тени* (169), *колеблющись былинки* (127), *в лесах таящись кровы* (144), *желает испытать рождающись рога* (86), *струящись слезы льет* (204).

Иногда встречается сокращение *-ся* в *-сь* при сохранении полной формы: *запекшимись усты* (204), *зыблющаясь тень* (155). *умилившуюсь душу* (170), *пресекшимись словами* (146).

Предлагаемый обзор эпитетов-определений М. Н. Муравьева далек от исчерпывающего исследования затронутой темы. Для решения вопроса о роли и месте Муравьева в становлении русского поэтического языка последней трети XVIII в. необходимо детальное изучение всех особенностей его поэтического словаря и стиля на фоне поэзии его ближайших предшественников и последователей.

---

16 *Петров В.* Сочинения, ч. I. СПб., 1782, с. 187.

17 *Бобров С.* Рассвет полночи, ч. III. СПб., 1804, с. 62.

Г. П. Князькова

ЛЕКСИКА НАРОДНО-РАЗГОВОРНОГО ИСТОЧНИКА В ТРАВЕСТИРОВАННОЙ ПОЭМЕ КОНЦА XVIII в.

(МАТЕРИАЛЫ И НАБЛЮДЕНИЯ)

Русская травестированная поэма конца XVIII в. изучена еще недостаточно. В литературоведении признано, что в таких поэмах почти не получили отражения злободневные идейные задачи своего времени. Отмечается, что травестия на русской почве была лишь результатом общего движения русской литературы второй половины XVIII в. по пути к реализму.[1]

Язык травестированных поэм не привлекал внимания исследователей. Между тем, в данном случае перед нами серия памятников, в которых получила широкое и своеобразное отражение стихия русской разговорной речи того времени.[2] В ряду других видов памятников, ориентированных на разговорную речь, травестированную поэму следует поставить вслед за комедией и комической оперой.[3]

Задача данной статьи — выявить лексику народно-разговорного источника в указанной группе памятников и определить их значение для изучения словарного состава русской разговорной речи второй половины XVIII в.

Основой для исследования послужили тексты поэм Н. П. Осипова «Виргилиева Енейда, вывороченная наизнанку» и «Продолжение Виргилиевой Енейды, вывороченной наизнанку» А. Котельницкого. Поэмы И. М. Наумова «Ясон, похититель златого руна» и Е. П. Люценко «Похищение Прозерпины» привлекаются по мере необходимости.

---

[1] См.: *Гудзий Н. К.* «Энеида» И. П. Котляревского и русская травестированная поэма XVIII в. — Вестник Моск. гос. ун-та, 1950, № 7. Сер. общественных наук, в. 3, с. 129—134; *Томашевский Б. В.* Поэзия наизнанку. — В кн.: Ирои-комическая поэма. Л., 1933, с. 254 и сл. (Библиотека поэта. Большая серия).

[2] О различиях в оценке памятников литературоведения и лингвистикой ввиду разных объектов исследования см.: *Блок Г. П.* К характеристике источников «Словаря русского языка XVIII в.». — В кн.: Материалы и исследования по лексике русского языка XVIII в. Л., 1965, с. 56—58.

[3] О трудностях изучения разговорной речи прошлых эпох см. нашу статью «Просторечие в „Словаре русского языка XVIII в.“» в кн.: Проблемы исторической лексикографии. Л., 1977, с. 70—81.

Травестированная или «вывернутая наизнанку» поэма занимает особое место в ряду жанров русской художественной литературы XVIII столетия. Как жанр она узаконена теорией классицизма. Характеристика этого жанра дана в «Епистоле о стихотворстве» А. П. Сумарокова:

В одном (виде поэм, — *Г. К.*) богатырей ведет отвага в драку.
Парис Фетидину дал сыну перебяку,
Гектор не на войну идет, в кулачный бой,
Но воинов, бойцов ведет на брань с собой.
Зевес не молнию, не гром с небес бросает,
Он из кремня огонь железом высекает,
Не жителей земных он хочет устрашить,
Но что-то хочет он лучинку засветить.
Стихи, владеющи высокими делами,
В сем складе пишутся пренизкими словами.

(Сум. Епистола, 344—345).

В подходе к лексике народно-разговорного источника в травестированных поэмах несомненно влияние ирои-комических поэм В. Майкова и М. Чулкова. Это прежде всего само обращение к богатейшему источнику — русской разговорной речи, описание с помощью ее лексических ресурсов бытовых действий богов и героев, включение таких слов в речь персонажей. Объем лексики разговорной речи в ирои-комической поэме и в травестированных поэмах, значительно отличается. Стремление авторов ирои-комических поэм к средней речевой манере сказалось в ограничении таких слов в лексической ткани поэм, равно как и в предпочтительном отборе лексики с умеренной экспрессивной окраской.[4] В травестированных поэмах таких ограничений нет. Весьма значительный объем народно-разговорной лексики, ее семантическое, стилистическое и экспрессивное многообразие свидетельствуют о натуралистическом следовании за разговорной речью. Это объясняется особенностями подхода к травестированию. Определенное влияние оказывали условия жизни и речевые навыки социальной среды, к которой принадлежали авторы.

I. Травестированию подвергается один из основных жанров высокой поэзии — героическая поэма. При этом действие поэм проецируется на современную русскую действительность. Русский быт третьего сословия — вот среда действия изображаемых в поэмах богов и героев. При всей скудости наших знаний об авторах поэм Н. П. Осипове, А. Котельницком, И. М. Наумове, Е. П. Люценко обращает внимание их принадлежность к среде разночинцев.[5] Отношение авторов поэм к простому русскому быту не лишено своеобразия. С одной стороны, в поэмах явно осознание его низкости, столь характерное для дворянской среды

---

[4] См.: *Муза Е. В.* Лексика и фразеология ирои-комической поэмы 60—70 годов XVIII в. Автореф. канд. дис. М., 1953.

[5] Биографические справки, принадлежащие Б. Томашевскому, см. в кн.: Ирои-комическая поэма. (Библиотека поэта. Большая серия).

и привнесенное в художественную литературу писателями дворянами. С другой стороны, при чтении поэм все время чувствуется привычность этого быта для авторов поэм, его глубокое знание и известная приязнь. Поэтому изображение быта здесь так сочно, ярко и многопланово. Среди широкого потока лексики народно-разговорного источника значителен круг слов, связанных с простым бытом. Характерные более для авторской речи такие слова в ряде случаев входят и в речь персонажей. Представление о значительности круга лексики реально-бытовой сферы может дать даже краткий перечень ее тематических групп. См., например: а) слова — названия кушаний: *коврижки, тюря, размазня, калачик, краюшка* и *укрух* (хлеба), *оржаной хлеб, сайка*; б) слова — названия напитков, преимущественно хмельных: *бражка, сбитень, брандахлыст, мед, жженка, горелка, буза, ерофей, сивуха, отъемная водка*; в) слова — названия одежды, головных уборов, обуви: *зипун, душегрейка, шугай, повойник, кокошник, шлык, ширинка, мошонка, черезок, чеботочки, онучи* и др.; г) слова — названия построек и их частей: *изба, лачужка, клеть, овин, курник, чулан, коморка, голбец, полати, чело* (у печи), *горнушка* и др.; д) слова — названия предметов домашнего обихода: *лукошко, корчага, ушат, плошка, корец, крючок* 'чарка', *голик, косарь* 'нож для щепания лучины', *оброть, веретено, пряслице, клюка* и др.; е) слова — названия музыкальных инструментов: *волынка, дудка, рыле*; ж) слова, связанные с обычаями, обрядами, суевериями: *ворожба, зелье, приворот, заговины, святки, посиделки, супрядки, сорочины, магарыч* и др.; з) слова — названия игр, плясок: *бабки, жмурки, курилка, свайка, пристен, чехарда, шемела, бычок, казачок* и др. Этот перечень может быть значительно продолжен.

Многочисленная стилистически нейтральная предметная лексика, включаемая авторами в контексты поэм, получает в них ситуативную окраску сниженности благодаря контрасту (она используется для описания жизни античных богов и героев), но также и благодаря соседству со словами, сниженность которых была в то время признанной. Функции реально-бытовой лексики в авторской речи многообразны. Она используется для создания бытовых картин. См., например, описание кузницы Вулкана: «Циклопы тамо обнаженны. . Работу делают одну, Стучат большими молотами, И сплющивают все блинами, Вертят в колечки медь и сталь, В небесный ставят двор игрушки, Наперсточки, ножи, гремушки, И что бы кто ни заказал» (Котельницкий, 502).

См. также картину святочных гуляний в аду: «Девичьи шайки многолюдны Кричали песенки подблюдны Загадывая меж собой; Борису свадебку играли; Жгутом игумна прогоняли, Резвились в фанты, шемелой. Зажегши спичку иль лучинку Играя оною в курилку Покамест не погаснет вдруг; С разбега на снежок ложились, Мущин прохожих торопились Об имени скорей спро-

сить; Сбирали разные игрищи; Ходили в баню, на кладбищи, В конюшню, в курник ворожить» (Осипов, 401).

См. также применение данной лексики в портретных зарисовках. Вот, например, портрет Харона, перевозчика душ умерших через реку Ахерон в царство мертвых: «Лицо чернее голенища, Нечесанная бородища, Вся в колтунах и завитках Висела до пупа клочками, Сивоседыми волосами, Старинной как парик в кудрях. Одет он был по щегольскому В сермяжном старом зипуне; Заплаты по куску большому На всех боках и на спине; Запачкан грязью весь и салом, Обвязан из куля мочалом, С узлами вместо кушака; Протоптаны все башмачонки, А под кафтаном рубашонки Ни на полушку лоскутка» (Осипов, 368).

Усилению впечатления обыденности, «приземленности» жизни богов и героев служит ряд характерных приемов использования данной группы лексики. Среди них следует отметить намеренное собирание таких слов в строфе. Вот некоторые примеры. «А люди в летах пожилыя.. Полати, голбец или печку Старались для себя найти; Чтоб часиков пять шесть уснувши Поотдохнуть повосхрапнувши От столь далекого пути» (Осипов, 340). «У жбанов, фляг, сулей, бутылок Когда уже обсохло дно, А из ковшей, яндов, братинок Все высуслено вон вино, Тогда троянцы протрезвяся.. Пошли ту землю обзирать» (Там же, 423).

Укажем также прием усиления впечатления опрощенности путем преднамеренного перевода слова книжного, свойственного высокой поэзии, русским бытовым эквивалентом. «Певец на лире громозвучной Или по-русски на рылях,[6] Орфей проводит век нескучной Во адских живучи странах» (Осипов, 396). «‹Зевес› Нектара чашку ожидал, Иль, по-просту, отъемной водки» (Там же, 278).

Чрезвычайно интересны и разнообразны сравнения. См., например, сравнения действий персонажей с действиями домашних животных. «‹Эней› Сверкал глазами будто кот, Гневливыя пуская взгляды» (Осипов, 347). «Вздурился он ‹Нептун› и ужаснулся, Индейский будто бы петух» (Там же, 277). «Федора басом запевала, Хавронья дишкантом визжала, .. Рычала волком Акулина, Давала такту Прозерпина: Таков в их пении был склад» (Люценко, 587).

В ряде случаев сравнения как бы нанизываются и развертываются, образуя своеобразный образный контекст. Вот, например, описание бури на море, исполненное в своеобразной «приземленной» манере. «Горшок у бабы как со щами Бурлит в растопленной печи, Так точно сильными волнами Кипело море

---

[6] «*Рыля*... бол. употр. мн. рылѣ (рыле?) род. рылей, искаж. лира, музыкальное орудие, с которым ходят нищие чужеземцы, а на юге у нас и свои: три струны, по коим книзу ходит кружок, замест смычка, обращаемый лебедкою; пальцы левой руки нажимают и перебирают струны; *с рылями* старцы и слепцы поют малороссийские думы». Даль, IV, 118.

в той ночи. Со всех сторон вздымалась буря; Не видно света и следа, Ревела волком вся пучина» (Осипов, а. 275).

А вот построенное на бытовом развернутом сравнении описание работы Вулкана. «Как бабы податью стягченны Percy Раненько в деревнях встают, От теплой печи отвлеченны Не медля пряслицу берут, И мразной ночи в половину, Воткнув в нощник себе лучину, Щелкают все веретеном, Вулкан так услужить желавши, И двух часов еще не спавши, Берет клещи свои и лом» (Котельницкий, 501—502).

Таким образом, краткий обзор реально-бытовой лексики, представленной в травестированных поэмах конца XVIII в., позволяет предположить, что эта группа памятников содержит большой и интересный материал для изучения русской разговорной речи той поры. Отмеченные выше приемы ее введения в текст в известной мере обусловлены особенностями травестирования и позволяют судить о творческой манере авторов.

II. В травестированной поэме обильно представлена лексика народно-разговорного источника, обозначающая человека по возрасту, семейному положению, внешнему виду, привычкам, особенностям его характера и поведения. Это связано с манерой изображения в них богов и героев.

В различных жанрах литературы классицизма (в драматургии, любовной лирике, в панегириках, торжественно-хвалебной оде и др.) боги и герои античных мифов при переносе их действий в не свойственную им обстановку утрачивали всякую конкретность, превращаясь в чисто условную аллегорическую фигуру. Заключенные в именах символы выступали на первый план.[7] В исследуемых поэмах, как и в ирои-комической поэме 60—70-х годов, мифическим персонажам возвращается их конкретность. Более того, они как бы становятся русскими, часто занятыми обычными деревенскими делами. Это достигается особым подбором лексики для их характеристики. По отношению к ним применяются обычные в крестьянской и мещанской среде слова — наименования человека по полу и возрасту: *баба, мужик, девка, парень, детина, молодец* 'молодой мужчина', *молодица* 'молодая замужняя женщина'. Приведем соответствующие примеры. «Юнона баба не дремлива, Не промах и везде смекслива» (Осипов, 432). «Один из них (послов к царю Латину, — *Г. К.*) приосаняся. Стал рацию свою читать: „К тебе, как мужику богату, Пришли мы“» (Там же, 427). «А нимфы, девки чернобровки Любили также погулять» (Наумов, 587). «Еней был удалой детина И самый хватский молодец» (Осипов, 273). «А Диомид был пан богатый, собою парень не дурак» (Котельницкий, 480). «Дидона, здешняя царица, отметной соболь молодица» (Осипов, 281).

[7] Об этом см.: *Войнова Л. А.* Функционально-семантические особенности мифологических собственных имен и показ их в историческом словаре XVIII в. — В кн.: Проблемы исторической лексикографии, с. 123—124.

Изображение мифических персонажей как людей из русского простонародья идет в поэмах и дальше. Некоторые их имена перекраиваются на русский лад. См. наименование богов по имени и отчеству, употребление русских деминутивов от их имен, наименование богинь по мужу с аффиксом *-иха*, типичное для русского простонародья. Они обычны и в авторской речи и в речи персонажей. «Плутон Сатурныч был детина, Притом не молод и не стар» (Люценко, 599). «[Вулкан — Венере:] Помилуй, Венушка, мой свет! К чему такие извиненья?» (Котельницкий, 501). «Один удаленький молодчик К Юпитерихе (жене Юпитера Юноне, *Г. К.*) подлетел» (Осипов, 363). «Еней как можно прибодрялся перед Плутониху (Прозерпину, жену Плутона, *Г. К.*) предстать» (Там же, 394). Так же широко и свободно пользуются авторы травестированных поэм словами, обозначающими лицо по семейным отношениям, такими как *батька, матка, сват, сватушка, куманек, шурин, золовка* и др., принятыми в народной среде.

Лексика народно-разговорного источника, связанная по значению с человеком, здесь обширна и разнообразна. Об этом свидетельствует состав некоторых тематических групп. а) Слова — названия частей и органов человеческого тела: *башка, виски* 'волосы', *бельмы, буркалы, гляделки, зенки* 'глаза', *брылы* 'губы', *морда, рыло, рожа* и *рожица, харя, сусалка, храпочек* 'лицо', *дрыги* 'ноги' *лапа* 'рука', *правша* 'правая рука', *кортышки* и *закортышки* 'плечи', *горб, хребет* 'спина', *зацепы* 'зубы', *поджилки* 'подколенные жилы', *ляжка* 'бедро', *голяшка* 'голень', *хайло* 'горло', *пузень* 'живот' и др.;

б) Слова — обозначения человека по его привычкам, характеру, действиям: *весельчак, волочага, враль, грызунья* 'ворчунья', *головорез, гуляка, дока, забияка, зубоскал, огурь* 'лентяй, упрямец', *подлипала, провор, прожора, пролаз, плакса, пьянюга, разиня, разгильдяй, рубака, силач, скопидомка, скосырь, скупяга, смекало, смельчак, фертик, фефела, шаль* и др.;

в) Слова, связанные по значению с говорением: *баять, балакать* 'говорить,' *болтать* и *заболтаться, бредить* и *набредить, городить, молоть* и *размолоться* 'говорить что-либо несерьезное, недостоверное, пустяки', *балагурить, балабонить, зубоскалить* 'говорить что-либо веселое, насмешливое' (см. также устойчивые сочетания: *подпускать, точить лясы, балясы*); в знач. 'то, что говорится, не имеющее серьезного значения или забавное' см. слова: *белиберда, бредни, вздор, дребедень, забобоны, пустошь, пустяк, чуха, чушь* и др.;

г) Слова, связанные по значению с дракой: *дунуть, хватить, огреть, озадачить, ожечь, смазать, чкнуть* 'ударить'; *дуть, драть, лупить, варганить* (ремнями) 'сильно бить'; *отворочать, отпаточить, откатать, отпотчивать, задать чосу (перечосу, трезвон, жареху)* 'побить'; *ухлопать, укокошить* 'убить'; *оплеуха, паля, туз, тулумбас, тумак* 'удар'; *катка, отческа, перебяка,*

таска 'побои' и др. Перечень таких групп может быть продолжен.

В приведенные здесь тематические группы входят как однозначные слова, так и слова многозначные в производных значениях. Они различны и в оценочном плане: от слов с умеренной экспрессией непринужденности (*болтать, вздор, пустяк, весельчак*) до слов с резкой экспрессией грубости (*ухлопать, укокошить, задать жареху* и т. п.)

Обращает на себя внимание обилие в текстах поэм синонимов и аналогов. Кроме уже названных в представленных выше тематических группах, можно привести многочисленные аналого-синонимические ряды, члены которых отличаются и генетически, но более всего по виду, мере и степени оценочности.[8] См.: *удалец, удаль, залет, сорванец, угар, урвач; разиня, ротозей, зевака, вислоухий, фефела; стянуть, подтенетить, подтибрить, подцапать, подцепить; убраться, улизнуть, уплести, уплестись; смастерить, смастачить, сварганить, свахлять* и др.

Они одинаково употребительны в речи авторов и в репликах персонажей. Так, в значении 'упасть' встречаются глаголы *клюнуться, корнуться* и *шерохнуться*. «Он вдруг ногою спотыкнулся И в воду с корабля клюнулся» (Осипов, 337). «Ему лишь только развернуться, Заставит всякого корнуться В грязь рожею щелчком своим» (Там же, 395). «Венул немного отдохнувши Шерохнулся к его ногам» (Котельницкий, 481). В значении 'выпить все до дна' употреблены глаголы *отдуть* и *охолостить*. «Потом пришед домой, сивухи ушат охолостили вмиг» (Люценко, 612). «Скорее, братцы, без откладки, — сказал троянцам всем Еней.. Отдуем кубок полный сей» (Осипов, 422). В значении 'быстро побежать' встречаются глаголы *брызнуть* и *лизнуть* «[Сивилла] Как заяц от собак из мяла К кумирам брызнула своим» (Осипов, 281). «И много множество других [нимф] Лизнули вслед за Прозерпиной» (Люценко, 587). Для обозначения неопределенного множества употребляются слова *куча, препропасть, тьма* и устойчивое сочетание *тьма тьмущая*. См.: «[Сивилла:] И прежде приготовляйся отведать кучу горьких бед» (Осипов, 438). «В иных местах тьма роз алеет» (Люценко, 580). «[Циклопы] Всего препропасть паковали Работы много было там» (Котельницкий, 504). «Уже тьма тьмуща душ собралась Пред Елисейский вертоград» (Люценко, 594).

Приведенный выше материал свидетельствует о следовании авторов травестированных поэм конца XVIII в. за разговорной речью и об отсутствии у них принципов отбора слов данного источника. Обилие и многообразие таких слов в поэмах является ценным для исследования русской разговорной речи той поры.

III. Отличительной особенностью языка травестированных поэм является широкое включение лексики и изобразительных

[8] Об оценочности слов народно-разговорного источника см. нашу работу «Русское просторечие второй половины XVIII в.» (Л., 1974), с. 152—182.

средств фольклора. Можно предположить, что на авторов поэм оказывали влияние ряд обстоятельств. К ним следует отнести сравнительно большую близость разговорной речи и языка фольклора. Несомненна также исключительная значимость произведений народного творчества в той среде, к которой принадлежали авторы поэм. Это способствовало укреплению привычности пользования языковыми средствами в различных ситуациях в речи и вхождению их в памятники, ориентированные на разговорную речь.[9] В поэмах, например, часты сочетания слов с постоянными эпитетами. См.: *белый свет, буйная головушка, булатный нож, добрый молодец, красная девица, лебединая грудь, ретиво сердце, голос соловьиный, сине море, ясны очи* и др. Нередки устойчивые сравнения: *лицо белее снега, будто маков цвет, как сокол, летать соколом, ходить гоголем* и др. Укажем типичные для фольклора сочетания: *тоска-кручина, грусть-кручина, ум и разум, век вековать, горе горевать* и др. Обычны в поэмах слова — ласковые обозначения людей, употребляемые в разговорной речи и в фольклоре: *лапушка, лебедушка, милушка, молодушка, старинушка* и др. Часто встречаются пословицы в обычной или слегка измененной и в усеченной форме. См.: *денежка мана́; каков где поп, таков приход; не сломишь хворостом обуха; сухая ложка рот дерет* и т. п. Можно наблюдать включение традиционных сказочных формул: *ни в сказках сказать, ни пером описать; скоренько сказка говорится..; за тридевять земель в тридесято царство* и др. Элементы фольклора одинаково присущи и авторской речи, и репликам персонажей. Они входят в авторскую речь как своеобразный зачин, органически включаются в неторопливый авторский рассказ, иногда заключают повествование. Вот некоторые примеры. «Скоренько сказка говорится, И вся на полету идет; На деле же не так спорится, И с остановкою ползет» (Осипов, 338). «Виргилий лишь один не ложно Старался нам их описать. Не можно вздумать то умами, Ни написать пером словами, Ни в сказках бахарских сказать» (Там же, 395).

В поэмах встречаются портретные зарисовки, выполненные традиционными для фольклора средствами. Вот, например, портрет красавицы Лавинии, дочери царя Латина. «Она была как холь и нега, Лицо ее белее снега, А щечки будто маков цвет» (Осипов, 413). Так же органически элементы фольклора входят в речь персонажей. Приведем примеры. Из речи Энея: «Я должен был повиноваться, со вдовушкой своей расстаться И ехать горе горевать» (Осипов, 380). Из речи Сивиллы: «Когда подмажешь ты телегу, Тогда она уж не скрипит; Без остановки до ночлегу, По маслу будто сыр катит» (Там же, 349). Из речи Дейфоба: «Любезный барин мой и милый, Удалый добрый молодец» (Там же, 384).

[9] См. нашу статью «Памятники фольклора как источники изучения разговорной речи». — В кн.: Проблемы исторической лексикографии, с. 117—121.

Приведенные примеры могут свидетельствовать об органическом вхождении элементов фольклора в разговорную речь второй половины XVIII в.

* * *

Сказанное выше позволяет считать, что травестированная поэма конца XVIII в. представляет собою значительный интерес для изучения лексического состава русской разговорной речи того времени. В ней широко представлены слова характерных для нее слоев лексики.

Наличие в поэмах многочисленных реально-бытовых слов, равно как и слов, обозначающих человека по полу, возрасту, семейному положению, употребление которых свойственно преимущественно простонародной среде, обусловлено направлением травестирования — показом античных богов и героев в обстановке простого русского быта.

В отношении лексики народно-разговорного источника, связанной с человеком, его физическими особенностями, привычками, характером, действиями и т. п., обладающей различной оценочностью, наблюдаются натуралистическое следование авторов поэм за разговорной речью, отсутствие целенаправленного отбора ее элементов. Степень концентрации такой лексики в контекстах поэм в ряде случаев выше, чем в комедии и комической опере.

Изучение фольклорных включений в языковую ткань поэм свидетельствует о привычности лексики и формул фольклора для авторов и о глубоком проникновении элементов фольклора в разговорную речь того времени.

Е. Г. Ковалевская

АНАЛИЗ ТЕКСТА ПОВЕСТИ Н. М. КАРАМЗИНА «БЕДНАЯ ЛИЗА»

ПАСТОРАЛЬНАЯ ТЕМА В ПОВЕСТИ

«Бедная Лиза» — первая оригинальная сентиментальная повесть, появившаяся в России в конце XVIII в. Перенесение героев эклог, идиллий и пасторалей в новую, знакомую всем читателям, ситуацию, трогательный образ молодой крестьянки, покончившей с собой, так как она не могла жить без любви, горе ее матери, раскаяние героя, изящный легкий слог — все это обусловило тот прием, который оказала повести публика. Как писала К. Скипина: «...если мы обратимся к старому материалу, возьмем чувствительную повесть на фоне старого романа, то весь восторг современников перед „Бедной Лизой“ нам будет так же понятен, как понятен он перед произведениями Л. Толстого».[1]

Идиллии и пасторали, истоками которых явились эклоги античности и раннего Возрождения, были известны в России с 50-х годов XVIII в. (переводы Биона и Мосха; Геснера и Флориана). В конце XVIII—начале XIX в. появляются оригинальные пасторальные повести: «Альфида», «Розана и Любим», «Несчастные любовники» и др. Как известно, Карамзин начал свою литературную деятельность переводом идиллии Геснера «Деревянная нога» (1783). В журнале «Детское чтение», который Карамзин редактировал с А. А. Петровым, была опубликована в его переводе идиллия, посвященная памяти Геснера (1789). В «Московском журнале» была напечатана биография Геснера (1792). В статье «Что нужно автору» (1793) речь идет о нравственных достоинствах Геснера, о соответствии воззрений писателя и автора идиллий. Н. Н. Булич в связи с этим назвал повесть Карамзина «Бедная Лиза» воспоминанием Карамзина из мира геснеровых идиллий.[2] Идиллическую основу повести выявляет и К. Скипина в упомянутой статье.

Однако в повести «Бедная Лиза» нет идиллической основы. Карамзин сознательно разрушает каноны идиллий и пасторалей,

---

[1] *Скипина К.* О чувствительной повести. — В кн.: Русская проза. Под ред. Б. М. Эйхенбаума и Ю. Н. Тынянова. Л., 1926, с. 14.

[2] *Булич Н. Н.* Биографический очерк Н. М. Карамзина и развитие его литературной деятельности. Казань, 1866, с. 108.

изменяя характер героев, прямо указывая читателю в тексте, что речь пойдет о современниках автора, а не об идиллических пастухах и пастушках. Пасторальная тема возникает в повести неоднократно, но только для того, чтобы превратить идиллию в психологическую повесть. Пасторальная тема возникает сразу, одновременно с панорамой Москвы: «На другой стороне реки видна дубовая роща, подле которой пасутся многочисленныя стада; там молодые пастухи, сидя под тению дерев, поют простыя, унылыя песни, и сокращают тем летние дни, столь для них единообразные».[3]

Реалистическому описанию окрестностей Москвы, которыми любуется автор с Воробьевых гор, противостоит условный, традиционно буколический пейзаж. Река, роща, стада, молодые пастухи, влачащие свои дни на лоне природы, — все подготавливает читателя к идиллии. Как известно, итальянские, французские и русские художники создали для пасторальных балетов и опер несменяемую пейзажную декорацию: перспективно расположенные деревья, кусты, пригорки, ручейки, хижины. Хижина — место действия и в повести Карамзина, но это не условное наименование жилья пастуха или пастушки, а конкретное описание бедного деревенского домика с конкретными деталями русского быта: «Саженях в семидесяти от монастырской стены <..> стоит пустая хижина, без дверей, без окончин, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась» (с. 5).

Героиня — не пастушка из пасторали. Образ Лизы социально мотивирован: с 15 лет она работает день и ночь, ее дни не назовешь однообразными. Возникает новое противопоставление: привольная жизнь идиллических пастухов и нелегкая жизнь пятнадцатилетней крестьянской девочки, которая ткет холсты, прядет, вяжет чулки, собирает ягоды и цветы, и все это продает в Москве, чтобы прокормить себя и мать.

Появляется Эраст. Вновь кажется, что создается пасторальный треугольник: пастух, крестьянка и барин. Дальнейший текст как бы подтверждает это. Лиза на берегу реки. Молодой пастух гонит стадо, играет на свирели (снова идиллическая деталь). Однако самым важным является противопоставленность модального плана двух текстов, что и разрушает каноны пасторали. Внутренний монолог Лизы: «Естьли бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином, пастухом, — и естьли бы он теперь мимо меня гнал стадо свое: ах! Я поклонилась бы ему с улыбкою и сказала бы приветливо: здравствуй, любезный пастушок! (типовое обращение пасторалей. — *Е. К.*) <..> Он взглянул бы на меня с видом ласковым — взял бы, может быть, руку мою...» (с. 16). Фраза не закончена,

---

[3] *Карамзин Н. М.* Соч. Ч. 6. М., 1814, с. 2. В дальнейшем в тексте даются ссылки на это издание.

что графически подчеркнуто традиционным карамзинским знаком-многоточием, так как дальше автор передает героине свою оценку возможности подобной ситуации. Монолог Лизы заканчивается типичным для поэзии Карамзина оценочным словом модального характера — мечта! Ср. в его поэтических текстах: «В мечтах, в желаниях своих Мы только счастливы бывали» («К бедному поэту»); «Рассудок говорит: „Все в мире есть мечта!“» («К неверной»); «Мы видим счастья тень в мечтах земнаго света» («Тень и предмет») и т. п.

Именно словом *мечта* характеризует Карамзин жизнь счастливой Аркадии в статье «Нечто о науках, искусствах и просвещении» (1794): «Правда, сия вечно цветущая страна, под благим, светлым небом, населенная простыми, добродушными пастухами, которые любят друг друга, как нежные братья, не знают ни зависти, ни злобы, живут в благословенном согласии, повинуются одним движениям своего сердца и блаженствуют в объятиях любви и дружбы, есть нечто восхитительное для воображения чувствительных людей; но — будем искренни и признаемся, что сия счастливая страна есть не что иное, как приятный сон, как восхитительная мечта сего самого воображения».[4]

Авторизация текста осуществляется Карамзиным в следующих микротекстах с помощью различных лексических и грамматических средств: сослагательное наклонение заменяется изъявительным: «Пастух прошел мимо (неосуществленная возможность) и... скрылся за ближайший холм» (с. 16). Карамзин почти дословно воспроизведет фразу из монолога Лизы в следующем микротексте, но вновь изменит модальность: «Эраст... подошел к Лизе, и — мечта ее отчасти исполнилась: ибо он взглянул на нее с видом ласковым, взял ее за руку...» (с. 17). Снова многоточие — подготовка читателя к неидиллическому концу романа «барина и крестьянки».

Антипасторальный замысел повести постоянно проявляется в авторских ремарках: вводные и вставные синтаксические конструкции передают скептическое отношение повествователя к суждениям своего героя: «в те времена (бывшия или не бывшия), в которыя, если верить стихотворцам, все люди беспечно гуляли по лугам» (с. 14); «натура призывает меня в свои объятия... — думал он и решился — по крайней мере на время — оставить большой свет» (с. 15).

Трудно согласиться с А. Кроссом в том, что отношения героев развиваются совершенно в духе идиллий: «всякий раз они встречаются на берегу пруда,[5] и после свидания Лиза возвращается

---

[4] *Карамзин Н. М.* Избр. соч. Т. II. М.—Л., 1964, с. 141.

[5] У Карамзина другие указания: «всякий вечер виделись... или на берегу реки, или в березовой роще, но всего чаще под тенью столетних дубов..., осеняющих глубокой, чистой пруд...» (с. 21—22).

в хижину своей матери, а Эраст в Москву, и для обоих это означает возврат к реальной жизни».[6]

Последний раз пасторальная тема прозвучит перед сценой падения героини: «Эраст восхищался своей пастушкой — так называл Лизу... Я буду жить с Лизою, как брат с сестрою (думал он)..., не употреблю во зло любви ея и буду всегда счастлив!» (с. 23). Повествователь решительно отводит мысль о возможности пасторали в его время, подчеркивая это сменой временного и модального планов: «Безрассудной молодой человек! Знаешь ли ты свое сердце? Всегда ли можешь отвечать за свои движения?» (с. 23).

Кажется, и в этой ситуации все могло кончиться эклогой, ибо к Лизе сватается жених. Однако «крестьянки умеют любить», и Лиза отказывается от замужества с нелюбимым, становится любовницей барина (обычная история в крепостной России), так как социальное неравенство не позволяет ей стать женой любимого человека, затем «оставленная, брошенная» погибает. Совершенно понятно, почему эта банальная история «сделала эпоху» в русской литературе с ее гуманистическими традициями, положила начало современной психологической прозе. Многое из способов и приемов создания художественных образов сентиментальной литературы сохранилось в реалистической литературе: психологическая мотивировка поступков героев, психологическая речевая характеристика персонажей повести, психологический пейзаж, приемы авторизации текста и др. Правда, многое осталось достоянием лишь сентиментальных произведений XVIII в.

СРЕДСТВА И ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВ ПЕРСОНАЖЕЙ ПОВЕСТИ

Автор не дает детального портрета героини, ограничиваясь общей оценкой (*прекрасная*) и указанием на цвет глаз (*голубые*) и волос (*светлые* во второй редакции повести, гармоническое сочетание красок; *черные* в первой редакции повести, гармония контраста). Психологический облик героини характеризуется более подробно: *услужливая, нежная, с душой чувствительной и невинной.* Эпитет *чувствительная* уточняется в следующих микротекстах: «Лиза закраснелась» (предлагая незнакомцу купить ландыши, — *Е. К.*); «еще более закраснелась»; «щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер» (при известии о том, что Эраст будет приходить к ним, — *Е. К.*); «с потупленным взором, с огненными щеками, с трепещущим сердцем» при первом свидании с любимым; «томная, горестная» перед разлу-

---

[6] *Кросс А.* Разновидности идиллий в творчестве Карамзина. — В кн.: Державин и Карамзин в литературном движении XVIII—начала XIX в. Л., 1969, с. 222—223.

кой; «розы на щеках ее освежались, и Лиза улыбалась, как майское утро после бурной ночи» — при мысли о свидании с Эрастом.

Карамзин впервые в русской литературе показывает состояние тонко чувствующей, сломленной горем женщины перед самоубийством: «Лиза очутилась на улице, и в таком положении, котораго никакое перо описать не может» (с. 36—37); вначале обморок, потом отчаяние и экспрессивная, взволнованная речь: «О естьли бы... земля поглотила бедную!... Нет! Небо не падает; земля не колеблется. Горе мне!» (с. 37); затем задумчивость, вероятно, принятое решение о смерти и внешне абсолютно спокойная речь: «Любезная Анюта, любезная подружка! Отнеси эти деньги матушке..., скажи ей, что Лиза против нее виновата; что я таила от нее любовь свою к одному жестокому человеку... Попроси, чтобы она меня простила..., скажи, что бедная Лиза велела поцеловать ее» (с. 38).

Авторский соседствующий текст также лишен экспрессивности, лаконичен и динамичен (в тексте нет ни одного эпитета, основную смысловую нагрузку несут глаголы): «Анюта закричала, заплакала, но не могла спасти ее; побежала в деревню — собрались люди и вытащили Лизу; но она была уже мертвая» (с. 38).

В роли основного наименования героини выступает словосочетание «бедная Лиза», вынесенное автором и в заглавие повести. Оно сразу настраивает читателя на восприятие грустной истории. Это же словосочетание употребляет рассказчик, впервые касаясь основной темы: «Но всего чаще привлекает меня к стенам Симонова монастыря — воспоминание о плачевной судьбе Лизы, бедной Лизы» (с. 5). Постоянный эпитет в пределах повести повторяется и в авторском характерологическом тексте при описании разлуки героев: «и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти» (с. 33). Заканчивая повесть, автор вновь употребляет постоянный эпитет: «И суеверные поселяне, слыша по ночам сей шум, говорят: „Там стонет мертвец; там стонет бедная Лиза“» (с. 39).

Для автора сентиментальной повести наиболее важна психологическая характеристика героев, поэтому опорным словом в ассоциативном ряду, связанном с образом Лизы (*прекрасная, услужливая, нежная, с душой чувствительной и нежной, бедная*), является оценочное слово *бедная,* совмещающее, думается, в семантике два значения: 'несчастная' и 'небогатая'.

Обычно исследователи, анализируя языковую структуру образа героини, подчеркивают, что в повести отсутствует социальная речевая характеристика персонажей. Однако это не совсем так. В любовных монологах и диалогах, действительно, нет яркой социальной дифференциации речи, что обусловлено мировоззрением Карамзина, его тезисом: «и крестьянки любить умеют». Дворянин и крестьянка равны в области чувств, поэтому

средства выражения их чувств одинаковы. Ср. первую и вторую часть монолога Лизы: 1) «Когда ты... скажешь мне: я люблю тебя, друг мой! когда прижмешь меня к своему сердцу и взглянешь на меня умильными своими глазами: ах! тогда бывает мне так хорошо, так хорошо, что я себя забываю, забываю все, кроме — Эраста. Чудно! чудно, мой друг, что я, не знавши тебя, могла жить спокойно и весело!»; 2) «теперь думаю, что без тебя жизнь не жизнь, а грусть и скука. Без глаз твоих темен светлой месяц; без твоего голоса скучен соловей поющий; без твоего дыхания ветерок мне неприятен» (с. 22—23). В первой части совершенно отсутствует народный колорит речи. Это поэтический монолог героини сентиментальной прозы, который могла бы произнести и светская героиня Юлия из одноименной повести Карамзина, и Наталия из повести «Наталья, боярская дочь». Эта часть монолога Лизы (речь крестьянки) не отличается от любовных монологов дворянина Эраста. Во второй части монолога народно-поэтическая лексика — *светлый месяц, соловей, ветерок* — создает социальный колорит речи.

В речи матери Лизы более ощутима стилизация под фольклор. 1) « — На кого тебя покинуть? Нет, дай бог прежде пристроить тебя к месту! Может быть, скоро сыщется доброй человек. Тогда, благословя вас, милых детей моих, перекрещусь и спокойно лягу в сырую землю» (с. 8). Ср. речь Анисьи в романе «Евгений Онегин»: «Дай бог душе его спасенье, А косточкам его покой В могиле, в мать-земле сырой». 2) «Авось-либо моя Лиза к тому времени найдет себе жениха по мыслям. Как бы я благодарила бога, естьлиб ты приехал к нашей свадьбе!» (с. 32).

В текстах повести, стилизованных под фольклор, употребляются лексические и фразеологические единицы народно-поэтической речи: *агнец,*[7] *крушиться, батюшка, матушка, любезный, добрый человек, сырая земля, чистое небо, светлый месяц, дремучие леса, горькие слезы, пригожий, стенать, горлица.* Ср. в фольклоре: «Хорошо тебе, матушка, за батюшкой жить», «Смиренна, как агнец, делова, что пчела, красна, что райская птица, верна, что горлица», «Первый поклон богу, второй хозяину с хозяйкой, третий всем добрым людям», «Чужи люди — дремучий лес», «Не грусти, не крушись, все воля божья», «Под светлым месяцем, под белыми облаками, под чистыми звездами».

Как и в произведениях устного народного творчества или в книжных текстах, стилизованных под фольклор, в повести используются слова с эмоционально-экспрессивными суффиксами, но их немного: *старушка, матушка, батюшка, лесочки, деревеньки, кусточки, птички, головки.*

[7] Слова старославянского происхождения как поэтизмы функционируют не только в книжно-поэтической речи. Ср. также широкое употребление в фольклоре неполногласных вариантов к русским полногласным словам *злато, хладный, младой* и т. п.

В авторском характерологическом тексте, где речь идет о жизни крестьянок, и в речи Лизы и ее матери используются, правда, в очень небольшом количестве, простонародные и просторечные языковые единицы: *авось-либо, ввечеру, видать, худое* (в САР — простонародное), *клюка* (в САР — просторечное).

В авторском тексте, содержащем описание места действия, быта, образа жизни, привычек, занятий русского человека, употребляется бытовая лексика с этнографическими и социологическими целями. При описании бывшего жилища героини: «Саженях в семидесяти от монастырской стены, подле березовой рощицы, среди зеленаго луга, стоит пустая хижина, без дверей, без окончин, без полу <..>» (с. 5). При описании образа жизни отца Лизы: «Отец Лизин был довольно зажиточной поселянин, потому что он любил работу, пахал хорошо землю и вел всегда трезвую жизнь. Но скоро по смерти его жена и дочь обедняли. Ленивая рука наемника худо обработывала поле, и хлеб перестал хорошо родиться» (с. 6). При описании жизни Лизы: «<..> трудилась день и ночь — ткала холсты, вязала чулки, весною рвала цветы, а летом брала ягоды — и все сие продавала в Москве» (с. 6); «На другой день ввечеру сидела она под окном, пряла» (с. 10). При описании быта крестьянок: «побежала на погреб, — принесла чистую кринку, покрытую чистым деревянным кружком, — схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцом, налила и подала в окно <..>» (с. 11).

В бытовой речи персонажей преобладают разговорные лексические и синтаксические единицы. В этом отношении показательны структура и словарный состав вопросно-ответных реплик, характерных для живой речи, первого, бытового, диалога Лизы и Эраста.

«— Ты *продаешь* их, девушка? — спросил он с улыбкою.

— Продаю, — отвечала она. — А что тебе *надобно*? — *Пять копеек.* — Это слишком *дешево*. Вот тебе *рубль»* (с. 8).

Следовательно, более точным будет утверждение о слабой социальной дифференциации речевых партий и текстов в повести «Бедная Лиза», чем указание на полное отсутствие социальной речевой характеристики в сентиментальном произведении. Вероятно, последнее утверждение базируется не на основании анализа текстов самой повести (с учетом специфики жанра и литературного направления), а на основании сравнения сентиментальной повести с реалистическими произведениями. Конечно, яркая социальная мотивированность речи — один из законов создания реалистической прозы.

В этом плане показательно сопоставление речевой партии Лизы в повести Карамзина и партии Лизы — Акулины в повести Пушкина «Барышня-крестьянка». У Пушкина: «„Я провожу тебя, если ты боишься, — сказал он ей, — ты мне позволишь идти подле себя?“ — „А кто те мешает? — отвечала Лиза; —

вольному воля, а дорога мирская". — „Откуда ты?" — „Из Прилучина; я дочь Василья-кузнеца, иду по грибы" (Лиза несла кузовок на веревочке). „А ты, барин? Тугиловский, что ли?" — „Так точно, — отвечал Алексей, — я камердинер молодого барина". Алексею хотелось уравнять их отношения. Но Лиза поглядела на него и засмеялась. „А лжешь, — сказала она, — не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин". „Почему же ты так думаешь?" — „Да по всему". — „Однако ж?" — „Да как же барина с слугой не распознать? И одет-то не так, и баишь иначе, и собаку-то кличешь не по-нашему"». Но героиня переходит на литературную речь, как только в ее поведении проявляются черты истинного социального положения Акулины — Лизы: «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, ‹...› то не извольте забываться».

Литературная речь настораживает собеседника: «„Кто тебя научил этой премудрости?" — спросил Алексей, расхохотавшись». Героиня вновь надевает речевую маску: «А что думаешь? ‹..› разве я и на барском дворе никогда не бываю? Небось: всего наслышалась и нагляделась ‹..› Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. Прощения просим».[8] Здесь в различных ситуациях проявляются особенности речи барышни и речи крестьянки.

В повести Карамзина нет внешнего портрета героя, дана лишь общая характеристика персонажа: «молодой, хорошо одетый человек приятного вида», «молодой человек поклонился ей так учтиво, с таким приятным видом» (с. 11). Психологический портрет Эраста создан за счет контрастных оценочных слов: «был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но был и ветреным» (с. 14). Контекстуальные антонимы: *добрый — ветреный* помогают понять причину изменения отношения Эраста к героине и причину ее гибели. Эраст не романтический злодей, он обычный слабый, ветреный человек, поступки которого психологически мотивированы, как мотивировано и отношение к герою автора, проявившееся в заключительном тексте повествователя: «Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиной, он не мог утешиться и почитал себя убийцею. Я познакомился с ним за год до его смерти. Он сам рассказал мне сию историю и привел меня к Лизиной могиле. — Теперь, может быть, они уже примирились!» (с. 39).

Показательна психологическая мотивация изменения обращения Эраста к Лизе в связи с изменением их отношений: *девушка* (к незнакомке): « — Ты продаешь их, девушка? — спросил он с улыбкою» (с. 8); *милая Лиза, любезная Лиза* (к любимой женщине); *Лиза* (в последнюю встречу): «Лиза! Обстоятельства переменились; я помолвил жениться» (с. 35); и снова первое наименование — *девушка*: « — Проводи эту девушку со двора» (с. 36).

---

[8] *Пушкин А. С.* Соч. в 3 томах. М., 1954, т. 3, с. 276.

Меняется и эмоционально-экспрессивный характер речи Эраста. Вначале спокойная речь незнакомого человека. В первом диалоге с Лизой только одно оценочное слово: «Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля» (с. 9). Затем небольшие реплики, насыщенные эмоционально-оценочной лексикой: «Милая Лиза! Милая Лиза! Я люблю тебя!» (с. 18); «Для твоего друга важнее всего душа, чувствительная, невинная душа — и Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу» (с. 26). Однако даже подобные реплики не похожи по тональности на экспрессивную речь Лизы: «Ах! Матушка! Какое прекрасное утро! Как все весело в поле! Никогда жаворонки так хорошо не певали; никогда солнце так светло не сияло; никогда цветы так приятно не пахли» (после первого свидания с Эрастом, с. 20), «Чудно, чудно, мой друг», «Нет! Расставшись с тобою, разве тогда перестану плакать, когда высохнет сердце мое» (с. 31). Может быть, это отражение в психологической прозе Карамзина особенностей женской речи. Может быть, это сознательное противопоставление экспрессивной речи «естественного человека» (крестьянки) и сдержанной речи светского человека.

После того как «любовная идиллия» начинает надоедать барину, речь его совсем неэмоциональна: «Завтра, Лиза, не могу с тобою видеться» (с. 29); «Любезная Лиза! Мне должно на несколько времени с тобою проститься» (с. 29). После разлуки: «Я любил тебя, и теперь люблю, то есть желаю тебе всякого добра. Вот сто рублей...» (с. 35). Показательно столкновение в одном тексте двух значений глагола любить: первое значение — «я любил тебя» исключает конец фразы: «Вот сто рублей»; второе — «и теперь люблю, то есть желаю всякого добра» — допускает действие, особенно оскорбительное для Лизы. Здесь проявляется социальное положение героя, ярко социально окрашивается речь Эраста: «Он вывел ее из кабинета и сказал слуге: „Проводи эту девушку со двора“» (с. 36).

Психологически мотивирована структура диалогов Лизы и Эраста. Она ведет партию в любовных диалогах. Эраст же постоянно вторит ей. 1) «— Ах, Эраст, — сказала она: всегда ли ты будешь любить меня? — Всегда, милая Лиза, всегда! — отвечал он. — И ты можешь мне дать в этом клятву? — Могу, любезная Лиза, могу! — Нет! мне не надобно клятвы. Я верю тебе Эраст, верю. Ужели ты обманешь бедную Лизу? Ведь этому нельзя быть? — Нельзя, нельзя, милая Лиза!» (с. 19). 2) «— Ах, Эраст! уверь меня, что мы будем по-прежнему счастливы! — Будем, Лиза, будем! — отвечал он» (с. 27). Показателен повтор Эрастом в ответных репликах второстепенных логических звеньев вопросительных реплик Лизы: он ни разу не повторяет ключевых слов: *любить, клятва, обманешь, счастливы.*

Итак, в повести «Бедная Лиза» на первом плане психологическая обусловленность речевой структуры образов персонажей.

Социальная мотивация речи менее ощутима, что характерно для сентиментальной прозы вообще.

АВТОРСКИЙ ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕКСТ

Стилеобразующими в авторском характерологическом тексте являются традиционно-поэтическая лексика и фразеология различного происхождения. В авторских микротекстах, относящихся к Лизе, много традиционно-поэтических символов, бытующих в фольклоре. «Голод, жажда, желание, любовь», — писал А. А. Потебня, — печаль, радость, гнев представлялись народу и изображались в языке огнем».[9] *Хотеть пить — жаждать любви, напиться — внушить любовь* («Воду пиjте, девоjку љубите» — сербское; «Добри вечiръ, удiвонько! Даи води напиться! Хорошую дочку маешь, хочъ дай подивиться!» — украинское). В повести Эраст появился первый раз в хижине Лизы с просьбой напиться. Приносит молоко и дает ему напиться Лиза.

Любовь — огонь, жар, пожар («Любовь не пожар, а загорится — не потушишь» — русское; «Ти не пожаръ, ти не пожаръ, а я не билина; Не зводь мне из разума, бо я сиротина» — украинское). В повести Лиза, потрясенная сбывшейся мечтой, стоит с огненными щеками. Эраст целует ее с таким жаром, «что вся вселенная показалась ей в огне горящею» (с. 18).

В народной поэзии обычно употребляется сравнение любимой или любимого с солнцем, месяцем, зарею, звездою — символами света и тепла («то, что светит, то и греет» — русское; «Хороша панi <...> По двору ходить, якъ мiсяцъ сходитъ, По сiньцяхъ ходитъ, якъ зоря сходитъ» — украинское). В авторском характерологическом тексте повести: «Щеки ее пылали, как заря в ясный летний вечер» (с. 13), «душа светилась в глазах твоих, подобно как солнце светится в каплях росы» (с. 16). Скрытое сравнение в речи Лизы: «без глаз твоих темен светлой месяц» того же типа.

Цветок — символ любви. Подарить цветы, сплести венок и подарить его — согласиться на любовь, замужество; опустить цветы, венок в воду — отказаться от любви. Любовная история Лизы и Эраста начинается весною, когда луга покрылись цветами. Лиза продает незнакомцу ландыши, а на другой день, не найдя незнакомого барина, бросает цветы в Москву-реку. Думая о пастушеской идиллии, Лиза вспоминает обычай пастушек дарить любимому венки.

В первой редакции повести постоянно употреблялось словосочетание *букет ландышей,* но Карамзин вероятно, почувствовав несоответствие иноязычного слова народно-поэтическому образу, изъял слово *букет* из текста повести во второй редакции.

---

[9] *Потебня А. А.* О некоторых символах в славянской народной поэзии. Харьков, 1914, с. 7.

В первой редакции («Московский журнал», 1792, ч. VI)	Во второй редакции (изд. 1814 г.)
«Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с букетом ландышей» (с. 245).	«Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами» (с. 8).
«Я думал, что букет прекрасных ландышей, сорванных руками прекрасной девушки, стоит не менее рубля» (с. 126).	«Я думаю, что прекрасные ландыши, сорванные руками прекрасной девушки, стоят рубля» (с. 9).
«И букет цветов был брошен в Москву реку. Никто не владей тобою!» (с. 247).	«И цветы были брошены в Москву реку. Никто не владей вами!» (с. 10).

В тексте повести используются книжные традиционно-поэтические языковые единицы: имена античной мифологии; славянизмы и кальки с французских поэтических устойчивых словосочетаний. Имен античной мифологии немного: *зефиры* (ветры), *Геба, Цинтия*. Их употребление для создания психологического пейзажа или дидактических целей представляется естественным: «Там часто тихая луна, сквозь зеленыя ветви, посребряла лучами своими светлые Лизины волосы, которыми играли зефиры и рука милаго друга» (с. 22); «Они обнимались, но целомудренная, стыдливая Цинтия не скрывалась от них за облако» (с. 22). Однако соединение в одном тексте русского фольклорного символа (напиться из рук кого-либо — дать согласие на любовь) и античного имени (сравнение Лизы с Гебой) кажется искусственным: «Незнакомец выпил — и нектар из рук Гебы не мог бы показаться ему вкуснее» (с. 12).

Чужеродными в речи крестьянки или в авторских характерологических текстах, имеющих отношение к ней, являются фразеологические кальки с французских поэтических фразеологизмов. «Лиза спала очень худо. Новый гость души ея, образ Эрастов, столь живо ей представлялся, что она почти всякую минуту просыпалась» (с. 15) — le hôte de l'âme; «но скоро восходящее светило дня пробудило все творение» (с. 16) — l'astre du jour.

Однако следует отметить, что большинство фразеологизмов этого типа употребляется в речи Эраста или авторском тексте, содержащем комментарии к развитию любовной истории: «Красота Лизы при первой встречи сделала впечатление в его сердце» (с. 14) — faire la sensation; «страстная дружба невинной души питала сердце его» (с. 23) — l'amitié passionné nourrir son coeur; «Всегда ли рассудок есть царь чувств твоих?» (с. 23) — le roi du sentiments; « — Для твоего друга важнее всего душа чувствительная, невинная душа» (с. 26) — une âme sensible, innocent;

«Мрак вечера питал желания» (с. 26) — nourrir le désir; «Какая трогательная картина!» (с. 32) — un tableau touchant; « — И Лиза будет всегда ближайшая к моему сердцу» (с. 26) — tenir à coeur; «Сердце мое обливается кровию» (с. 36) — le coeur me saigne.

Как отмечают все исследователи, под влиянием французской речи в русской литературе второй половины XVIII—начала XIX в. увеличилось число генитивных метафор. В повести «Бедная Лиза» генитивные метафоры также представлены широко: *море воздуха, печаль сердца, гость души, дружба души, царь чувств, луч надежды, мрак скорби, светило дня.*

В тексте повести «Бедная Лиза» используются славянизмы в функции поэтизмов, т. е. традиционно-поэтическая лексика старославянского происхождения: *агнец* (как уже отмечалось, это слово бытует и в фольклоре), *посребряла, воссияло, охладеть.*

Слово *агнец* употребляется в сравнении: «Что принадлежит до Лизы, то она <..> им только жила и дышала, во всем как агнец повиновалась его воле» (с. 29). То же сравнение в повести «Наталья, боярская дочь»: «Наталья имела прелестную душу, была нежна как горлица, невинна как агнец» (с. 139).

Глаголы *посребрять* и *воссиять* используются для создания психологического пейзажа: «Луна <..> посребряла лучами своими светлые Лизины волосы (с. 22); «Воссияло солнце, и Лиза, оставленная, бедная, лишилась чувств и памяти» (с. 33).

В произведениях Карамзина и его последователей субъективное описание (с элементом «моего я») преобладает над объективным авторским описанием. Внимание к чувствам героев, их состоянию в различных жизненных ситуациях вело за собой употребление в авторском тексте эмоциональной лексики: *любить, грустить, тоска, разлука, печаль;* эмоционально-оценочной лексики: *милый, любезный, нежная, добрая, бедная;* междометий, предложений с субъективной модальностью. Например: «Ах! Я люблю те предметы, которые трогают мое сердце и заставляют меня проливать слезы нежной скорби!» (с. 5).

Однако в сентиментальных произведениях подобные языковые единицы употреблялись столь часто, что превратились в литературные штампы. Сам Карамзин в предисловии к «Аонидам» отмечал «два главных порока» современной ему литературы: «излишняя высокопарность <..> и часто притворная слезливость». «Не надобно также беспрестанно говорить о слезах, прибирая к ним разные эпитеты <..>. Сей способ трогать очень не надежен, надобно описать разительную причину их: означить горесть не только общими чертами <..>, но особенными».[10]

В этом плане показательны некоторые замены Карамзина во второй редакции повести «Наталья, боярская дочь».

---

[10] Аониды... Кн. II. М., 1797, с. IX.

В первой редакции («Московский журнал», 1792)	Во второй редакции (Изд. 1814 г.)
«Государь был тронут до слез» (VIII, 276).	«Государь был тронут сердечно» (с. 220).
«Кто будет обвинять Наталью <..>, тот не знает, что есть любовь, не знает ея всемогущества. Ах! Она можетъ сделать преступником самого доброжелательного человека» (VIII, 59).	«Но такова любовь. Она может сделать преступником самого доброжелательного человека» (с. 174).

Были проведены некоторые замены и во второй редакции повести «Бедная Лиза»:

В первой редакции	Во второй редакции
«Никто чаще моего не бывает за городом <..>, не бродит <..> по лугам и полям, по рощам и кусточкам» (VI, 238).	«Никто чаще моего не бывает в поле <..>, не бродит <..> по лугам и рощам» (с. 3).
«Внизу расстилаются тучные, густозеленые, белыми, синими и красными цветочками распещренные луга» (VI, 239).	«Внизу расстилаются тучные, густозеленые, цветущие луга» (с. 4).

В «Письмах русского путешественника»:

В первой редакции (М., 1797—1801)	Во второй редакции (Изд. 1814 г.)
«Граф, несчастной граф, поливая цветы, фиалки и колокольчики, лицинии и розы, долго вздыхал» (с. 52).	«Долго вздыхал несчастной граф» (с. 47).

В первой редакции повести «Наталья, боярская дочь» имеется пространное рассуждение о слезах: «Слезы, блаженные слезы, неоцененный дар милосерднаго Божества! Небесные перлы, влиянные в нежный сосуд человеческаго сердца для того, чтобы утолять печали наши и оживлять самыя удовольствия! Вы — пища чувствительнаго мира, вы — душа его. Без вас, друзей моих, без вас хладно и пусто, без вас нет ни счастия, ни добродетелей. Злополучной, котораго бледное лицо вами орошается, не придет уже в отчаяние, сердце, согреваемое вашею благодетельною теплотою, наслаждается коротким светом утешения, а кто в радости вас не проливает, тот еще не знает и не чувствует истинной радости» (с. 238—239). Во второй редакции Карамзин обнаружил больше художественного такта и ограничился фразой: «Нежность и счастие также имеют слезы свои» (с. 185).

Однако и во второй редакции повести «Бедная Лиза» много атрибутов сентиментальной прозы: словосочетания с опорными словами *душа, сердце (сердце содрогается, трепещет, страдает, обливается кровью; дружба питает сердце, воспоминание потрясают душу; душа чувствительная, невинная, радостная; прощаться с душою, забыть душу; печаль сердца, сердечное мучение), слезы (не могла удержаться от слез, слезы капали, слезы катились из глаз ея, заливаться горькими слезами, писать о своих слезах* и т. п.).

Не только персонажи (юный монах, представляющийся воображению автора, мать Лизы, Эраст, Лиза), но и повествователь проливает слезы, то «нежной скорби», то печали. Например: «Я забываю человека в Эрасте — готов проклинать его — язык мой не движется — смотрю на небо, и слезы катятся по лицу моему» (с. 36).

Специфические особенности сентиментальной прозы мешают современному читателю воспринимать произведения Н. М. Карамзина так же эмоционально, как это делали читатели XVIII — начала XIX в. Трудно в наше время постичь прелесть открытых, беспредельных эмоций, свойственных сентиментальной прозе, тем более что и не все современники Карамзина могли оценить их по достоинству, особенно в период интенсивного подражания Карамзину.

А. Бестужев-Марлинский, высмеивая эпигонов Карамзина, отметил основные особенности сентиментального стиля: употребление поэтических штампов; отбор групп лексики с общим значением: чувства человека, проявление этих чувств; насыщенность текста эпитетами; чрезмерное стремление к цветописи и т. п.: «Все завздыхали до обморока; все кинулись ронять алмазные слезы на ландыши, над горшком палевого молока; топиться в луже. Все заговорили о матери природе <..>, и слова „чувствительность", „несчастная любовь" стали шиболетом, лозунгом для входа во все общества».[11]

АВТОРСКИЙ ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЙ ТЕКСТ

В авторском повествовательном тексте повести «Бедная Лиза» атрибутов сентиментальной прозы очень мало. В начале повести представлена панорама Москвы, до сих пор поражающая своей достоверностью: громада домов и церквей в виде величественного амфитеатра, если смотреть на нее с позиции повествователя, стоящего на возвышении у Симонова монастыря. Как известно из писем Карамзина, он любил бродить по Москве и ее окрестностям, но любимым местом прогулок в разное время года, как и у рассказчика, был Симонов монастырь.

---

[11] *Марлинский А.* Полн. собр. соч. СПб., 1838, ч. XI, с. 306.

Национальный и местный колорит в описании Москвы создается отбором объектов изображения: «громада домов и церквей», «бесчисленные златые купола», «златоглавый Данилов монастырь», синеющие «Воробьевы горы», «село Коломенское», «Москва-река», «дубовая роща», «опустевший Симонов монастырь».

В сочинении М. Ю. Лермонтова 1834 г. «Панорама Москвы», написанном в Школе прапорщиков по заданию преподавателя русской словесности, явно ощущается знакомство с текстом Карамзина: «Кто никогда не был на вершине Ивана Великого <..>, кто ни разу не любовался этою величественной, почти необозримой панорамой, тот не имеет понятия о Москве»; «Москва не безмолвная громада камней холодных»; «Едва проснется день, как уже со всех сторон ее златоглавых церквей раздается согласный гимн колоколов»; «<..> рисуются группы нескольких монастырей, между коими Симонов примечателен особенно».[12]

В описании «Москвы белокаменной» естественно преобладают зрительные образы, что не позволяет согласиться с мнением Б. М. Эйхенбаума о том, что Карамзин всегда видел «не предметы сами по себе, не материальность, не природу, но созерцающую их душу». «И если в философии, — писал Б. М. Эйхенбаум в 1916 г., — это приводило к утверждению, что жизнь есть сон, или, что мир — зеркало души, то в поэтике это заставляло его относиться к слову не как к зрительному образу или краске, но как к элементу музыкальному».[13]

Зрительные образы, представленные в авторском тексте, разного плана: громада домов и церквей; лучи солнца пылают на златых куполах церквей и монастырей; по реке плывут лодки и струги, нагруженные хлебом; видны поля, леса, деревни, село Коломенское и другие.

Основной стилистический прием создания зрительных образов — цветопись. Цветовая гамма желто-зеленая, что обусловлено местом действия (средняя полоса России) и временем действия (ранняя осень). Зрительный образ создается не только с помощью цветовых и световых слов (*густозеленый луг, желтый песок, светлая река*). Карамзин впервые использует живописный прием, позднее свойственный импрессионистическому пейзажу: цветовой колорит создается не цветовыми прилагательными, а описанием предметов, имеющих какой-либо цвет, в данном случае — описанием желтых или зеленых предметов. «Великолепная картина, особливо когда светит на нее солнце; когда вечерние лучи его пылают на бесчисленных златых куполах, на бесчисленных крестах, к небу возносящихся» (с. 2). *Златые купола* — сделанные из золота, покрытые золотом, желтого цвета с блеском, *кресты золотые* — того же цвета, *вечерние лучи захо-*

---

[12] *Лермонтов М. Ю.* Собр. соч. М., 1957, т. 4, с. 281—284.
[13] *Эйхенбаум Б. М.* Сквозь литературу. Л., 1924, с. 47.

дящего солнца — желто-оранжевые. «На другой стороне реки видна дубовая роща (деревья с зелеными листьями, — *Е. К.*)»; «Подалее в густой зелени древних вязов блистает златоглавый Даниилов монастырь» (снова желтый цвет,); «На левой же стороне видны обширныя, хлебом покрытыя поля, лесочки». Поля — желтые, осенние леса — желто-зеленые. Следовательно, желто-зеленая гамма осеннего пейзажа создается цветовыми прилагательными *желтый* и *зеленый*, а также указаниями на предметы желтого или зеленого цвета.

Ср. в повести Чехова «Дом с мезонином»: «Солнце уже пряталось, и на цветущей ржи растянулись вечерние тени <..> Но вот и липы кончились <..>, и передо мною неожиданно развернулся вид на барский двор и на широкий пруд с купальней, с толпой зеленых ив, с деревней на том берегу, с высокой узкой колокольней, на которой горел крест, отражая в себе заходившее солнце. На миг на меня повеяло очарованием чего-то родного, очень знакомого, будто я уже видел эту самую панораму когда-то в детстве».[14]

При описании Симонова монастыря в повести представлены в единстве художественное пространство и время, то есть сохраняется местный колорит и устанавливаются связи настоящего и прошлого. Реальные приметы: гора (возвышенность) — удобное место для обозрения Москвы, готические башни, изображение чудес на вратах храма.

Величественной панораме настоящего противопоставляет Карамзин Москву прошлого. «<...> когда несчастная Москва, как беззащитная вдовица, от одного Бога ожидала помощи <..>» (с. 5).

Пушкин в романе «Евгений Онегин» в качестве лексической основы сравнения употребляет то же слово: «И перед младшею столицей померкла старая Москва, Как перед новою царицей Порфироносная вдова», но для создания иного образа (сравнение в одной временной плоскости: соперничество двух столиц: Москвы и Петербурга).

У Карамзина — сопоставление двух временных планов: Москва конца XVIII в. и древняя Москва. Вероятно, уже в 90-е годы мысль о создании «Истории Государства российского» приходит ему в голову. «Там, опершись на развалины гробных камней, внимаю глухому стону времен, бездною минувшего поглощенных — стону, от котораго сердце мое содрогается и трепещет» (с. 4). Ср. во вступлении к «Истории Государства российского»: «в повествовании о временах отдаленных есть какая-то неизъяснимая прелесть для нашего воображения».

В этом плане показательно употребление Карамзиным глагольной лексики: актуализируется категория времени — употребляется так называемое историческое настоящее для оживления

---

[14] *Чехов А. П.* Собр. соч. Т. 8. М., 1956, с. 90.

прошлых событий. Автор как бы «поднимает из гроба знаменитых предков наших» и являет «тени их в лучезарном венце славы», чтобы оказать сильное влияние на сердце читателя («О случаях и характерах в Российской истории, которые могут быть предметом художеств»): «внимаю глухому стону времен», «вижу седаго старца», «там юный монах <. .> смотрит в поле сквозь решетку», «там рыбы падают с неба для насыщения жителей монастыря, осажденного врагами» (с. 4—5) и т. п. Формы «исторического настоящего» используются для констатации последовательности событий, что, по мысли автора, особенно должно затронуть воображение читателя: «Там юный монах <. .> смотрит в поле сквозь решетку окна своего, видит веселых птичек, свободно плавающих в море воздуха, — видит и проливает горькия слезы из глаз своих. Он томится, вянет, сохнет, — и унылый звон колокола возвещает мне безвременную смерть его» (с. 4).

Авторский повествовательный текст в повести занимает меньше места, чем речь персонажей и авторский характерологический текст. Центральное место в этом типе текста занимают сложносочиненные предложения с союзами *и, но, а.* Легкость и изящество стиля Карамзина создаются именно такими конструкциями: «Луга покрылись цветами, и Лиза пришла в Москву с ландышами» (с. 8), «<. .> надлежало возвратиться домой, и цветы были брошены в Москву реку» (с. 10) и др. Частотны в повести Карамзина осложненные предложения, так как «вещность» и «качественность» карамзинской прозы требовали детализации, конкретизации изображаемого. Предложения часто осложнены однородными дополнениями: «не бродит по лугам и рощам, по холмам и равнинам» (с. 2); «. . . видны поля, лесочки, три или четыре деревеньки, и вдали село Коломенское» (с. 3); уточнениями: «Москву, сию ужасную громаду домов и церквей» (с. 2); «Там юный монах — с бледным лицом, с томным взором — смотрит в поле» <. .> (с. 4); «Историю нашего отечества — печальную историю тех времен» (с. 5); «успела рассказать ему о своем горе и утешении — о смерти мужа и о милых свойствах дочери своей, об ея трудолюбии и нежности» (с. 12); «ее погребли близ пруда, под мрачным дубом, и поставили деревянный крест на ея могиле» (с. 39).

Эпический тон произведения, стремление придать достоверность описанию обусловили наибольшую частотность в тексте «Бедной Лизы» сложноподчиненных предложений с придаточными изъяснительными (21). Это противоречит общему мнению о преобладании в прозе Карамзина языковых единиц, служащих для указания на качество изображаемого. Вероятно, «мир вещей» всегда находится в поле зрения любого прозаика. На втором месте — осложненные простые предложения с однородными определениями, с обособленным определением (распространенным и нераспространенным), сложноподчиненные предложе-

ния с придаточными определительными (18). Например, «внизу расстилаются тучные, густозеленые, цветущие луга»; «Лиза очутилась на улице, и в таком положении, котораго никакое перо описать не может» (с. 37); «Одна добрая женщина, которая шла по улице, остановилась над Лизою <..>» (с. 37) и т. п.

Динамических текстов в сентиментальной прозе, отличающейся малой сюжетностью, немного, но они есть и создаются с помощью глагольных единиц. Например: «Услужливая Лиза <..> побежала на погреб, — принесла чистую кринку, покрытую чистым деревянным кружком, — схватила стакан, вымыла, вытерла его белым полотенцем, налила и подала в окно <..>» (с. 11); «Лиза рыдала — Эраст плакал — оставил ее — она упала — стала на колени, подняла руки к небу и смотрела на Эраста, который удалялся — далее — далее — и наконец скрылся <..>» (с. 33).

В повествовательном авторском тексте, содержащем указания на причинно-следственные связи событий или время действия, употребляются также сложноподчиненные предложения с придаточными времени (7), причины (6), условия (5), меры и степени (3), цели (2).

Сопоставляя синтаксис произведений Карамзина и Пушкина, В. В. Виноградов писал: «...в сфере синтаксиса Пушкин принимает карамзинскую реформу, и исходит из нее в своих стиховых и прозаических исканиях, освобождая французский стиль карамзинистов от излишнего груза качественных слов, активизируя его усилением глагольности и осложняя новыми типами конструкций».[15] Это суждение нуждается в некотором уточнении: Пушкин освободил фразу Карамзина от традиционно-поэтических фигур и тропов, в динамических текстах его остросюжетных произведений центром стал глагол, но в целом синтаксическая структура повестей Пушкина мало отличается от синтаксической структуры произведений Карамзина, где нашли себе место все сохранившиеся до нашего времени синтаксические конструкции русского литературного языка конца XVIII—начала XIX в.

---

[15] *Виноградов В. В.* Язык Пушкина. М.—Л., 1935, с. 94.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Абл. Мельн. — Комическая опера Мельник, колдун, обманщик и сват.. Соч. А. Аблесимовым. СПб., 1792.
АВ — Архив кн. Воронцова. Т. 1—40. М., 1870—1897.
АП — Адская почта.. Ежемесячное изд. 1769 г. [Автор текста Ф. А. Эмин]. СПб., 1769.
Бездушн. — Бездушной говорящий, или Повесть булавки и ея знакомых.. Перев. с нем. [Н. П. Осипова]. Ч. 1—4. М., 1790.
Вертопр. — *Ельчанинов Б. Е.* Наказанная вертопрашка, комедия в одном действии. СПб., 1767.
ВЯ — Вопросы языкознания.
Гольберг — *Хольберг Л.* Жан де Франс. — Комедии. М.—Л., 1957, с. 43—98.
Даль — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1—4. М., 1863—1865.
Дм. Рост. Расс. — *Димитрий Ростовский (Туптало).* Рассуждение о образе божии и подобии в человеце. М., 1714.
Ек. II. Им. — *Екатерина II.* Имянины госпожи Варчалкиной комедия в пяти действиях.. СПб., 1774.
Жена по моде — Жена по моде, или Повесть о Геннии Вестбурн. Перевод с фр. Ч. 1—2. М., 1793.
Ж. комн. — Женская уборная комната.. Перев. с нем. Д. Петров. Ч. 1—2. М., 1781.
Жив. — Живописец, еженедельное на 1772 г. сочинение. Ч. 1—2. СПб., 1772—1773.
ЖМНП — Журнал Министерства Народного Просвещения.
Зап. РГО — Записки Императорского русского географического общества.
Зрит. — Зритель, ежемесячное изд. 1792 г. Ч. 1—3. СПб., 1792.
Известия РГО — Известия Императорского русского географического общества.
Ист. Бюф. — Всеобщая и частная естественная история графа де Бюффона; преложенная с фр. яз. на рос. Ч. 1—10. СПб., 1789—1808.
Камень веры — *Стефан Яворский.* Камень веры.. [Киев], 1730.
Карт. глуп. — [*Нугаре Пьер Жан Батист*]. Картина глупостей нынешняго века.. Соч. г. Н. Перев. с фр. яз. [А. Голицыным]. М., 1782.
Кирша Д. — Сборник Кирши Данилова. СПб., 1901.
Клуш. СГ — Смех и горе комедия в пяти действиях в стихах А. Клушина.. — РФ, 1829, ч. 40 (2-е изд.), с. 1—129.

Кнт. Сат.	— *Кантемир А. Д.* Сатиры 1—8. — Сочинения, письма и избранные переводы кн. Антиоха Дмитриевича Кантемира. Ред. изд. П. А. Ефремова. Т. 1. СПб., 1867, с. 4—280.
Княж. Мужья	— *Княжнин Я. Б.* Мужья — женихи своих жен. — Сочинения Княжнина. Т. 2 Изд. А. Смирдина. СПб., 1848, с. 257—319.
Княж. Несч.	— *Княжнин Я. Б.* Несчастие от кареты, комическая опера.. — Собрание сочинений Якова Княжнина. Т. 3. СПб., 1787, с. 155—183.
Княж. Чудаки	— *Княжнин Я. Б.* Чудаки. Комедия в стихах в 5 действиях [1790]. — РФ, ч. 41, с. 1—147.
Котельницкий	— *Котельницкий А.* Продолжение Виргилиевой Энейды, вывернутой наизнанку. [1802]. — В кн.: Ирои-комическая поэма. Л., 1933, с. 471—535. (Библиотека поэта. Большая серия).
Кошелек	— Кошелек, еженедельное сочинение 1774 г. СПб., 1774.
Краш. ОЗК	— Описание Земли Камчатки соч. Степаном Крашенинниковым. Т. 1—2. СПб., 1755.
Краш. ОЗК[1]	— *Крашенинников С. П.* Описание земли Камчатки. М.—Л., 1949.
Кребийон	— Кребийон-сын. Заблуждения сердца и ума, или мемуары г-на де Мелькура. М., 1974.
Критика фр.	— Критика одного француза на нравы своих одноземцов. Перев. с фр. СПб., 1769.
Крыл. ПД	— Почта духов, ежемесячное изд.. Ч. 1—2. СПб., 1789.
Крыл. Проказн.	— *Крылов И. А.* Проказники. Комедия. — РФ, ч. 40, 1829 (2-е изд.), с. 131—295.
Крыл. Сочинитель	— *Крылов И. А.* Сочинитель в прихожей. — РФ, ч. 41, 1794, с. 151—228.
Крыл. УД	— *Крылов И. А.* Урок дочкам. — Полное собр. соч. И. А. Крылова. Ред., вступительные ст. и примеч. В. В. Каллаша. Т. 2. СПб., [б. г.], с. 177—228.
Лексикон Поликарпова	— [*Поликарпов Ф. П.*] Лексикон треязычный. Сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских сокровище.. М., 1704.
Ломоносов Соч. 1757	— Собрание разных сочинений в стихах и в прозе.. Михайла Ломоносова. 2-е изд. с прибавлениями. Кн. 1. М., 1757.
Лук. Нагр. пост.	— *Лукин В. И.* Награжденное постоянство. Комедия в 5 действиях. — Лук. Соч., ч. 2, с. I—XXVII, 1—144.
Лук. Соч.	— Сочинения и переводы Владимера Лукина. Ч. 1—2. СПб., 1765.
Лук. Щепет.	— *Лукин В. И.* Щепетильник, комедия в одном действии [с Письмом к г. Ельчанинову и предисловием]. — Лук. Соч., ч. 2, с. 145—245.
Люценко	— *Люценко Е. П.* Похищение Прозерпины. [1795]. — В кн.: Ирои-комическая поэма. Л., 1933, с. 574—626. (Библиотека поэта. Большая серия).
Мариво Остр.	— *Мариво.* Остров влюбленных. — Комедии. М., 1961, с. 133—206.
«Материалы...» Срезневского	— Материалы для Словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Труд И. И. Срезневского. Т. 1—3. СПб., 1893—1912.

Механ. Штурма — *Штурм И.-Х.* К весу или к тяжелости корпоралных вещеи приложенная математика.. 1708 г. Ркп. БАН 17.15.16.

МЖ — Московский журнал. Ч. 1—8. М., 1791—1792.

Мод. госп. — *Критцингер Ф. А. А.* Для молодых модных господ перев. Я: Д: М., 1766.

Наумов — *Наумов И. М.* Язон, похититель златого руна во вкусе нового «Енея» [1794]. — В кн.: Ирои-комическая поэма. Л., 1933, с. 543—562 (Библиотека поэта. Большая серия).

Нклв Попытка — *Николев Н. П.* Попытка не шутка или удачной опыт. Комедия. — РФ, ч. 35, 1790, с. 105—182.

Нклв Сам. ст. — Самолюбивой стихотворец. Комедия в пяти действиях Николая Николева. Соч. в 1775 г. — РФ, ч. 15, с. 5—148.

Нклв Сат. — *Николев Н. П.* Сатиры. — В кн.: Поэты XVIII в. Т. 2. Л., 1972, с. 21—40. (Библиотека поэта. Большая серия).

Осипов — *Осипов Н. П.* Виргилиева Енейда, вывернутая наизнанку. [1791—96]. — В кн.: Ирои-комическая поэма. Л., 1933. (Библиотека поэта. Большая серия).

Пек. Ист. АН — *Пекарский П. П.* История Имп. Академии наук в Петербурге. Т. 1—2. СПб., 1870—1873.

Перем. моды — Перемена светской моды.. Перев. с нем. [Г. Лодыгиным]. М., 1788.

Перем. нр. — Перемена в нравах, комедия в двух действиях. М., 1789.

Переп. моды — *Страхов Н. И.* Переписка моды, содержащая письма безруких мод.. М., 1791.

ПК 1777 — *Курганов Н. Г.* Книга писмовник, а в ней наука российского языка с седмью присовокуплениями.. Новое изд. пересмотренное, поправленное и умноженное. СПб., 1777.

Полезн. с приятн. — Полезное с приятным. Полумесячное упражнение на 1769 год. [СПб., 1769].

Полит. апоф. — Политиколепная апофеосис. М., 1709.

Помпе — *Ковентри Фрэнсис.* Жизнь и приключения малаго Помпе, постельной собаки.. Перев. с нем. яз. [Гуром Ивановым]. Ч. 1—2. СПб., 1766.

Посошк. Завещ. отеч. — Завещание отеческое, соч. И. Т. Посошкова, новое изд. .. под ред. Е. М. Прилежаева [1719 или 1720]. СПб., 1893.

Поэты XVIII в. — Поэты XVIII века. Т. 1—2. Л., 1972. (Библиотека поэта. Большая серия).

ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи. Т. 1—45, СПб., 1830.

ПСИ — Памятники сибирской истории XVIII в. Кн. 1, 1700—1713. СПб., 1882.

Псм[1] Румянц. — *Румянцева Е. М.* Письма к мужу.. гр. П. А. Румянцеву-Задунайскому в 1762—1779 г. СПб., 1888.

Пут. Сарычева — Путешествии флота капитана Г. Сарычева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану.. с 1785 по 1793 г. 2 части. СПб., 1802.

Пут. Шелихова — Российского купца Григорья Шелехова странствование с 1783 по 1787 год из Охотска по Восточному океяну к Американским берегам.. СПб., 1791.

Радищев Памятник дактилохореич. витязю — *Радищев А. Н.* Памятник дактилохореическому витязю. — Собрание оставшихся сочинений. Ч. 4. М., 1811, с. 27—93.

Радищев ПСС — *Радищев А. Н.* Полное собрание сочинений. М.—Л., 1938—1952.

Расс. об образе божии — *Димитрий Ростовский (Туптало).* Рассуждение о образе божии и подобии в человеце. М., 1714.

РГО — Русское географическое общество.

РМ — Российский магазин трудами Феодора Туманского. Ч. 1—3. СПб., 1792—1794.

РФ — Российский феатр, или Полное собрание всех российских феатральных сочинений. Ч. 1—43. СПб., 1786—1794.

САР[1] — Словарь Академии Российской. Ч. 1—6. СПб., 1789—1794.

САР[2] — Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. Ч. 1—6. СПб., 1806—1822.

Сатиры Р. — Готлиба Вильгельма Рабенера Сатиры. Ч. 1. Перев. с нем. [Я. И. Трусовым]. СПб., 1764.

Сатиры Р. 1792 — Собрание сочинений Готлиба Вильгельма Рабенера. Перев. с нем. Ч. 1—8. М., 1792—1794.

Сат. на петим. — *Елагин И. П.* На петиметра и кокеток. — Поэты XVIII в. Т. 2, с. 372—377.

Сл. РЯ XI—XVII в. — Словарь русского языка XI—XVII вв. вып. 1—6. М., 1975—1979.

Смесь — Смесь, новое еженедельное издание.. СПб., 1769.

Собес. — Собеседник любителей российского слова.. Ч. 1—16. СПб., 1783—1784.

Соч. и перев. — Сочинения и переводы, к пользе и увеселению служащие. СПб., 1761.

С.-П. Вед. — Санктпетербургские ведомости. 1728—1800.

Страх. Переп. — *Страхов Н. И.* Переписка моды, содержащая письма безруких мод.. М., 1791.

Сум. Епистола — *Сумароков А. П.* Епистолы. — Сум. СС, ч. 1, с. 325—348.

Сум. Мать — *Сумароков А. П.* Мать совместница дочери. Комедия. — Сум. СС[1], ч. 6, с. 55—96.

Сум. СС — Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе.. Александра Петровича Сумарокова.. Изд. 2-е. Ч. 1—10. М., 1787.

Сум. СС[1] — Полное собрание всех сочинений, в стихах и прозе.. Александра Петровича Сумарокова. Собраны и изд. .. Н. Новиковым. Ч. 1—10. М., 1781—1782.

Сум. Ссора — *Сумароков А. П.* Ссора у мужа с женою. — В кн.: Русская комедия и комическая опера XVIII в. М.—Л., 1950, с. 67—84.

Сум. Чуд. — *Сумароков А. П.* Чудовищи. — Сум. СС, ч. 5, с. 249—296.

ТКДА — Труды Киевской духовной академии.

Трд. Арг. — Аргенида повесть героическая соч. Иоанном Барклаием а с лат. на славенорос. перев.. от Василья Тредиаковского.. Т. 1—2. СПб., 1751.

Трд. СП — Сочинения и переводы как стихами так и прозою Василья Тредиаковского. Т. 1—2. СПб., 1752.

Трд. Три рассужд. — Три разсуждения о трех главнейших древностях российских.. Соч. Васильем Тредиаковским. СПб., 1773.

Трд. Феопт. — *Тредиаковский В. К.* Феоптия. — *Тредиаковский В. К.* Избранные произведения. М.—Л., 1963, с. 196—322.

Тредиаковский Тилем. — Тилемахида или Странствование Тилемаха сына Одиссеева описанное в составе ироическия пиимы Василием Тредиаковским.. Т. 1—2. СПб., 1766.

Трут. — Трутень, еженедельное издание, на 1769—1770 г. СПб., 1769—1770.

Фнв. Бриг. — *Фонвизин Д. И.* Бригадир. Комедия.. — РФ, ч. 33, 1790, с. 7—133.

Фомин Белое море — Описание Белого моря с его берегами и островами.. с приложением морского путешествия в 1789 г. .., представленное в писмах, архангельским имянитым гражданином.. Александром Фоминым. СПб., 1797.

Хвост. Мн. счастл. — *Хвостов Д. И.* Мнимый счастливец, или Пустая ревность, комедия в одном действии. СПб., 1786.

Хвост. Рус. париж. — Руской парижанец, комедия в трех действиях Дмитрия Хвостова 1783 г. — РФ, ч. 15, с. 149—260.

Хмц. Басни[1] — *Хемницер И. И.* Басни и сказки N... N... Изд. 2-е. Ч. 1—2. М., 1782.

Хрс. Влад. — *Херасков М. М.* Владимир, поэма эпическая. — Хрс. Тв., ч. 2, 1797.

Хрс. Кадм — *Херасков М. М.* Кадм и Гармония, древнее повествование. Ч. 1. — Хрс. Тв., ч. 8, 1801.

Хрс. Росс. — *Херасков М. М.* Россияда, поэма эпическая. — Хрс. Тв., ч. 1, 1796.

Хрс. Тв. — Творения М. Хераскова, вновь исправленные и дополненные. Ч. 1—12. М., 1796—1803.

Чист. — *Чистович И. А.* Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868.

Шишков Рассужд. 1803 — *Шишков А. С.* Рассуждение о старом и новом слоге российского языка. СПб., 1803.

СОДЕРЖАНИЕ

ЯЗЫК
РУССКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ
XVIII ВЕКА

Утверждено к печати
Институтом русского языка АН СССР

Редактор издательства Г. А. Щербакова
Художник Л. А. Яценко
Технический редактор Г. А. Смирнова
Корректор С. В. Добрянская и Л. А. Привалова

ИБ № 20102

Сдано в набор 18.03.81. Подписано к печати 07.09.81. М-19071. Формат $60 \times 90^1/_{16}$. Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Печ. л. $12^1/_2$ = = 12.50 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 14.41. Тираж 5000. Изд. № 7798. Тип. зак. 198.
Цена 1 р. 50 к.

Ленинградское отделение издательства «Наука»
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская лин., 1

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12